ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Г. ФЛОБЕР

ТОМ ВТОРОЙ

САЛАМБО

ПЕТЕРБУРГ.
MCMXIX

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Г. ФЛОБЕРА

G. FLAUBERT

1821—1880

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. ЛЕВИНСОНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

88 141
123

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Г. ФЛОБЕР

ТОМ ВТОРОЙ

САЛАМБО

ПЕРЕВОД
Н. М. МИНСКОГО
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
А. ЛЕВИНСОНА

XX 4393

Библиотека Р

ПЕТЕРБУРГ MCMXIX

САЛАМБО

SALAMMBÔ

РОМАН

1862

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Минуло три дня,—в полночь с 12-го на 13-ое июня 1858 г. заносит в свою записную книжку Флобер,—отданных почти исключительно сну. Путешествие мое в значительной степени отдалилось, позабылось; все смутно в моей голове, как будто я возвратился с маскарада, длившегося два месяца. Стану-ли работать? стану-ли скучать?

Все действенные силы природы, которые я вдыхал, да пронижут меня и да выльются они в моей книге. Ко мне, могущество пластического волнения! Воскрешение прошлого, ко мне, ко мне! Нужно сквозь красоту творить жизненно и правдиво во что бы то ни стало. Смилуйся над моим хотением, Боже душ! Даруй мне Силу—и Надежду".

Высокая экзальтация этой молитвы, в которой — словно древний рапсод к Музе эпических песнопений—Флобер, „неверующий мистик", взывает к неведомому Богу, имеет предметом самое бесстрастное, самое безличное из творений повествовательного искусства—роман „Саламбо". Взволнованные строки эти освещают изнутри тяжкое и замкнутое здание. Гёте в одном стихотворении уподобляет поэтический вымысел цветному витражу. Если заглянуть в церковь с базарной площади—все темно и мрачно. Но стоит лишь войти, как все становится радужно светлым. Наша общая вводная статья к собранию сочинений Флобера определит место „Саламбо" в совокупности его творчества, ее роль в развитии литературных форм. Здесь же мы займемся лишь историей данной книги, ее интимным бытием, побуждениями, из коих она возникла, ее становлением и судьбою. Откликаясь на зов Гёте, мы вступим „в священную часовню".

Как создавалась „Саламбо".

Арсэн Уссэ приписывает в своей не всегда правдивой „Исповеди" Теофилю Готье первоначальный замысел „Саламбо". Он будто бы посоветовал Флоберу отправиться „помечтать на раз-

валинах Карфагена", избрать своей героиней карфагенскую деву и даже наметил, якобы, схему сюжета. Если вспомнить, что мастер „Эмалей и камей" сам был поглощен примерно в те же дни созиданием того видения библейского Египта, каким должен был стать его „Роман мумии", принадлежность ему смежного замысла „Саламбо" представится вероятной. Однако, переписка Флобера, преимущественный наш источник осведомления о „трудах и днях" писателя, ничем не подтверждает этой версии. Переписка эта, а также „Литературные воспоминания" Максима дю Кана *) и послужат нам отныне путеводной нитью.

„Я буду писать роман,—сообщает Флобер приятельнице в письме от 18 марта 1857 года,—действие которого будет совершаться за три века до Рождества Христова, ибо я ощущаю потребность уйти от современности, в которую я слишком глубоко обмакнул перо. К тому же для меня столь же утомительно воспроизводить ее, как противно на нее смотреть". „В настоящий миг,—пишет он около этого времени другому другу, — я занят тем, что делаю выписки для античного этюда, который я напишу этим летом, очень медленно". Таковы первые показания переписки о зарождении „Саламбо" **). Иные места ее освещают те настроения, из которых возник роман.

Судебный процесс, вызванный „Мадам Бовари", враждебное в общем обсуждение ее критикой—все это вселило во Флобера брезгливое равнодушие, возрастающую отчужденность. „Эту Бовари, которую вы любите, поволокли на скамью мошенников, как последнюю из падших женщин",—пишет он. И, по поводу одного из отзывов: „Все это, впрочем, неважно, Бовари теперь очень далека от меня". Его раздражают постоянные сравнения то с Александром Дюма-сыном, то с Бальзаком. „Я попытаюсь закатить им нечто сверкающее и орущее, к чему не легко будет подобрать сравнение. Как они глупы со своим наблюдением нравов. Вот уж плюю на это". Год спустя он еще настойчивее подчеркивает те же мотивы: „Я устал от безобразных вещей и этой среды. „Бовари" надолго вселила в меня отвращение к мещанскому быту. В течение нескольких лет, быть может, я буду

*) Труд основной для изучения жизни и творчества Флобера, по мнению новейших исследователей. Рене Дешарм и Рене Демениль (Autour de Flaubert, т. II, 1912).

**) Первоначальное название книги „Карфаген". Сама героиня носит в первой версии первой главы романа имя „Шарра". Титул „Саламбо" упоминается впервые в письме к племяннице Каролине от 30 мая 18[illegible] г., после поездки в Африку.

жить сюжетом великолепным и далеким от современного мира, который прискучил мне выше меры. То, что я предпринимаю, безумно и не будет иметь никакого успеха у публики. Так что же? Надо писать для самого себя, прежде всего. В этом единственный шанс создавать прекрасное". Подобная же мысль выражена с крайней резкостью в другом, более раннем письме. „Я уверен, что то, что я делаю; не будет иметь никакого успеха. Тем лучше! Мне трижды наплевать. Если, чтоб добиться его необходимо живописать буржуа, я предпочитаю обойтись без' него, ибо нахожу это занятие недостойным и отвратительным не говоря уже о том, что я мало восхищаюсь его результатами Я не желаю более делать никаких уступок"...

Важное признание! Не означает-ли оно, что, трудясь над „Мад м Бовари", Флобер сознавал, что делает не свое дело, приневоливая себя к чуждой ему страде. Между тем критика, чуть ли не от дней Сент-Бёва, приучила нас усматривать существо гения Флобера в его свойствах реалиста, бытописца своего времени, а „Саламбо" и „Искушение Св. Антония" воспринимать лишь, как рецидив застарелого романтизма. Эмиль Фагэ в популярной своей книге о писателе строит свое изложение на этой двойственности Флобера—реалиста, автора „Бовари" и „Воспитания чувства", и Флобера—романтика. Схема эта осталась, если угодно, действительной доныне, но с той разницей, что под влиянием напечатания юношеских произведений, неизданных рукописей, полной переписки, оставшийся доныне в тени романтик возобладал над реалистом, ранее первенствовавшим. В свете сокровенной мысли Флобера то, что представлялось искусственным заданием, обратилось в выражение настоящего его естества, тщательно скрываемого от нескромных взоров.

„Когда будут читать „Саламбо", не подумают, надеюсь, об авторе! Лишь немногие угадают, каким надо быть печальным, чтобы предпринять воскрешение Карфагена. То Фиваида, в которую загнало меня отвращение к современной жизни",—пишет он через 2 года работы. Достаточно этих горестных замет, чтобы „Саламбо" предстала перед нами не как многосложная стилистическая игра, не как огромная мозаика, бесстрастно сложенная из пестрых граней,—а как далекое прибежище для уязвленной чувствительности писателя, „башня из слоновой кости", в которой укрылась его мизантропия, „искусственный рай", каким был опиум для Кольриджа, алкоголь для Эдгара По.

О том, через какое чистилище нечеловеческого труженичества, несказанных мук слова лежал путь к этому раю, свидетельствуют многие места переписки. С первых дней он ощущает всю тяжесть обузы. „За неделю я успел сделать довольно много, но случается, что этот Карфагенский сюжет так пугает меня..., что я почти готов от него отказаться". Мог ли Флобер предвидеть, что за этой первой неделей последуют пять лет непрерывных усилий? Едва ли. Ведь первоначальной его мыслью было использовать для новой книги успех „Мадам Бовари"; ради нее он отсрочивает издание „Искушения Св. Антония", вполне законченного, но угрожающего, как ему кажется, новыми преследованиями.

„Стол мой настолько завален книгами, что я теряюсь среди них,—пишет он около того времени другому лицу.—Я быстро справляюсь с ними, но мало что в них нахожу. Между тем, я дорожу „Карфагеном" и во что бы то ни стало напишу эту потешную шутку. Мне бы хотелось приступить к ней через месяц или два. Но мне приходится сначала отдаться... огромной археологической работе". Спустя несколько недель он сообщает тому же корреспонденту: „Я скоро примусь писать. Ежели я говорю скоро, то это только так говорится, потому что дело основательно затягивается; при каждом чтении выясняется потребность в тысяче других книг. Я, сударь мой, в лабиринте".

Следует перечень ближайших из намеченных к прочтению книг.

По всей переписке за эти годы рассеяны отдельные отрывки и справки из этой поистине циклопической библиографии,—которая, впрочем, покажется скромной, если вспомнить обо всем прочитанном Флобером для „Бювара и Пекюше". Первоосновой его осведомления служит текст Истории Полибия, посвященный войне наемников—исторический стержень всей книги, за ним следуют бесчисленные труды по пунической археологии и военному искусству древних, „Полиоркетика" Юста Липсия, гуманиста-компилятора, и „Анабасис" Ксенофонта, Библия и учебник арабской медицины. „Наконец-то,—пишет он, спустя некоторое время к лучшему другу своему Луи Буйле,—я заканчиваю свои проклятые заметки. Мне осталось прочесть еще три книги и это будет все. Окончательно все... Я, кажется, совершенно исчерпал предмет". Но вот, что-то заставляет его медлить на пороге созидания. „Вот уже шесть недель,—пишет он Эрнесту Фейдо,—как я трусливо отступаю перед Карфагеном. Я нагромождаю справку

на справку, книги на книги, потому что работа не налаживается Чтобы книга потела правдой, нужно быть по уши набитым своим предметом... Тогда начнется пытка фразы, мучение ассонанса, терзания периода". Он приступает к изложению, борется с первыми разочарованиями. „Я только что закончил первую главу,—читаем мы в одном из писем,—и вот не нахожу в ней ничего хорошего, я отчаиваюсь из-за этого дни и ночи и не нахожу решения. Чем больше я приобретаю опыта в своем искусстве, тем большим терзанием искусство это становится для меня воображение не развивается, а вкус увеличивается. Вот несчастье. Я полагаю, что немногие люди выстрадали столько, как я, ради литературы."

Так или иначе Флобером написаны уже первые полторы главы, когда он уезжает в Африку, на место действия своего романа. Обстоятельства и значение этой поездки мы еще обсудим подробно. Важно то, что все сделанное дотоле рассыпается в прах.

„Так вот,—пишет он по возвращении,—все, что я сделал из своего романа, должно быть сделано заново. Я ошибался совершенно. Вот уже больше года, как мною овладела эта мысль. С тех пор я трудился над ней почти беспрерывно, а я все еще стою у самого начала. Это нечто тяжкое для выполнения, смею вас заверить, по крайней мере, для меня. Но по правде и внутренние притязания мои отнюдь не мелки". С неменьшей твердостью признает он свое поражение в другом письме (к Фейдо). „Должен сообщить тебе, что Карфаген надо переделать или скорее сделать целиком. Я разрушаю все. Это было нелепо! Невозможно! Фальшиво!.. Я не знаю, когда закончу этот колоссальный труд... Я решился бесповоротно. Публика, печатание и время более не существуют; вперед"!

Однако, Флобером не только не достигнута желанная ясность, но трудности нагромождаются все грознее.

„Что за собачий сюжет,—жалуется он Фейдо.—Перехожу последовательно от самой преувеличенной выспренности к самому плоскому академизму... Трудность в том, чтобы отыскать верную ноту. Это достигается путем крайнего сгущения мысли, достигнутого естественно или усилием воли, но отнюдь не тем, чтобы просто вообразить незыблемую правду, сиречь, целую серию подробностей, рельефных и правдоподобных. И это в среде, отстоящей от нас на две тысячи лет. К тому же, чтобы быть пон-

тым, надо делать нечто вроде постоянного перевода, а что за пропасть это создает между абсолютом и моим творением"!

„С тех пор, как существует литература, не было предпринято ничего столь безумного. Произведение это кишит трудностями", — пишет он другой раз. Или: „На каждой строке, при каждом слове я превозмогаю трудности, за которые никто не поблагодарит меня, да, пожалуй, и не за что будет благодарить меня. Ведь, если моя система ошибочна, вся вещь пойдет прахом".

Неустанная борьба с материалом длится. „Итак,—делится он с одним из друзей на исходе 1859 года,—книжица моя о Карфагене уже не будет закончена в этом году. Я пишу крайне медленно, потому что книга для меня—это особый уклад жизни. Ради какого-нибудь единого слова или идеи я произвожу изыскания, предаюсь уклонам мысли, вступаю в бесконечные грезы; а затем наш век так жалок, что я с наслаждением погружаюсь в древность".

Мы убеждаемся, что каторжник слова дорожит своими кандалами, что он втайне любуется своей каждодневной казнью. „Реальность, вещь почти недосягаемая в сюжете такого рода,—объясняет он Гонкурам.—Я уже не говорю об археологической работе, которая не должна чувствоваться, ни о языке формы (sic!), который почти невозможен".

Чем ближе к концу, тем тягостнее непререкаемый императив совершенства. Труженик изнемогает, готов возмутиться. „Для меня невозможно продолжать исправление „Саламбо",—сетует он в письме (от 1862 г.) к племяннице—подростку Каролине.—Сердце мое переворачивается от отвращения при виде собственного почерка".

Но вот, как только остов романа определился и прочное подножие первых глав было возведено, к мукам Сизифа присоединились муки Гамлета. Что, если все напрасно?

„Это может стать прекрасным, но может оказаться и очень глупым... О Карфагене неизвестно ничего (мои догадки, кажется, основательны, и я даже уверен в них, судя по двум—трем вещам, которые я видел). Так или иначе оно должно будет отвечать некоему смутному представлению, которое об этом существует... Если я сдохну над этим, то будет хоть настоящая смерть. Я убежден, что хорошие книги не пишутся по подобному способу. Значит эта не будет хорошей книгой. Ну, что же? Если она за-

ставляет грезить о великих вещах! Наши стремления ценнее наших дел".

В строках этих сквозь сомнения видна гордыня великого дерзания. Но годы исканий расточают ее, остается одна лишь гложущая неуверенность, неизбывная агония воли без веры.

„Нет, детки,—доверяется он Гонкурам в 1861 году,—дело не ладно. Мне кажется, что „Саламбо" скучна до одури... Короче, мне невесело. Мне кажется, что план мой плох, а что-либо изменить поздно, потому что все тесно связано".

„Нет моих сил,—рассказывает он им в другой раз:—осада Карфагена, которую я заканчиваю, доканала меня... А ко всему этому я уже заранее устал от всех тех нелепостей, которые будут высказаны по поводу этой книги, если она не провалится вовсе. Ибо, где найти людей, которые заинтересовались бы всем этим". В другом письме (к романисту Фейдо) мы находим шутливый прогноз будущности книги: „Да, меня облают, будь спокоен. „С а л а м б о" 1) досадит мещанам, то-есть решительно всем 2) возмутит нервы и сердца лиц чувствительных; 3) вызовет раздражение археологов; 4) покажется неудобопонятным дамам; 5) вызовет слух о том, что я педераст и людоед. Будем надеяться". Мы увидим впоследствии, сколь прозорлива была ирония Флобера. Между тем, труд близится к концу. Но и тут его щепетильная добросовестность не обретает покоя. Он то и дело ездит в Париж для справок в Библиотеке; чтобы подвергнуть проверке изображение мук голодной смерти, постигающей наемников в ущельи Топора, он уносит из библиотеки своего брата Ашиля не менее 20 специальных сочинений (сообщение д-ра Мерри Делабоста). Но, наконец, свершилось: он „выбрался из ущелья Топора". Он работает „бешено", книга начинает „надоедать" ему. Он жалуется Гонкурам,—попутно попросив их навести для него справку в библиотеке медицинской школы, в таком-то томе „Врачебной библиотеки", где он надеется найти какие-нибудь „шикарные подробности",—что „Карфаген так и не кончается. Я начал вчера последнюю главу. Но это наскучило мне безмерно. Меня рвет от этого, вот". Однако, он не спешит с печатанием книги. Выход в свет „Несчастных" Гюго, их огромный успех побуждают его выждать. Выпустить одновременно с ними „Саламбо" кажется ему „бесстыдным и неосторожным". Тем не менее в апреле 1862 года „миг вожделенный настал" и „труд многолетний закончен". Он может написать Гонкурам: „Я

отделался, наконец, от „Саламбо"... Я решился, наконец, признать законченным бесконечный труд. Ныне пуповина отрезана". В мае рукопись перебелена, в августе пересмотрена вновь при содействии друзей, в сентябре запродана издателю Леви за 10.000 франков, 24 ноября „Саламбо" выходит в свет.

Таковы многочисленные и мучительные этапы созидания романа. Намеки переписки — вехи на этом тернистом пути—образуют словно ломаную линию на подобие кривой в „истории болезни", начертанной у изголовья тяжело больного. Книга оторвалась от автора, и отныне бытие ее независимо от него. Но прежде, чем очертить ее дальнейшие судьбы и описать завязавшуюся вокруг нее борьбу мнений, мы обратимся к тем стихиям действительности и мечты, из которых она возникла.

Флобер и восток.

Воспроизводит ли Флобер свободомыслящие речи бессмертного ионвильского аптекаря мосье Омэ, прислушивается ли он к спорам двух метафизических паяцов, Бювара и Пекюше, чьи горестные недоумения столь нечаянно сливаются подчас с философской хандрой создавшего их писателя, — всегда, как бы мучительно ни был он прикован к огромному зрелищу окружающей глупости, перед взором его маячит радужный мираж Востока, словно марево над песчаной пустыней. Прав Эдуард Мениаль *), когда называет иные фразы „Саламбо" или „Иродиады" — п о с т а л ь г и ч е с к и м и. В них и точно ритмически изливается тоска изгнанника по названной своей родине. Прав, быть может, и Луи Бертран **), самый проникновенный из нового поколения исследователей Флобера, когда берется доказать, что неистребимое воспоминание о первом путешествии молодого Флобера на Восток наложило видимую печать даже на такие его творения, как „Мадам Бовари" или „Воспитание чувства". Для всякого же знающего современный Восток „Искушение" или „Саламбо" обращаются из археологических вымыслов и филологических головоломок в пронизанные неумирающей правдой видения этого Востока. Внимательный читатель „Путевых заметок" Флобера, впервые изданных всего лишь восемь лет тому назад, Бертран то и дело открывает в них первообразы подробностей, окраши-

*) Edouard Maynial. „La jeunesse de Flaubert." 1913.

**) Louis Bertrand. Gustave Flaubert. 1912.

вающих изложение „Саламбо". Не есть ли пруд в садах Гамилькара—священное озеро Карнака, не подсказано ли описание храма Таниты памятью о некрополях Фив? Сокровищница Старого Сераля в Стамбуле поражает, по словам очевидцев, тем же сказочным нагромождением драгоценностей, тем же театральным их распорядком, что и кладовые суффета Барки, экзотическая пестрядь амулетов, диковинная утварь Маппальской черни по сей день заполняют базары Египта, коралловые пуговицы в ноздрях няньки Таанах можно и по сей день встретить у женщин Вади-Гальфы.

Список благовоний, которыми умащена Саламбо, был взят Флобером у каирского торговца за десять лет до написания романа: он был отыскан Бертраном среди бумаг писателя. Словом, „сквозь Африку современную он распознал Африку древнюю во всей ее конкретной реальности". В словах этих на наш взгляд ключ к „Саламбо"; мы к ним не раз вернемся и впредь.

Каково было для Флобера обаяние Африки, таинственного материка, безвозвратно поглотившего некогда стольких искателей Эльдорадо, о том свидетельствуют многие места его переписки. „Не знаю почему, — пишет он к Луизе Коллэ, — но эта фраза Рабле не выходит у меня из головы: Африка всегда приносит что-либо новое. Я вижу ее полной страусов, жираф, бегемотов, негров и золотого песка". И видение это посещает его в разгаре работы над обывателями „Мадам Бовари". Ранее, путешествуя по Леванту, по сладостному Востоку Байрона, он признавался, что предпочитает ему „пропеченный Восток бедуина и пустыни, багровые глубины Африки, крокодила, верблюда жирафа". Недаром в своей келье в Круассе он окружил себя пестрыми и дикозвинными предметами, напоминающими об этом Сезаме его мечты, что заставляло Гонкуров, проникнутых нервным и деликатным импрессионизмом Японии и французского рококо, усматривать „варварскую основу в этой художественной натуре" (Дневник). Неудивительно, что у Флобера, измученного после первых месяцев работы над „Саламбо" упорным сопротивлением материала, сознающего, что он идет по ложному пути („чувствую, что ошибся"; письмо от декабря 1857), эта постоянная тяга в Африку обращается в неотложную потребность. Томление его возрастает, но не сразу уплотняется в решение.

„Сегодня вечером мне исполняется 36 лет,—пишет он близкому другу, г-же Леруайе де-Шантепи...—Сегодня исполнилось

восемь лет с тех пор, как я возвращался из Мемфиса в Каир, после того, как ночевал у Пирамид. Я еще слышу вой шакалов и порывы ветра, потрясавшие мою палатку. Мне сдается, что я позже возвращусь на Восток, что я останусь там и умру там... Но я никогда не кончу, если примусь говорить вам о солнечных странах".

Спустя месяц, решение его созрело. „Мне необходимо совершить путешествие в Африку",—сообщает он тому же другу.

Из ряда дальнейших писем, написанных уже с пути, мы узнаем о том, что он „провел целых четыре дня в Карфагене, оставаясь в седле от восьми до четырнадцати часов". Через 2 недели он в праве написать Жюлю Дюплану, „что знает Карфаген и его окрестности насквозь". Эти письма радостны, поспешны и отрывисты; чтобы сделать их интересными, пришлось бы разрабатывать описания. „Между тем,—оправдывается Флобер перед Эрнестом Фейдо,—нужно быть уж очень добродетельным даже для того, чтобы каждый вечер делать заметки".

Мы располагаем сегодня упомянутыми заметками. И надобно признать, что при всей своей деловитости, при всей эллиптичности как бы стенографических записей, эти трезвые строки наблюдателя иногда волшебно переносят нас в пышную, раскаленную и кровавую атмосферу будущего романа.

Когда он пишет: „чтобы пробраться сюда, мы двинулись по очень широкому оврагу из красной глины: это похоже на окаменелые волны крови" или: „солнце, как раскаленный до красна щит, садилось слева от нас",—мы словно переносимся в жуткую декорацию скитаний обреченной на гибель орды варваров. И точно, с памятными заметками декоратора сравнил один из критиков путевые наброски Флобера. В самом деле, Флобер с величайшим тщанием заносит в книжку все красочные оттенки виденного: „Между отмелей Камарта видневется море, с неслыханной резкостью окраски, словно гладкая доска индиго, отчего синее небо кажется бледным". Опять отрезок жестокой и напряженной природы, среди которой кажутся естественными распятие Ганона или бешенство слонов—эпизоды багровой эпопеи. Когда читаешь подобное описание восхода солнца близ Туниса: „сначала два пятна, от занимающегося дня направо; луна над морем справа, небо несколько позже становится совсем бледно-зеленым и море белеет под отсветом этой большой смутной полосы, меж тем, как пятно, которое кладет на море,

луна, мутнеет... оба порта – горы черно-фиолетовые, очень неясные, затуманенные серой дымкой; в белой части неба несколько облачков над оранжевой полосой"...—когда сводишь воедино эти мелкие мазки и блики, видишь перед собою словно первый подмалевок той будущей картины, что начинается с знаменитых строк: „но светозарная гряда поднялась со стороны Востока" *)..

Мы видим,—если приведенные примеры убедительны,—что в заметках этих соткана вся красочная оболочка будущего романа, сгущен тот воздух, которым дышат неистовые герои вымысла. Флобер, подобно другу своему Теофилю Готье, мог называть себя „человеком, для которого видимый мир существует"

Он возвращается во Францию, „как следует вдохнув ветер, наглядевшись на небо, горы и волны"... Шесть лет он „задыхался" с тех пор, как впервые вернулся с Востока. Первые строки этого очерка показывают, каким окрыленным духовно было это возвращение. Так из жаркого дыхания Африки создалась атмосфера,—несказанно подлинная—столь необычайного вымысла; оставалось населить его людьми, вещами, происшествиями Здесь уж не было той действительности, которую можно было воспроизвести, а вместо нее зияющая пустота.

Психология и археология.

Огромная археологическая работа, выполненная Флобером, не должна затемнить для нас его замысла. Роль ее рисовалась ему прикладной; основная же задача оставалась психологической по преимуществу, психологической, как в „Мадам Бовари". „Психология варится потихоньку, но наладить эту штуку тяжело",—пишет он при самом начале работы. „Метафоры мало беспокоят меня,—твердит он опять...—но то, что тревожит меня, это психологическая сторона моей истории". В другой раз он торжествует: „Я начинаю понимать своих героев и интересоваться ими. Это много"... Наступает день, когда он, наконец, „в и д и т", когда ему кажется, „что он добьется реальности". Но как достигнуть этого, „когда приходится заставлять людей из'ясняться на языке, на котором они не думали".

*) Правда, в этой первой фразе слуховая ассоциация бессознательно господствовала над воспоминанием зрительным. Фраза эта, как показал Фаге, почти буквально воспроизводит одно место из „Атала" Шатобриана.

Но каковы же права, сохраненные за точным знанием. Флобер не озабочен археологической правдой, а лишь художественным правдоподобием.

„Что меня затрудняет в моем романе, это отыскание элемента психологического, то-есть характера чувствований. Что до колорита, никто не сможет доказать, что он ложен". Этим ограничиваются притязания писателя. „Мое снадобье не будет ни латинским, ни римским, ни еврейским, каким оно будет, я сам того не ведаю". Для того, чтобы творение его было правдивым перед лицом искусства (такова очевидная мысль Флобера), оно должно быть лишь ни с чем не схожим и оправданным психологически. „Что до археологии, она будет вероятной, вот и все. Что же касается ботаники, мне она совершенно безразлична",— пишет он однажды. Ни на одно мгновение он не становится рабом огромного накопленного знания, оно лишь глина в его руках. Он не поучает, а творит, верный своему поглощающему культу искусства.

„Книга, которую я пишу,—в этом он не сомневается с первых дней,—будет столь далека от современных нравов, что за отсутствием всякого возможного сходства между моими героями и читателями, она мало кого заинтересует *). В ней не обнаружат никаких наблюдений, ничего из того, что все так любят. То будет искусство, чистое искусство и не что иное" Недаром он может впоследствии обещать Гонкурам: „Знамя Доктрины я понесу на этот раз открыто, ручаюсь вам за это. Ибо это ничего не доказывает, ничего не сообщает, это ни история, ни сатира, ни юмористика. Зато это может быть глупостью". В этом горделивом сознании писатель „более одинокий, чем белый медведь и более спокойный, чем боги"—закончил свой труд и отдал его публике. Он не ошибся в своих современниках. Роман был встречен критикой целым хором негодующих, недоуменных, а то и пренебрежительных отзывов. Даже чуткие друзья, столь прямодушно посвященные Флобером в творческие его переживания (Гонкуры), в тайне своего интимного дневника заклеймили его произведение, как „декламаторское и мелодраматическое".

*) Еще недавно один из оракулов французского литературного вкуса, покойный Эмиль Фагэ, доказывал по поводу „Саламбо", что исторический роман лишь тогда хорош, когда изображает эпоху нам хорошо известную, так что все внимание сосредоточивается на событиях, а не на фоне (Flaubert par Emile Faguet 3-me édition 1913).

Один лишь Гектор Берлиоз, знаменитый композитор (если не считать, конечно, Теофиля Готье, предполагаемого „зачинщика" Саламбо), прочитав на страницах „Journal des Dèbats" резко осуждающий роман отзыв Кювилье-Флери, злоупотребил своим правом музыкального фельетониста той же газеты, чтобы излить всю полноту своего „восторга, изумления, даже ужаса" (письмо к Флоберу). Но самой отравленной стрелой, впившейся в писателя, были три статьи Сент-Бева. Зато им мы обязаны письмом Флобера к критику, „апологией", как он именует его сам, где, отводя один за другим упреки Сент-Бева, он дает исчерпывающее толкование своего намерения и метода. Отныне „Саламбо" становится, по меткому определению того же Сент-Бева, „названием сражения и даже нескольких сражений". И подлинно, апология Флобера самый, быть может, жаркий бой, данный самосознанием творящего писателя самоуверенности критики воспринимающей. Шаг за шагом теснит он хитроумного противника.

Если тот подвергает сомнению правдивость изображаемого в романе мира, то не потому ли, что этот варварский мир по существу отвратителен ему. Приходится то и дело удивляться, а он не любит удивляться. Он побивает „Саламбо" примером „Мучеников" Шатобриана, но герои последнего — образы идеальные и типические, между тем как Флобер „хотел закрепить некий мираж, применяя к древности приемы романа современного, оставаясь простым", — именно простым, а не скупым, ибо „нет ничего более сложного, чем варвар". Свою героиню автор не защищает. Напрасно Сент-Бев сближает Саламбо с Велледой Шатобриана, с его собственной „Мадам Бовари" *); первая деятельна, умна, как европейская женщина, волнуема многообразными страстями, вторая, Саламбо пригвождена навязчивой идеей, она одержимая, нечто вроде Св. Терезы. Однако, Флобер сам „не уверен в ее реальности, ибо никто, ни я, ни вы, ни один древний и ни один современник, не может знать восточной женщины по той причине, что с ней невозможно сообщаться".

Я не буду исчислять отповедей, вызванных множеством булавочных уколов, направленных в „неправдоподобные" места романа; все это Флобер отражает с легкостью. „Жалеешь, что не приложен лексикон". Эту инсинуацию писатель отводит как

*) Мы вновь встречаем это уподобление в книге философа Жюля де-Готье, основоположника „бовариизма" о гении Флобера; обе героини на его взгляд жертвы того же „заблуждения о себе", Саламбо мнит, что служит Танит, а на деле любит Мато. (Jules de Gautier. Le genie de Flaubert).

в высшей степени несправедливую. Каждый технический термин переведен им на французский язык или тут же пояснен. Он не приемлет эпитета „китайщина“ в отношении убранства покоя Саламбо, ибо в нем „нет ни единой подробности, которой не было бы в Библии, или которой нельзя было бы по сей день встретить на Востоке (курсив всюду мой. А. Л.); к тому же „есть вещи, связанные с климатом, которые вечны“.

Что до упрека в „оперности, помпе и выспренности“ (рассуждение Гонкуров. А. Л.), то „почему бы всему этому не быть таковым тогда, раз что оно таково теперь“. Откуда заимствовал он бурные сцены в Карфагенском совете? Из зрелища всех революционных времен, от конвента до американского парламента. Наконец, от анализа подробностей он переходит к самому суждению Сент-Бева. В его ответе выявлены в лапидарной форме все намеки и домыслы, разбросанные и уловленные нами в переписке.

„Вы, быть может, правы в своих соображениях о романе историческом в его приложении к древности, и вполне возможно, что я потерпел неудачу. Между тем, по всей видимости и моим личным впечатлениям, я как будто бы сделал нечто похожее на Карфаген. Но вопрос не в этом. Я смеюсь над археологией. Если колорит не целен, если подробности выпадают из тона, если нравы не проистекают от верований, а факты от страстей, если характеры не выдержаны, если одежды не приспособлены к обычаям, а постройки к климату, если одним словом, нет гармонии, не прав я. Если нет, нет. Все держится“. Если атмосфера романа непереносима для современных парижан, то ведь душа человека не одна и та же повсеместно. Он же был „менее суров к человечеству в „Саламбо“ нежели в „Мадам Бовари“.—„Любопытство, любовь,—уверяет он,—которые толкнули меня в сторону исчезнувших верований и народов, сами по себе, мнится мне, содержат нечто нравственное и симпатичное“.

Отстояв все свои позиции, он сам называет огромную ошибку, которую находит в своей книге: „Цоколь слишком велик для статуи“. Необходимо было, признает он, посвятить сто лишних страниц самой Саламбо.

„Наконец, примеру моему мало кто последует. В чем же тогда опасность“—с великолепной иронией заключает он свою апологию.—„Не рискуешь испортить никого, когда стремишься к великому“.

Пока Флобер отрубает голову гидре недоверчивой и тиранической критики, ученый педантизм жалит его в пятку. Его ответ на статьи археолога Френера, противопоставляющего свое достоверное неведение творческим домыслам художника, — поистине уничтожающая расправа, образец полемической заостренности. Под апломбом специалиста он распознал легкомыслие и недобросовестность Мы уже не раз подчеркивали словами самого Флобера лишь относительную важность этих вопросов.

Однако, археологическая проверка деталей романа продолжает по сей день увлекать многих исследователей; один из них Марциал Дуэль, произведя проверку эту на местах, посвятил результатам ее книгу *). В общем же современный уровень знаний о Карфагене позволяет утверждать, что Флобер несколько переоценил роль финикийской, семитической, библейской стихии в душевном и бытовом укладе своих героев и не сумел разглядеть отражения эллинского мира. Но споры эти чужды литературе. Мы не знаем, каков в точности был Карфаген исторический и тленный, но Карфаген, воскрешенный Флобером, запечатлен жизнью вечной.

„Саламбо" и современность.

Честь утверждения и обоснования внутренней правды „Саламбо" могла выпасть лишь критику, выросшему из той же почвы, как и герои романа. Для роли этой был призван, как никто, Луи Бертран, романист-бытописатель алжирских рыбаков, автор монографии о св. Августине, епископе Гиппонском, которого он истолковал как носителя африканской культуры,— и лучший, быть может, знаток рукописей Флобера.

Лишь очная ставка между Африкой сегодняшнего дня и местом действия романа могла обнаружить вечные черты „Саламбо",—вечные, а потому всегда злободневные.

Нигде в такой мере, как в Африке, личность не упраздняется почвой, нигде не проникается настолько волей земли. Под этим палящим солнцем тысячелетия проходят, как мгновения, ничего не изменяя. Как некогда устремлялись к стенам Карфагена легионы Сципиона, так на наших глазах проникают до рубежа пустыни иностранные легионы Франции. От века к берегам Африки устремляются люди латинского запада, завоеватели и

*) Martial Douel. Au pays de Salammbô. 1911. Впрочем лишь первая глава книги посвящена сверке романа с показаниями новейшей археологии. Остальные отданы лирическим и живописным путевым записям, довольно незначащим.

проходимцы, галлы Автарита и берсальеры генерала Кадорны, герои трагедий Кальдерона и колониальных романов Поля Адана. С каждым веком новые волны вливаются в этот водоворот племен—бассейн Средиземного моря.

Из трех аспектов слагается облик Африки, из вечного противоречия между пришельцами прибрежной полосы и оседлым населением, сидящим на земле, из непрерывной борьбы их с общим неуловимым врагом, кочевником пустыни: нумидийским всадником Нарр Гаваса или хаджи из конницы Махди.

Но что с неподражаемой яркостью выражено у Флобера, хоть и замечено впервые Бертраном, — это двойственность Таниты и Молоха, этих символов обеих контрастных стихий, из которых слагается климат черного материка; не воплощает ли Танита сладострастной истомы берега, а Молох пожирающего пыла солнца и раскаленных песков? „Женственная изнеможенность, свирепая грубость—вся Африка в этой антитезе", формулирует эту мысль критик. В изображение войска наемников Флобер вносит такую полноту этнических оттенков, какой мы тщетно стали бы искать у римских историков пунических войн; эта пестрота племенного состава осталась той же у потомков пращников Заркеаса — каталанских крючников или преемников Спендия—левантинских менял, сводников и авантюристов.

И Бертран с находчивой дерзостью предлагает, приведя жизнеописание Мато и Спендия, как они даны в романе, совлечь с них древние одежды. Кого мы увидим тогда? В первом—туземного сипая, героического и простодушного негра, влюбленного быть может, в француженку, дочь своего капитана. А во втором—только что высадившегося международного дельца с темным прошлым, готового на всякое дело, мастера на все руки. Раскройте книгу Флобера, словно говорит нам Бертран, на набережной Туниса или на базаре Филиппвиля—и не станет в миг пропасти тысячелетий. Недаром на современный Восток то и дело ссылается Флобер в разобранной нами апологии „Саламбо"

Не позволяет ли все изложенное с большей уверенностью присоединиться к уже упомянутому и обоснованному у нас мнению, что не „Саламбо" или „Искушение Св. Антония" являются экзотическими эпизодами на полях бытового творчества Флобера, а что, напротив, „Мадам Бовари" и „Воспитание чувства" лишь насильственные уклонения от основного, идеального предмета его созерцания и созидания — Востока? Пере-

писка и записанные заявления Флобера свидетельствуют о том, что предмет этот остался для него неисчерпанным и после трех последовательных воскрешений Востока и продолжал мощно волновать его до последних дней.

„Флобер сидит на дизане, скрестив ноги на турецкий лад,— рассказывают братья Гонкур в своем дневнике (драгоценную эту запись от 29 марта 1862 года мы приводим здесь полностью).— Он говорит о своих проектах, самолюбивых мечтаниях, замыслах романов. Он поверяет нам свое великое желание, желание, от которого он не отказался—написать книгу о современном Востоке, Востоке во фраке. Его возбуждает мысль обо всех антитезах, которые его талант обрел бы в этой книге. Сцены, происходящие в Париже, сцены, происходящие в Константинополе, сцены, происходящие на Ниле, сцены европейского лицемерия, дикие сцены из келейной жизни Востока, с людьми утопленными и головами, срубленными из-за подозрения, мимолетной досады: творение, которое напоминало бы в общем, по собственному его сравнению, те пароходы, на носу которых мы видим турка, одетого Дюсотуа, а на корме гарем этого турка с его евнухами и всею свирепостью нравов древнего Востока.— Флобер не нарадуется живописанию всех европейских каналий, греков, итальянских, еврейских, которые будут окружать его героя, и распространяется о том любопытном контрасте, который являет, тут и там, восточный человек, проникающийся цивилизацией, и Европеец, возвращающийся к состоянию дикости на подобие того французского химика, который, обосновавшись на рубеже Ливии, не сохранил ничего от нравов и навыков своей родины".

О том, что концепция эта не была мимолетной прихотью, а отвечала некоторой коренной и неудовлетворенной потребности, свидетельствует письмо, написанное Флобером 17 лет спустя, почти накануне смерти. В нем горестно изливается все та же „тоска по родине", что истомила его четверть века назад в дни созидания „Саламбо".

„Будь я моложе и имей я деньги, я возвратился бы на Восток, чтобы изучить Восток современный, Восток Суэцкого канала. Большая книга об этом—одна из моих старых грез. Я хотел бы создать цивилизованного человека, впадающего в варварство и варвара, проникающегося цивилизацией. Развить этот контраст двух миров, которые, в конце концов, сливаются. Но слишком

поздно"... Не так ли галльские наемники „Саламбо" тоскуют среди песчаной вьюги о заливах и дольменах Арморики?

Нельзя без волнения читать об этой неосуществившейся мечте, об этой „неродившейся душе" книги. Какой поучительной, какой скорбной могла бы стать история обреченных на небытие замыслов великих писателей, этих неупокоенных теней, лишь изредка тревожащих воображение потомства. Для нас же, только что перелиставших летопись трудов и дней, отданных на создание „Саламбо", важно знать то, что и последний взор отшельника Круассэ был жадно обращен к Востоку.

Андрей Левинсон.

САЛАМБО.

ПИР.

То было в Мегаре, в предместьи Карфагена, в садах Гамилькара.

Солдаты, которыми он командовал в Сицилии, устроили большой пир, чтобы отпраздновать годовщину Эрикской битвы, и так как начальник отсутствовал, а их было много, то они могли свободно предаваться еде и питью.

Военачальники, обутые в бронзовые катурны, поместились в среднем проходе, под пурпурным навесом, окаймленном золотой бахромой. Навес тянулся от стены конюшен до первой террасы дворца; простые воины рассыпались под деревьями, где виднелось множество строений с плоскими крышами, выжимален, погребов, складов, хлебопекарен и арсеналов, а также двор для слонов, рвы для диких зверей, тюрьма для рабов.

Фиговые деревья окружали кухни; лес смоковниц тянулся до зеленых кущ, где сверкали гранаты между белыми пучками хлопчатых плантаций; виноградные лозы, отягченные кистями винограда, поднимались к сосновым ветвям; поле роз цвело под ветвями платанов; местами на лугах покачивались лилии; черный песок, смешанный с коралловым порошком, покрывал дорожки, а посредине аллея кипарисов тянулась с одного конца до другого, как двойная колоннада зеленых обелисков.

Дворец, выстроенный из нумидийского мрамора в желтых пятнах, громоздил в глубине на широком фундаменте свои четыре этажа, выступавшие террасами один над дру-

гим. Со своей прямой большой лестницей из черного дерева, с носами захваченных в плен галер в углу каждой ступеньки, с красными дверьми, помеченными черным крестом, с медными решетками—защитой внизу от скорпионов, с легкими золотыми плетениями, замыкавшими верхние отверстия, дворец казался воинам в своей суровой пышности столь же торжественным и непроницаемым, как лицо Гамилькара.

Совет предоставил им его дом для пира; выздоравливавшие воины, которые проводили ночь в храме Эшмуна, отправились в путь на заре, чтобы добраться ко дворцу на костылях. Каждую минуту являлся кто-нибудь новый. Люди стекались по всем дорожкам, точно потоки, устремляющиеся в озеро. Между деревьями сновали кухонные рабы, загнанные и полунагие; газели на лугах убегали с громким блеянием. Солнце близилось к закату, и, среди усилившегося запаха лимонных деревьев, испарения потной толпы казались еще более тяжелыми.

Сюда стеклись люди разных наций, лигуры, лузитанцы, балеары, негры и беглецы из Рима. На ряду с тяжелым дорийским говором раздавались кельтские голоса, грохотавшие, как боевые колесницы, и ионийские окончания ударялись о согласные пустыни, резкие, точно крики шакала. Грека можно было узнать по тонкому стану, египтянина—по его поднятым плечам, кантабра—по толстым икрам. Карийцы горделиво покачивали перьями шлемов; каппадокийские стрелки расписали соком трав большие цветы на своем теле; несколько лидийцев в женских одеждах обедали в туфлях и с серьгами в ушах. Другие, намазавшись для праздника пурпуром, были похожи на коралловые статуи.

Они разлеглись на подушках, ели, сидя на корточках вокруг больших блюд, или же, лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались, упираясь локтями, в мирной позе львов, разрывающих добычу. Прибывшие позже других стояли, прислонившись к деревьям, смотрели на низкие столы, наполовину исчезавшие под красными скатертями, и ждали своей очереди.

В виду недостаточности кухонь Гамилькара, Совет послал еще рабов, посуду, ложа для пирующих; и среди

сада, как на поле битвы, когда сжигают мертвецов, возвышались яркие огни, и на них жарились быки. Хлебы, посыпанные анисом, чередовались с огромными сырами, более тяжелыми, чем железные диски. Кратеры, полные вина, и кантары, полные воды, стояли рядом с золотыми плетеными корзинами для цветов. Во всех глазах сияла радостная уверенность в том, что, наконец, можно будет упиться всласть; кое-где начинали затягивать песни.

Прежде всего подали птиц под зеленым соусом на красных глиняных тарелках с черными узорами, затем всевозможные раковины, какие только собирают на пунических берегах, похлебки пшеничные, ячменные, а также из бобов, затем улиток с тмином на желтых янтарных блюдах.

Потом столы покрылись мясными блюдами. Поданы были антилопы с рогами, павлины с хвостами, целые бараны, сваренные в сладком вине, окорока верблюжьи и буйволов, ежи с приправой из рыбьих внутренностей, зажаренная саранча и вареные сони. В деревянных чашах из Тамрапани плавали в шафране большие куски жира. Все было приправлено трюфелями и ассафетидой. Пирамиды плодов нагромождены были на медовых пирогах. Не были забыты также собачки с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали оливковой гущей, — карфагенское блюдо, ненавистное другим народам. Неожиданность новых яств возбуждала жадность желудков. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке, рвали из рук арбузы и лимоны и с'едали их с коркой. Негры, никогда не видавшие омаров, раздирали себе лица об их красные колючки. Греки, бритые, с лицами белее мрамора, бросали за спину шелуху со своих тарелок, в то время как пастухи из Бруциума, одетые в волчьи шкуры, безмолвно все пожирали, уткнувшись в свою еду.

Спускался вечер. Сняли велларium, протянутый над аллеей из кипарисов, и принесли светочи.

Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфировых чашах, испугало, на вершинах кипарисов, обезьян, посвященных луне. Они стали испускать резкие крики, возбуждая этим веселость воинов.

Удлиненные отсветы пламени дрожали на медных доспехах. Разнообразное сверкание исходило из блюд, усыпанных драгоценными камнями. Кратеры с краями в виде вогнутых зеркал увеличивали формы предметов; воины, толпясь, изумленно в них глядели и гримасничали, потешая друг друга. Они перекидывались через столы табуретами из слоновой кости и золотыми лопатами. Они напивались греческими винами из мехов, винами Кампании, влитыми в амфоры, кантабрийским вином, которое привозят в бочках, и винами из юкба, кинамона и лотоса. На земле сверкали целые лужи вина, в которых скользила нога. Дым от мясных блюд поднимался к ветвям деревьев вместе с паром дыхания. Слышно было одновременно чавкание челюстей, шум речей, песни, дребезжание чаш и кампанийских сосудов, которые разбивались на тысячи кусков, или же ясный звон большого серебряного блюда. По мере того, как усиливалось опьянение, воины все более вспоминали несправедливость Карфагена. Действительно, республика, истощенная войной, дала скопиться в городе всем возвращающимся отрядам. Гискон, их начальник, однако, из предосторожности отправлял их частями, чтобы облегчить выплату им жалованья, а Совет думал, что они, в конце концов, согласятся на некоторую уступку. Но теперь на них же сердились за то, что им нечем было уплатить. Этот долг смешивался в представлении народа с тремя тысячами двумя стами евбейских талантов, требуемых Лутацием, и Карфаген считал наемников теперь такими же врагами, как и римлян. Они это понимали, и возмущение их выражалось в угрозах и гневных выходках. Они, наконец, потребовали разрешения собраться, чтобы отпраздновать одну из своих побед, и партия мира уступила, мстя Гамилькару, который так упорно стоял за войну. Она теперь кончилась, вопреки всем его усилиям, и, отчаявшись в Карфагене, он передал Гискону начальство над наемниками. Назначить его дворец для их приема значило направить на него часть той ненависти, с которой относились к ним. К тому же, траты должны были быть громадные, и все они падали на него.

Гордясь тем, что они подчинили своей воле республи-

ку, наемники полагали, что, наконец, они смогут вернуться домой, спрятав в свои плащ. жалованье за пролитую ими кровь. Но, под влиянием винных паров, их заслуги казались им беспредельными и недостаточно вознагражденными. Они показывали друг другу свои раны, рассказывали о сражениях, о своих путешествиях и об охотах у себя на родине, подражали крикам диких зверей, их прыжкам. Потом начались уродливые пари: они погружали головы в амфоры и пили без перерыва, как изнывающие от жажды дромадеры. Один лузитанец, огромного роста, носил по человеку в каждой вытянутой руке и так обходил столы, изрыгая пламя из ноздрей. Лакедемоняне, не снявшие доспехов, прыгали тяжелыми шагами. Одни выступали женской походкой, делая непристойные жесты; другие оголялись, чтобы состязаться среди чаш, как гладиаторы. Компания греков плясала вокруг вазы с изображенными на ней нимфами, в то время, как один из негров ударял бычачьей костью о медный щит.

Вдруг они услышали жалобное пение, громкое и нежное, которое опускалось и поднималось в воздухе, как хлопанье крыльев раненой птицы.

То были голоса рабов в эргастуле. Воины вскочили и убежали, чтобы освободить заключенных.

Они вернулись, с криком гоня перед собой в пыли человек двадцать, выделявшихся бледностью лиц. Маленькая остроконечная шапочка из черного войлока покрывала у каждого из них бритую голову; все они были в деревянных сандалиях и громыхали цепями, как колесницы на ходу.

Они вступили в кипарисовую аллею и там рассеялись в толпе, которая стала их расспрашивать. Один из них стал поодаль от других. Порванная туника обнажала местами плечи, исполосованные длинными шрамами. Опустив подбородок, он пугливо оглядывался вокруг себя и слегка закрывал веки, ослепленный факелами; но, когда он увидел, что никто из этих вооруженных людей не выказывает ему ненависти, из груди его вырвался глубокий вздох; он стал что-то бормотать и злобно смеяться под светлыми слезами, омывавшими его лицо; потом он схватил за ручки полную кантару и поднял ее прямо на

воздух, вытягивая руки, с которых свисали цепи; глядя на небо и продолжая держать в руке чашу, он произнес:

— Привет всего прежде тебе, освободитель Ваал-Эшмун, которого на моей родине зовут Эскулапом. Привет вам, духи источников, света и лесов! И вам, боги, спрятанные под горами и в земляных пещерах! И вам, сильные воины с блестящим вооружением, освободившие меня!

Потом он выронил чашу из рук и рассказал о себе. Его звали Спендием. Карфагеняне захватили его в плен в Эгинейской битве. Говоря на греческом, лигурийском и пуническом языке, он стал снова благодарить наемников, целовал им руки и, наконец, поздравил их с удачным пиром, выражая удивление, что не видит тут чаш священного легиона. Чаши эти, с изумрудной виноградной лозой на каждой из шести золотых граней, принадлежали милиции, исключительно составленной из молодых патрициев самого высокого роста. Пользование чашами составляло своего рода исключительное право, почти жреческую почесть, и наемники ценили их выше всех сокровищ республики. Они из-за этого ненавидели легион, и многие рисковали жизнью за непонятное наслаждение выпить из этих чаш.

Они приказали пойти за чашами, хранившимися у сисситов, торговцев, об'единенных в общества, которые собирались для совместных трапез. Все члены сисситских обществ в это время уже спали.

— Разбудить их!—ответили на это донесение наемники.

После вторичной разведки им об'яснили, что чаши заперты в одном из храмов.

— Отпереть храм!—возразили они.

И когда рабы, трепеща, признались, что чаши в руках начальника легиона, Гискона, они воскликнули:

— Принести их!

Гискон появился вскоре сам в глубине сада в сопровождении священного легиона. Его широкий, темный плащ, прикрепленный на голове к золотой митре, украшенной драгоценными камнями, окутывал его всего, спускаясь до подков его коня, и сливался издали с темнотою ночи. Видны были только его белая борода, свер-

кание головного убора и тройное ожерелье из широких синих блях, которые бились у него на груди.

Когда он приблизился, воины приветствовали его громкими криками:

— Чаши, чаши!..

Он начал с заявления, что они своей храбростью, несомненно, заслуживают чаш. Толпа заревела от радости, рукоплеща ему.

Он сказал, что ему хорошо известна их храбрость, так как он начальствовал над ними и вернулся с последней когортой на последней галере.

— Верно, верно!—подтвердили они.

— Республика,—продолжал Гискон,—блюдет их подразделения по племенам, их обычаи, их верования, они свободны в Карфагене. Что же касается чаш священного легиона, то это—частная собственность.

Тогда вдруг один из галлов около Спендия рванулся через столы и подбежал к Гискону, грозя ему двумя обнаженными мечами, которыми он размахивал в воздухе. Гискон, не прерывая своей речи, ударил его по голове тяжелой булавой из слоновой кости. Варвар упал. Галлы зарычали, и бешенство их, сообщаясь другим, вызвало гнев легионеров; Гискон пожал плечами, увидав, что они бледнеют. Он подумал, что храбрость его окажется бесполезной против этих неистовых грубых животных. Лучше потом он отомстит им какой-нибудь хитростью. Он поэтому сделал знак своим воинам и медленно удалился. Затем, достигнув ворот и обернувшись к наемникам, он крикнул им, что они раскаются.

Пир возобновился. Но Гискон мог вернуться и, обойдя предместье, касавшееся последних укреплений, раздавить наемников, прижать их к стенам. Они почувствовали себя одинокими, несмотря на свое множество. Большой город, спавший внизу в тени, вдруг стал их пугать нагромождением своих лестниц, высокими черными домами и смутно видневшимися изображениями богов, еще более жестоких, чем народ. Вдали несколько фонарей скользили в гавани, и виден был свет в храме Камона. Они вспомнили про Гамилькара. Где он? Почему он оставил их после заключения мира? Его пререкания с

Советом были, наверное, только уловкой, имевшей целью погубить наемников. Их неудовлетворенный гнев пал теперь на него, и они проклинали его, возбуждая друг друга своим собственным гневом. В эту минуту под платанами собралась толпа, окружившая негра, который бился на земле с неподвижным взором, с вытянутой шеей, с пеной на губах. Кто-то крикнул, что он отравлен. Все стали думать, что и они отравились. Они бросились на рабов. Поднялся страшный шум, и над пьяным войском пронесся вихрь разрушения. Они обрушились на что попало вокруг себя, стали разбивать, убивать: одни стали бросать факелы в листву, другие, облокачиваясь на решетки, за которыми находились львы, стали побивать их стрелами; самые храбрые кинулись к слонам; им хотелось сбить им хоботы и грызть слоновую кость.

Тем временем балеарские метатели пращей, для того, чтобы им было более удобно грабить, обогнули угол дворца; но им преградила путь высокая изгородь из индийского камыша. Они перерезали кинжалами ремни замка и очутились пред фасадом дворца, обращенным к Карфагену, в другом саду с подстриженной зеленью. Полосы белых цветов, следуя одна за другой, описывали на лазурном фоне земли длинные кривые, точно снопы звезд. Кусты, окутанные мраком, испускали теплое медовое благоухание. Стволы нескольких деревьев были выкрашены киноварью и похожи были на колонны, облитые кровью. Посредине сада, на двенадцати медных подставках, высились стеклянные шары, и красноватый свет наполнял их пустоту изнутри, подобную гигантским зрачкам, в которых еще трепетал взгляд. Воины освещали себе путь факелами, спотыкаясь, однако, на глубоко взрытом спуске.

Вдруг они заметили маленькое озеро, разделенное на несколько бассейнов стенами из синих камней. Вода была такая прозрачная, что пламя факелов отражало свою дрожь на самом дне, на русле из белых камешков и золотой пыли. Вода стала пузыриться, скользнули сверкающие чешуйки, и толстые рыбы, с пастью, украшенной драгоценными камнями, выплыли на поверхность.

Воины с громким смехом схватили их, просунув пальцы под жабры, и потащили на столы.

То были рыбы, принадлежа шие семье Барка. Они происходили от древних налимов, породивших мистическое яйцо, которое заключало в себе богиню. Мысль о том, что они совершают святотатство, возбудила заново жадность наемников; они быстро разложили огонь под медными сосудами и стали с любопытством глядеть, как прекрасные рыбы извивались в кипятке.

Воины теснились, толкая друг друга. Они забыли страх и стали снова пить. Благовония, которые текли с их лба, мочили крупными каплями их разорванные туники. Опираясь кулаками о столы, которые, как им казалось, качались, подобно кораблям, они оглядывались вокруг себя налитыми кровью пьяными глазами, поглощая взорами то, чего уже не могли взять. Другие ходили по пурпурным скатертям столов между блюд, разбивая ногами подставки из слоновой кости и тирские стеклянные сосуды. Песни смешивались с хрипом рабов, умиравших среди разбитых чаш. Они требовали вина, мяса, золота. Они кричали, требуя женщин, выкрикивали свой бред на сотне наречий. Некоторые думали, что они в бане, видя пар, носившийся вокруг них, или же, глядя на листву, воображали себя на охоте и набрасывались на своих собутыльников, как на диких зверей. Пожар, переходя от дерева к дереву, охватывал весь сад, и высокая листва, из которой вырывались удлиненные белые клубы, уподобилась задымившимся вулканам. Гул усилился. В тени завывали раненые львы.

Дворец вдруг осветился на самой верхней террасе; средняя дверь открылась, и на пороге показалась женщина в черных одеждах, сама дочь Гамилькара. Она спустилась с первой лестницы, которая шла вкось вдоль первого этажа, потом со второй и с третьей и остановилась на последней террасе, на верхней площадке лестницы галер. Неподвижная, опустив голову, она смотрела на воинов.

За нею, с каждой стороны, стояли два длинных ряда бледных мужчин в белых одеждах с красною бахромой, падавшей прямо к ногам. У них не было ни бороды, ни волос, ни бровей. В руках, сверкавших кольцами, они

держали огромные лиры, и все пели тонкими голосами гимн в честь карфагенской богини. Это были евнухи, жрецы храма Таниты, которых Саламбо призывала часто к себе в дом.

Наконец, она спустилась с лестницы галер. Жрецы следовали за ней. Она прошла по аллее кипарисов и медленно подвигалась между столами военачальников, слегка расступавшихся, следя за нею взглядами.

Благодаря своей прическе, посыпанной фиолетовым порошком и воздвигавшейся на подобие башни, по обычаю дев Ханаана, она казалась еще более высокого роста.

Сплетенные нити жемчуга прикреплены были к ее вискам и спускались к углам рта, розового, как полуоткрытое гранатовое яблоко. На груди ее сверкало множество камней, подражавших своей пестротой чешуе мурены. Руки ее, убранные драгоценными камнями, выступали, обнаженные доверху, из туники без рукавов, испещренной звездами красных цветов на черном фоне. Щиколотки ее были соединены золотой цепочкой, для того, чтобы походка ее была ровной, и широкий плащ темнопурпурного цвета, скроенный из неведомой ткани, тянулся за нею, образуя при каждом ее шаге как бы следующую за нею широкую волну.

Жрецы от времени до времени брали на лирах почти заглушенные аккорды, и в промежутках музыки слышался легкий звон цепочки вместе с правильным стуком сандалий из папируса.

Никто не знал ее. Известно было только, что она жила уединенно, предаваясь благочестию. Воины видали ее ночью на кровле дворца, на коленях перед звездами, в дыму возженных курильниц. Ее бледность была как бы порождена луной, и веяние богов окутывало ее точно нежной дымкой. Зрачки ее, казалось, устремлены были далеко за земные пределы. Она шла, опустив голову, и держала в правой руке маленькую лиру из черного дерева.

Они услышали, как она шептала:

— Мертвы! Все мертвы! Вы больше не подплывете, покорные моему зову, когда, сидя на берегу озера, я бросала вам в рот арбузные семечки. Тайна Таниты жила в

глубине ваших глаз более ясных, чем пузырьки на поверхности рек.

Она стала их звать по именам, которые были названиями месяцев:

— Сиван! Тамуз! Элул! Тишри! Шебат! О, сжалься надо мною, богиня!

Воины, не понимая ее слов, столпились вокруг нее. Они восторгались ее убранством; но она оглянула их долгим испуганным взором, потом, пряча голову в плечи и отводя руки, повторила несколько раз:

— Что вы сделали! Что вы сделали! Ведь, вам даны были для вашей услады и хлеб, и мясо, и растительные масла, и сколько ни хранилось маловатра в амбарах. По моему приказу, привели быков из Гакатомпиля; я послала охотников в пустыню.

Голос ее возвышался, щеки покрывались багрянцем. Она прибавила:

— В каком месте вы находитесь? В завоеванном городе или во дворце повелителя? И какого повелителя? Суффета Гамилькара, отца моего, служителя Ваала! Ваше оружие, обагренное кровью его рабов, он отказался выдать Лутацию! Знаете ли вы хоть одного человека, каждый у себя на родине, который сражался бы лучше его? Взгляните: ступени дворца отягчены нашими победами. Продолжайте! Подожгите дворец! Я увезу с собой духа покровителя моего дома, мою черную змею, которая спит наверху, на листьях лотоса. Я свистну, и она за мной последует; если я сяду на галеру, змея моя поплывет за мной по пене вод, по следам моего корабля...

Ее тонкие ноздри трепетали. Она прижимала ногти к драгоценным камням на груди. Глаза ее удлинялись. Она продолжала:

— О, бедный Карфаген! Город, достойный сожаления! У тебя уже нет для защиты твоей прежних сильных мужей, которые отправлялись за океан строить храмы на берегах. Все окружные страны работали на тебя, и равнины морей, изборожденные твоими веслами, несли на себе твои жатвы.

Затем она стала воспевать деяния Мелькарта, бога сидонийского и праотца их семьи.

Она рассказала о восхождении на горы эрсифонские, о путешествии в Тартес и о войне против Марсизабала, предпринятой с тем, чтобы отомстить за королеву змей:

— «Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, который струился, как серебряный ручеек по сухой листве; и он дошел потом до луга, на котором женщины со спинами драконов собрались вокруг большого костра, стоя каждая на кончике хвоста. Луна кровавого цвета сверкала среди бледного кольца, и их красные языки, рассеченные, как багры рыбаков, удлинялись, извиваясь до края пламени».

Потом Саламбо, не останавливаясь, рассказала, как Мелькарт, победив Марсизабала, прикрепил к носу своего корабля его отрубленную голову.

— «При каждом всплеске волн голова исчезала под пеной, но солнце набальзамировало ее: она сделалась тверже золота; лишь глаза ее не переставали плакать, и слезы непрерывно капали в воду».

Обо всем этом она пела на старом ханаанском наречии, которого не понимали варвары. Они все спрашивали себя, что такое она им говорит, сопровождая свои речи грозными жестами; взгромоздившись вокруг нее на столы, на пиршественные ложа, на ветви сикомор, раскрыв рты и вытягивая головы, они старались схватить на лету все эти странные рассказы, мелькавшие перед их воображением, сквозь мрак теогоний, как призраки в облаках.

Одни только безбородые жрецы понимали Саламбо. Их морщинистые руки, свесившись над струнами лир, дрожали и от времени до времени брали мрачные аккорды: будучи слабее старых женщин, они дрожали одновременно и от мистического возбуждения, и от страха, который вызывали в них воины. Варвары не обращали на них внимания; они внимали поющей деве.

Но никто не смотрел на нее так пристально, как один молодой нумидийский вождь, сидевший за столами военачальников между воинами своего племени. Пояс его был так утыкан стрелами, что образовал как бы горб под его широким плащем, прикрепленным к вискам кожа-

ным ремнем. Расходившийся на плечах плащ окружал тенью его лицо, и видно было только пламя его недвижных глаз. Он случайно попал на пир—отец поселил его в доме Барка, по привычке царей, посылавших своих сыновей в знатные семьи, чтобы таким образом подготовлять союзы; но, хотя Нар Гавас жил во дворце уже шесть месяцев, он еще ни разу не видал Саламбо; сидя на каблуках, опустив бороду на древки своих метательных дротиков, он разглядывал ее с раздувающимися ноздрями, как леопард, засевший в камышах.

С другой стороны столов расположился ливиец огромного роста с короткими черными курчавыми волосами. На нем осталась только его военная куртка, и медные нашивки ее раздирали пурпур пиршественного ложа. Ожерелье в виде серебряного полумесяца запуталось в волосах на его груди. Брызги крови виднелись на его лице, и он сидел, опершись на левый локоть; он улыбался широко раскрытым ртом.

Саламбо уже прекратила свои священные напевы. Она стала говорить на всех варварских наречиях, чтобы с женским чутьем смягчить гнев воинов. С греками она говорила по-гречески, а потом обратилась к лигурам, к кампанийцам, к неграм; каждый из них, слушая ее, находил в ее голосе чары своей родины. Увлеченная карфагенскими воспоминаниями, она теперь воспевала древние битвы против Рима; они рукоплескали. Ее воспламеняло сверкание обнаженных мечей; она громко кричала, простирая руки. Лира ее упала, и она замолкла; затем, сжимая сердце обеими руками, она несколько мгновений простояла, опустив веки и наслаждаясь волнением воинов.

Ливиец Мато наклонился к ней. Она невольно приблизилась к нему, из гордости благодарная ему за его восхищение. Она налила ему в золотую чашу длинную струю вина, чтобы примириться с войском.

— Пей! — сказала она.

Он взял чашу и поднес ее к губам, но в это время один из галлов, тот, которого ранил Гискон, хлопнул его по плечу, весело шутя на своем родном наречии. Нахо-

дившийся по близости Спендий взялся переводить его шутки.

— Говори! — сказал Мато.

— Да хранят тебя боги, ты будешь богат; когда свадьба?

— Какая свадьба?

— Твоя. У нас, — сказал галл, — когда женщина наливает вино воину, она тем самым предлагает ему разделить ее ложе.

Он еще не успел кончить, как Нар Гавас, вскочив, выхватил короткое копье из-за пояса и, упираясь правой ногой о край стола, кинул его в Мато.

Копье свистнуло между чаш и, пронзив руку ливийца, так сильно пригвоздило ее к скатерти, что кисть руки задрожала в воздухе.

Мато быстро высвободил руку; но на нем не было оружия; он был голый. Наконец, подняв обеими руками накрытый стол, он бросил его в Нар Гаваса среди толпы, кинувшейся их разнимать. Воины и нумидийцы так тесно сплотились, что не было возможности обнажить мечи. Мато надвигался, нанося удары головой. Когда он поднял голову, Нар Гавас исчез. Он стал искать его глазами. Саламбо тоже покинула пир.

Тогда, обернувшись к дворцу, он увидел, как закрылась наверху красная дверь с черным крестом. Он ринулся туда.

На виду у всех он бежал по ступеням, украшенным гадерами, потом мелькнул вдоль трех лестниц и очутился у красной двери, в которую стукнул всем телом. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть.

Кто-то за ним последовал, и сквозь мрак — огни пира были скрыты выступом дворца — он узнал Спендия.

— Уходи! — сказал он.

Раб, ничего не отвечая, стал раздирать зубами свою тунику, потом, опустившись на колени около Мато, он нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая на ней рану.

При свете лунного луча, струившегося между облаков, Спендий увидел посредине руки зияющую рану.

Он обмотал ее куском ткани; но Мато с раздражением говорил:

— Оставь меня, оставь меня!

— Нет,—возразил раб.—Ты высвободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты—мой повелитель! Приказывай!

Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. Он на каждом шагу прислушивался и сквозь отверстия между золочеными прутиками погружал взгляды в тихие покои. Наконец, он остановился с отчаянием во взгляде.

— Послушай! — сказал ему раб. — Не презирай меня за мою слабость. Я жил во дворце. Я могу, как змея, вползти в стены. Идем! В комнате предков лежит слиток золота под каждой плитой; подземный ход ведет к их могилам.

— Что мне до того! — сказал Мато.

Спендий замолк.

Они стояли на террасе. Перед ними расстилался мрак, в котором точно скрывались какие-то громады, подобно гигантским волнам окаменевшего черного океана.

Но с восточной стороны поднялась полоса света. Слева, совсем внизу, каналы Мегары извивались белыми полосами по зелени садов. Конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления постепенно вырисовывались в свете бледной зари; и вокруг Карфагенского полуострова дрожал пояс белой пены, в то время как море изумрудного цвета точно застыло среди утренней прохлады. По мере того, как расширялось розовое небо, стали выдвигаться высокие дома, теснившиеся на склонах, как стадо черных коз, спускающихся с гор. Пустынные улицы уходили вдаль; пальмы, выступая местами из-за стен, стояли недвижно. Полные цистерны казались серебряными щитами, затерянными во дворах; маяк мыса Гермея стал бледнеть. На самом верху Акрополя, в роще кипарисов, кони Эшмуна, чувствуя близость света, заносили копыта на мраморные перила и ржали в сторону солнца.

Солнце взошло; Спендий, поднимая руки, испустил крик.

Все зашевелилось в разлившемся багрянце, ибо бог,

точно раздирая себя, проливал в потоке лучей золотой дождь своей крови на Карфаген. Засверкали острия галер, крыша Камона казалась охваченной пламенем, и виден был блеск в глубине раскрывающихся храмов. Возы, приехавшие из окрестностей, катили свои колеса по уличным плитам. Дромадеры, навьюченные поклажей, спускались вдоль оград. Менялы открывали ставни своих лавок на перекрестках. Улетали журавли, трепетали белые паруса. В чаще Таниты ударяли в тимпаны священные блудницы и в конце Мапал задымились печи для обжигания глиняных гробов.

Спендий наклонился над перилами террасы; у него стучали зубы, и он повторял:

— Да... да... повелитель! Я понимаю, почему ты не захотел грабить дом.

Мато, точно пробужденный свистом его голоса, казалось, не понимал его слов. Спендий продолжал:

— Сколько тут богатств! И люди, владеющие ими, не имеют даже оружия, чтобы защитить их!

Он указал ему вытянутой правой рукой на нескольких людей, выползших из-за мола, чтобы искать золотые блестки.

— Посмотри, — сказал он, — республика подобна этим жалким людям: склонившись над берегами океанов, она простирает на них свои жадные руки, и шум волн так наполняет ее слух, что она не услышала бы, если бы ее настигли сзади шаги повелителя!

Он увлек Мато на другой конец террасы и показал ему сад, где сверкали на солнце копья воинов, повешенные на деревья.

— Но здесь собрались сильные мужи, ненависть которых велика. Ничто не связывает их с Карфагеном, ни их семьи, ни их клятвы, ни их боги!

Мато продолжал стоять, прислонившись к стене. Спендий, приблизившись, продолжал, понизив голос:

— Понимаешь ли ты меня, воин? Мы будем ходить в багряных одеждах, как сатрапы. Нас будут умащать благовониями; я, в свою очередь, буду владеть рабами. Разве тебе не надоело спать на твердой земле, пить походный уксус и вечно внимать трубам? Или ты наде-

ешься отдохнуть потом, когда с тебя сорвут доспехи, чтобы бросить твой труп коршунам? Или, быть может, опираясь на посох, слепой, хромой и бессильный, ты будешь ходить от дверей к дверям и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам вина? Вспомни о несправедливости вождей, о лагерях в снегу, о переходах под палящими лучами, о произволе дисциплины и о вечной угрозе казни на кресте! После стольких мытарств тебе дали почетное ожерелье; так на осла надевают пояс с погремушками, чтобы оглушить его во время пути и чтобы он не чувствовал усталости. Такой человек, как ты, более храбрый, чем Пирр!.. Если бы ты только захотел! Как бы ты мог жить счастливо в больших прохладных покоях, под звуки лир, лежа на цветах, окруженный шутами и женщинами. Не говори мне, что предприятие мое неосуществимо. Разве наемники не владели уже Регием и другими крепостями в Италии? Что могло бы помешать твоему успеху? Гамилькара нет; народ ненавидит богатых; Гискон не имеет власти над окружающими его трусами. Ты же отважен, тебе они будут повиноваться. Прими на себя начальство над ними. Карфаген наш; завладеем им!

— Нет,—сказал Мато, — проклятие Молоха тяготеет на мне. Я это почувствовал по ее глазам, и вот, только что я видел в одной храме пятящегося назад черного козла. — Он прибавил, оглядываясь вокруг себя: — Где же она?

Спендий понял, что Мато охвачен страшной тревогой, и не осмеливался долее говорить.

Деревья за ними еще дымились; с их почернелых ветвей от времени до времени падали на блюда скелеты полуобгорелых обезьян. Пьяные воины храпели с открытыми ртами рядом с трупами; а те, которые не спали, свешивали головы, ослепленные светом. Истоптанная земля скрыта была под лужами крови. Слоны раскачивали между шестами своих оград окровавленные хоботы. В растворенных закромах виднелась высыпавшаяся из мешков пшеница, под воротами стоял длинный ряд колесниц, сдвинутых туда варварами; павлины, сидя на ветвях кедров, распускали хвосты, поднимая крик.

Недвижность Мато удивляла Спендия; он был еще бледнее, чем раньше, и следил недвижным взором за чем-то на горизонте, опираясь обеими руками о край террасы. Спендий, наклонившись, понял, наконец, что привлекало взгляд Мато. Золотая точка вращалась вдали, на пыльной дороге в Утику. То была ось колесницы, запряженной двумя мулами; раб бежал впереди упряжки с поводьями в руке.

В колеснице сидели две женщины. Гривы мулов были взбиты между ушей на персидский образец и покрыты сетью из голубых бус. Спендий их узнал и едва сдержал крик.

Позади их развевалось по ветру широкое покрывало.

В СИККЕ.

Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Им дали каждому по золотому, под условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке; им сказали, всячески ублажая их лестью:

— Вы — спасители Карфагена. Но вы разорите город и доведете его до голода, оставаясь в нем; Карфагену нечем будет тогда платить. Удалитесь на время! Республика вознаградит вас впоследствии за вашу уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог; жалованье будет выплачено вам полностью, и мы снарядим галеры, которые повезут вас на родину.

Они не знали, что отвечать на такое обилие речей. Эти люди, привыкшие к войне, скучали в городе. Их поэтому нетрудно было уговорить, и народ взобрался на городские стены, чтобы смотреть, как они уходят.

Они прошли по камонской дороге и через циртские ворота, идя как попало, стрелки рядом с гоплитами, начальники рядом с простыми воинами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и тяжелые котурны звенели на плитах. Доспехи их носили следы катапульт, и лица почернели в битвах. Хриплые звуки исходили из их густых бород; разорванные кольчуги звенели о рукояти мечей, и сквозь металлические петли проглядывали их голые тела, страшные по силе, как боевые снаряды. Копья, топоры, рогатины, войлочные шапки и бронзовые каски, — все колыхалось в равномерном движении. Они наводнили улицы, и казалось, что стены раздвинутся от их напора, когда эти длинные ряды вооруженных воинов проходили между высокими шестиэтажными домами, об-

мазанными дегтем. За железными или камышевыми оградами женщины, накрыв головы покрывалом, безмолвно следили за уходящими варварами.

Террасы, укрепления, стены исчезали под толпой карфагенян в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне толпы; полунагие дети, кожа которых сверкала под медными браслетами, размахивали руками среди зелени, обвивавшей колонны, или в ветвях пальм. Несколько старейшин вышли на площадки башен, и неизвестно было, почему местами вдруг показывался и стоял в задумчивости какой-нибудь старик с длинной бородой. Он вырисовывался издали на фоне неба, смутный, как призрак, недвижный, как камень.

Всех, однако, охватила одна и та же тревога. Опасались, как бы варвары, увидев, как они сильны, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво выступали из города, что карфагеняне воспрянули духом и присоединялись к толпе воинов. Им давали клятвы, их обнимали, с преувеличенной хитростью, с дерзким лицемерием убеждали их не покидать город. Им дарили благовония, цветы и деньги. Им давали амулеты против болезней, предварительно, однако, плюнув на них три раза, чтобы привлечь этим смерть, или же зашив в них несколько волосков шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. На их головы призывали вслух благословения Мелькарта, а втихомолку его проклятия.

Потом потянулись поклажа, убойный скот и обоз раненых. Больные стонали, посаженные на дромадеров; другие, хромая, опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой меха с вином, обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, снег в полотняных мешках. Некоторые шли, держа в руках вонтики, с попугаями на плечах. Они вели за собой собак, газелей или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негритянок, покинувших, чтобы следовать за солдатами, лупанары Малки; некоторые из них кормили грудью младенцев, привязанных к шеям матерей кожаными ремнями. Мулы, которых понукали остриями мечей, гнули спины под тяжестью сложенных

палаток; в обозе шло также множество слуг и носильщиков воды, бледных, пожелтевших от лихорадки, из'еденных от грязи паразитами; это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам.

Когда они прошли и закрылись за ними ворота, народ не спустился со стен; войско вскоре рассеялось по всему перешейку.

Оно стало разбиваться на неровные отряды. В последний раз мелькнули копья, подобные высоким стеблям трав, и, наконец, все потерялось в облаке пыли; воины, поворачивавшие головы к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, вырисовывавшихся на краю неба своими пустыми бойницами.

Тогда варвары услышали громкий крик. Они подумали, что часть их, оставшись в городе (они не знали в точности, сколько их было всего), вздумала грабить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь.

Им было весело снова шествовать, как прежде, всем вместе среди пустых пространств; греки запели старую мамертинскую песню:

«Моим копьем и моим мечом я обрабатываю землю и собираю жатву; я — хозяин дома! Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем».

Они кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории; время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, некоторые заметили, что исчез отряд балеарских метателей пращей. Они, наверное, были неподалеку. О них тотчас же забыли.

Одни стали искать помещений в домах, другие расположились у подножья стен, и горожане пришли вести беседы с воинами.

В течение всей ночи видны были на горизонте огни со стороны Карфагена; отсветы, подобно гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из воинов не знал, какой там праздновали праздник.

На следующий день варвары прошли по прекрасно обработанным полям. По краю дороги раскинулся ряд патрицианских ферм: пальмовые леса были прекрасно

орошены; оливковые кущи тянулись длинными зелеными линиями; розовый пар носился над лощинами среди холмов; сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. Хамелеоны ползали по широким листьям кактусов.

Варвары замедлили ход.

Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеких расстояниях друг от друга. Они ели виноград, проходя мимо виноградников, ложились на траву и смотрели с изумлением на искусственно закрученные большие рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещены были борозды, образуя вьющиеся узоры; их поражала форма плугов, подобных корабельным якорям, а также гранатовые деревья, которые поливали сильфием. Эта щедрость почвы, а также измышления человеческой мудрости ослепляли их.

По вечерам они укладывались на палатки, не развертывая их, засыпали, обращая лицо к звездам и жалели о том, что миновал пир во дворце Гамилькара.

На следующий день после полудня сделан был привал на берегу реки, среди олеандровых кустов. Воины поспешно сняли щиты, пояса, бросили наземь копья. Они стали с криками мыться, набирая воду в шлемы, а некоторые пили, лежа на животе вместе с вьючными животными, с которых снимали тюки.

Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали Мато, который, с подвязанной рукой, с непокрытой головой и с опущенным лицом, поил своего мула и глядел, как течет вода. Спендий быстро побежал за ним, протиснувшись сквозь толпу, и стал его звать:

— Господин! Господин!

Мато едва поблагодарил за благословения, призываемые рабом на его голову. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, от времени до времени беспокойно оглядываясь в сторону Карфагена.

Он был сын греческого ритора и кампанейской блудницы. Сначала он обогатился торгом женщин; потом, разоренный кораблекрушением, он вел войну с римлянами в рядах пастухов Самниума. Его взяли в

плен, он бежал; его снова взяли, и после того он много работал в каменоломнях, задыхался в сушильнях, кричал, подвергаясь наказаниям, переменил много хозяев, испытал на себе гнев многих людей. Наконец, однажды, придя в отчаяние, он бросился в море с высоты триремы, которой управлял. Матросы Гамилькара спасли его, и привезли умирающим в Карфаген, где его заключили в мегарский эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, то он воспользовался беспорядком и убежал вместе с воинами.

В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его, когда он опускался на земь, а вечером расстилал ему ковер под голову. Мато, наконец, тронули его заботы, и он стал мало-по-малу размыкать уста.

Он родился в заливе Сиртов. Отец водил его на богомолье в храм Амона. Потом он охотился на слонов в лесах Гарамантов. Затем он поступил на карфагенскую службу. Он возведен был в звание тетрарха после взятия Дрепана. Республика должна была ему четырех лошадей, двадцать три медины пшеницы и жалованье за целую зиму. Он боялся богов и желал умереть у себя на родине.

Спендий говорил ему о своих путешествиях, о народах и храмах, которые он видал, и о том, что он умеет делать: он, действительно, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и варить рыбу.

Иногда он останавливался и издавал глухой горловой крик; мул Мато ускорял шаг, и другие тоже быстрее шли за ним; затем Спендий снова принимался говорить, попрежнему обуреваемый своей тревогой. Она улеглась вечером четвертого дня.

Они шли рядом, с правой стороны войска, по склону холма; долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночных испарениях. Линия воинов, проходивших под ними, колебалась в тени. Временами ряды войска вырисовывались на возвышениях, освещенных луной. Тогда на остриях копий, как будто дрожала звезда, шлемы на мгновение начинали сверкать, затем все исчезало, и на

смену ушедшим являлись другие. Вдали раздавалось блеяние разбуженных стад, и на землю ложилось что-то беспредельно мягкое и нежное.

Спендий, запрокинув голову и полузакрыв глаза, с глубокими вздохами впитывал в себя свежесть ветра. Он распростер руки, шевеля пальцами, чтобы лучше чувствовать негу, струившуюся на его тело. Его воодушевляла воскресшая надежда отмщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдания и, замирая от опьянения, отпускал недоуздок своего дромадера, который шел большими правильными шагами. Мато снова погрузился в свою печаль; ноги его свисали до земли, и травы, стегая его котурны, непрерывно свистели у его ног.

Путь шел нескончаемо вдаль. В конце каждой долины расстилалась круглая поляна, затем снова приходилось спускаться в равнину, и горы, которые как будто замыкали горизонт, точно ускользали вдаль, когда к ним подходили. От времени до времени среди зелени тамарисков показывалась речка и терялась потом за холмами. Местами выступал какой-нибудь огромный утес, подобный носу корабля или подножью исчезнувшего колосса.

На пути встречались на разных расстояниях маленькие треугольные храмы, служившие местом остановки для богомольцев, направлявшихся в Сикку. Храмы были заперты, как гробницы. Ливийцы громко стучались в дверь, требуя, чтобы им открыли, но никто не отвечал изнутри.

Потом все реже стали попадаться обработанные пространства. Потянулись вдруг песчаные поляны с редкими тернистыми кустами. Стада овец паслись между камнями; их оберегала женщина, опоясанная синей шерстью. Она убежала с громкими криками, как только увидала между скал копья солдат.

Они шли, точно по длинному коридору, между двумя цепями красноватых гор, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели под одним из рожковых деревьев нечто необычайное: среди листьев показалась львиная голова.

Они подбежали к дереву и увидели льва, привязанного к кресту за четыре лапы, как преступник. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, исчезая наполовину под гривой, были широко распростерты, как крылья птицы. Все ребра до одного вырисовывались под натянутой кожей; задние лапы, пронизанные вместе одним гвоздем, были слегка подтянуты вверх, и черная кровь, стекавшая по его шерсти, образовала сталактиты внизу хвоста, свисавшего прямо вдоль креста. Солдат это зрелище забавляло. Они стали называть льва римским гражданином и консулом и принялись бросать камни ему в глаза, откуда вылетали стаи мух.

В ста шагах дальше они увидели два других креста и затем еще дальше целый ряд распятых львов. Некоторые из них умерли так давно, что на дереве оставались только остатки их скелетов. Другие, наполовину истлевшие, висели со страшно искривленною пастью. Некоторые львы были огромны. Кресты под ними гнулись, и они качались на ветру, в то время как над их головами неустанно кружились в воздухе стаи ворон. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугать этим примером других. Варвары, перестав смеяться, почувствовали глубокое изумление. «Что это за народ,—думали они,—который ради потехи распинает львов».

Большинство из них были, к тому же, северяне, охваченные тревогой, измученные, уже больные. Они раздирали себе руки о колючки алоэ; большие мухи жужжали у них над ушами, и войско уже начинало страдать от дизентерии. Их беспокоило то, что все еще не видать было Сикки. Они боялись заблудиться и попасть в пустыню, страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели продолжать путь. Иные пошли назад в Карфаген.

Наконец, на седьмой день, после того, как они долго шли вдоль подножья горы, путь резко повернул направо; их глазам представилась линия стен, стоявших на белых утесах, сливаясь с ними. Затем вдруг вырисо-

вался весь город. Синие, желтые и белые покрывала развевались на стенах в красном свете заката. То были жрицы Таниты, прибежавшие приветствовать воинов. Они стояли вдоль укреплений, ударяя в кимвалы, играя на лирах, ударяя в бубны, и лучи солнца, заходящего позади них в нумидийских горах, проступали между струнами арф, на которые ложились их обнаженные руки. Игра на инструментах временами обрывалась, и раздавался резкий, прерывистый, бешеный, длительный крик, похожий на лай: они испускали его, ударяя языком об углы рта. Некоторые из них стояли, подпирая подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремляли свои большие черные глаза на поднимавшееся вверх войско.

Хотя Сикка была священным городом, все же она не могла дать приют такому количеству людей: один только храм со всеми относящимися к нему строениями занимал половину города. Варвары поэтому расположились с большим удобством в равнине: дисциплинированная часть войска правильными отрядами, а другие—по национальностям, или как попало.

Греки разместили параллельными рядами свои палатки из звериных шкур, иберийцы расставили кругом свои холщевые шатры, галлы построили шалаши из досок, ливийцы возвели хижины из сухих камней, а негры вырыли ногтями рвы для спанья. Многие, не зная, где поместиться, блуждали среди поклажи, а ночью укладывались на земле, завернувшись в дырявые плащи.

Вокруг них расстилалась равнина, окаймленная горами. Кое-где наклонялась пальма над песчаным холмом, а сосны и дубы выделялись пятнами по краям пропастей. Иногда, после грозы, дождь свисал длинным покрывалом, в то время как небо вокруг было лазурное и ясное; потом теплый ветер гнал вихри пыли; ручеек спускался каскадами с высот Сикки, где высился со своими золотыми крышами на медных колоннах храм Венеры карфагенской, владычицы страны.

Она, казалось, наполняла все вокруг своей душой. Волнистой линией холмов, сменой холода и тепла, а также

игрой света она обнаруживала бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Верхушки гор имели вид полумесяца; иные походили на женскую грудь, вздувшуюся от молока, и варвары при всей своей усталости почувствовали странное томление, полное очарования.

Спендий, продав дромадера, купил себе раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался; во сне ему мерещился свист кожаных плетей; тогда он с улыбкой проводил руками по зажившим рубцам на ногах, на том месте, где он долго носил кандалы; потом он снова засыпал.

Мато ничего не имел против его общества, и когда он выходил, то Спендий, с длинным мечом, свисавшим у него сбоку, сопровождал его, как ликтор; или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо, ибо Спендий был мал ростом.

Однажды вечером, когда они вместе проходили по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах; среди них был Нар Гавас, нумидийский вождь. Мато вздрогнул.

— Дай меч,—воскликнул он,—я хочу его убить.

— Не теперь,—сказал Спендий, останавливая его.

Нар Гавас подходил к нему. Он прикоснулся губами к своим большим пальцам на обеих руках в знак приязни, отказываясь тем самым от гневной вспышки в пьяном виде на пиру. Потом он долго говорил против Карфагена, но не сказал, что его привело к варварам.

Кого он хочет предать: их или республику?—спрашивал себя Спендий; и так как он надеялся извлечь пользу для себя из всяких смут, то был благодарен Нар Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал.

Нумидийский вождь остался среди наемников. Он, казалось, хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой порошок и страусовые перья. Ливиец, удивляясь этим заискиваниям, не знал, отвечать ли на них тем же или же дать волю раздражению. Но Спендий успокаивал его, и Мато подчинялся

рабу, все еще находясь в нерешительности и не будучи в состоянии стряхнуть с себя непобедимую тяжесть полузабытья, как человек, давно выпивший напиток, от которого должен умереть.

Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар Гавас спрятал под плащем кинжал. Спендий следовал за ним, не отходя, и за все время охоты кинжал не был вынут из ножен.

В другой раз Нар Гавас завел их очень далеко, до самых пределов своих владений. Они очутились в узком ущелье. Нар Гавас с улыбкой заявил, что он не знает, как идти дальше. Спендий нашел дорогу.

Но чаще всего, Мато, грустный, как авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он вытягивался где нибудь на песке и лежал до вечера, не двигаясь с места.

Он советовался по очереди со всеми волхвами в войске, с теми, которые наблюдают за движениями змей, которые читают в звездах, которые дуют на золу сожженных трупов. Он глотал камедистую смолу, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце; негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и кололи ему в это время лоб золотыми стилетами; он навешивал на себя ожерелья и амулеты, он взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к семи Кабирам, к Таните и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластинке и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спендий слышал, как он стонал и говорил сам с собой.

Однажды ночью он вошел к нему.

Мато, голый, как труп, лежал на животе на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками; свешивавшаяся лампа освещала оружие, висевшее над его головой и прикрепленное к подпоре палатки.

— Что тебя гнетет?—спросил раб.—Что тебе нужно? Ответь мне.

Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул его:

— Господин! Господин!..

Наконец, Мато поднял на него свои большие печальные глаза.

— Слушай!—сказал он тихим голосом, приложив палец к губам.—Гнев богов обрушился на меня! Меня преследует дочь Гамилькара. Я боюсь ее, Спендий!— Он прижимался к груди раба, как ребенок, устрашенный призраком.—Скажи мне что-нибудь! Я болен. Я хочу излечиться. Я пробовал все средства. Но ты, быть может, знаешь более могущественных богов или неотвратимое заклинание.

— Зачем это тебе?—спросил Спендий.

Мато ответил, ударяя себя кулаками о голову:

— Хочу от нее избавиться!

Потом он сказал, говоря сам с собой, с длинными промежутками:

— Я наверное жертва, которую она обещала, как искупление, богам... Она привязала меня к себе цепью, незаметной для глаз. Когда я иду, это значит, что идет она; когда я останавливаюсь, значит, она отдыхает. Ее глаза жгут меня; я слышу ее голос. Она окружает меня, она проникает в меня. Мне кажется, что она сделалась моей душой! И все же нас точно разделяют невидимые волны безбрежного океана. Она далека и недоступна. Сверкание ее красоты окружает ее облаком света; иногда мне кажется, что я ее никогда не видел... что она не существует... что все это сон.

Так Мато проливал слезы во мраке; варвары спали. Спендий, глядя на него, вспоминал молодых людей, которые, с золотыми сосудами в руках, обращались к нему некогда с мольбами, когда он водил по городу свое стадо куртизанок; его охватила жалость, и он сказал:

— Не падай духом, господин мой! Призови на помощь свою волю и не моли богов, ибо они не оглядываются, слыша призывы людей. Ты плачешь, как трус. Как тебе не стыдно страдать из-за женщины?

— Разве я дитя?—возразил Мато.—Ты думаешь, меня еще трогают женщины и их песни? У нас в Дрепане они метут конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, под рушившимися сводами и когда еще дрожали катапульты... Но эта женщина, Спендий, эта...

Раб прервал его:

— Не будь она дочь Гамилькара...

— Нет!—воскликнул Мато.—Она не такая, как все другие женщины в мире! Видел ли ты ее большие глаза под густыми бровями,—глаза, подобные солнцам под триумфальными воротами? Вспомни: когда она появилась, свет факелов потускнел. Между драгоценными камнями ее ожерелья сверкала местами ее оголенная грудь; следом за нею шло точно благоухание храма, а из всего ее существа исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. И все же она шла, а потом остановилась.

Он опустил голову, устремив глаза вдаль.

— Но я хочу обладать ею! Я умираю от желания! При мысли о том, что я сожму ее в своих об'ятиях, меня охватывает неистовая радость; и все же я ненавижу ее. Я бы хотел бить ее, Спендий. Что мне делать? Я был бы рад продать себя, чтобы сделаться ее рабом. Ты, ведь, был ее рабом! Ты мог видеть ее. Скажи мне что-нибудь о ней. Не правда ли, она каждую ночь поднимается на террасу своего дворца? Камни, наверное, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы увидеть ее?

Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык.

Потом Мато начал петь:

«Он преследовал в лесу чудовище женского образа, хвост которого извивался по мертвым листьям, как серебряный ручеек».

Медленно растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, в то время как его две протянутые руки как бы скользили легкими движениями по струнам лиры.

В ответ на все утешения Спендия, он повторял те же речи. Ночи проходили среди стонов и увещаний. Мато хотел заглушить свои страдания вином. Но опьянение еще более усиливало его печаль. Тогда он стал искать развлечения, играя в кости, и проиграл одну за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он отправился к жрицам богини, но спустился от них с холма, рыдая, как с похорон.

Спендий, напротив того, становился все более сме-

лым и более веселым. Он проводил время в обществе воинов в кабачках, устроенных под древесными навесами. Он чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы на лугах для больных. Он весело шутил, проявлял тонкость ума, большую изобретательность и разговорчивость; варвары привыкали к его услугам, привязывались к нему.

Они все время ждали посла из Карфагена, который бы привез им на мулах корзины, нагруженные золотом; начиная каждый раз наново подводить те же счеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый устраивал в мыслях свою будущую жизнь, рассчитывая иметь наложниц, рабов, землю. Некоторые из них намеревались зарыть свои сокровища в землю или рискнуть увезти их на кораблях. Среди полного безделья воины начинали раздражаться; начались непрерывные споры между конницей и пехотой, между варварами и греками, и все время раздавался оглушительный резкий шум женской брани.

Каждый день являлись целые полчища почти совершенно нагих людей, покрывших себе головы травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян, принуждаемые обрабатывать их землю и спасшиеся бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, множество изгнанников, людей, совершивших преступления. Затем явилась орда торговцев; все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, обратились против республики; Спендий громко нападал на Карфаген. Вскоре припасы стали истощаться. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген, или же признать римлян.

Однажды, в час ужина, раздались приближавшиеся тяжелые надтреснутые звуки; издалека на волнистой линии дороги показалось что-то красное.

То были большие пурпурные носилки, украшенные на углах пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи с гирляндами бус звенели, ударяясь о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая большими колокольчиками, висевшими у них на шее.

верблюдов окружали наездники в золоченых латах, заковывавших их от плеч до пят.

Они остановились в трехстах шагах от лагеря, чтобы вынуть из чехлов, прикрепленных к седлу, свои круглые щиты, широкие мечи и беотийские шлемы. Часть всадников осталась с верблюдами; другие двинулись вперед. Наконец, появились регалии республики, то-есть палки из синего дерева, заканчивавшиеся лошадиными головами или сосновыми шишками. Варвары поднялись все со своих мест и стали рукоплескать; женщины бросились навстречу легионерам и стали целовать им ноги.

Носилки приближались, покоясь на плечах двенадцати негров, которые шли в ногу маленькими быстрыми шагами. Они ступали то по правой, то по левой стороне дороги, как попало, натыкаясь на веревки палаток, на скот, который разбрелся во все стороны, на треножники, на которых жарили мясо. От времени до времени носилки полуоткрывались, и оттуда высовывалась толстая рука, вся в кольцах; хриплый голос выкрикивал ругательства. Тогда носильщики останавливались и прорезывали лагерь по другому пути.

Пурпурные занавеси носилок приподнялись; на широкой подушке лежал человек с вздувшимся равнодушным лицом; брови вырисовывались на нем, как две дуги из черного дерева, соединенные у основания; золотые блестки сверкали в курчавых волосах, и лицо было такое бледное, точно его обсыпали мраморным порошком. Все тело исчезало под звериными шкурами, покрывавшими носилки.

Воины узнали в лежавшем человеке суффета Ганнона, того, который своею медлительностью содействовал поражению в битве на Эгатских островах; что же касается его победы над ливийцами при Гекатомпиле, то его тогдашнее милосердие к побежденным об'яснялось в мыслях варваров корыстными намерениями; он продал в свою пользу всех пленных, хотя заявил совету, что умертвил их.

Ганнон несколько времени искал удобного места, откуда обратиться с речью к воинам; наконец, он сде-

дал знак; носилки остановились, и Ганнон, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю.

На нем были черные фетровые башмаки, усеянные серебряными полукругами. Ноги были стянуты пеленами, как тело мумий, и между скрещивающимися полотняными полосами виднелось местами тело. Живот его выступал из красной одежды, покрывавшей ему бедра; складки шеи свешивались на грудь, как у быка; туника, расписанная цветами, трещала под мышками; на нем был еще пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Большое количество одежд, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался каким-то толстым идолом, высеченным из камня; белая сыпь, покрывавшая все его тело, придавала ему неживой вид. Только его нос, крючковатый, как клюв ястреба, сильно раздувался, вдыхая воздух, и его маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ для почесывания кожи.

Наконец, двое глашатаев затрубили в серебряные рога; шум смолк, и Ганнон заговорил.

Он начал с прославления богов и республики; варвары, по его словам, должны были радоваться тому, что служили ей. Но, продолжал он, необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена теперь тяжелые: «Если у собственника всего три маслины, то, ведь, вполне справедливо, чтобы он оставил две для себя, не так ли?»

Таким образом, старый суффет уснащал свою речь пословицами и поговорками, делая все время знаки головой, чтобы вызвать одобрение у слушателей.

Он говорил на пуническом наречии, а те, которые окружали его (самые проворные прибежали без оружия), были кампанийцы, галлы и греки, и, таким образом, никто в толпе не понимал его. Ганнон заметил это, остановился и стал тяжело переминаться с ноги на ногу, соображая, что делать.

Ему пришло в голову созвать военачальников. Тогда его глашатаи возвестили этот приказ по-гречески — этот

язык со времени Ксантиппа всегда употреблялся в карфагенском войске для приказов.

Стража расчистила ударами бича толпу воинов, и вскоре явились начальники фаланг спартанского образца, а также вожди варварских когорт со знаками своего ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, и равнина огласилась смутным гулом; кое-где засверкали огни; все ходили с места на место, спрашивая, что случилось, почему суффет не раздает денег.

Он раз'яснил военачальникам затруднительное положение республики. Казна ее иссякла. Дань, уплачиваемая римлянам, разорила ее. «Мы не знаем как быть... Республика в очень жалком положении».

От времени до времени он почесывал тело своей лопаточкой из алоэ или же останавливался, чтобы выпить из серебряной чаши, которую протягивал ему раб, глоток питья, приготовленного из пепла ласок и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он утирал губы пурпурной салфеткой и продолжал:

— То, что стоило прежде шекель серебра, стоит теперь три шекеля золота, и земля, заброшенная во время войны, теперь ничего не приносит!.. Улов пурпура ничтожный; даже жемчуг поднялся до невероятной цены; у нас едва хватает благовонных масл для служения богам. Что касается стола, то о нем лучше не говорить; это истинное бедствие! Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, и очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на киренской границе. Сицилия, откуда прежде доставлялось столько рабов, теперь для нас закрыта! Еще вчера за одного банщика и четырех кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за двух слонов!

Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством: столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на улов кораллов, столько-то на расширение сисситов, столько-то стоили сооружения в рудниках, в Кантабрии.

Но военачальники так же мало понимали пуническое наречие, как и солдаты, хотя наемники обменивались приветствиями именно на этом языке. Обыкновенно в

войска варваров посылали несколько карфагенских офицеров для того, чтобы они служили переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь преследований, и Ганнон не подумал о том, чтобы взять их с собою; к тому же, его голос был настолько глухой, что его не слышно было на ветру.

Греки, затянутые в свои железные пояса, напрягали слух, стараясь угадать слова, в то время, как горцы, закутанные в меха, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на свои палки, подбитые гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и с насмешливым хохотом потряхивали своими длинными волосами; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в свои серые шерстяные одежды; сзади прибывали новые толпы; стражники, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках зажженные сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, взобравшись на пригорок, обросший травой.

Варвары тем временем стали терять терпение; поднялся ропот, все стали заговаривать с Ганноном. Он жестикулировал своей лопаточкой; те, которые хотели заставить молчать других, кричали сами еще громче, и от этого общий гул только усиливался.

Вдруг к Ганнону подскочил незрачный, жалкий с виду человек и, выхватив рог у одного из глашатаев, протрубил в него; этим Спендий (ибо это был он) заявил, что собирается возвестить нечто важное. В ответ на его заявление, быстро произнесенное на пяти разных языках — на греческом, латинском, гальском, ливийском и балеарском — военачальники, полусмеясь, полуизумляясь, ответили:

— Говори! Говори!

Спендий колебался с минуту; он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:

— Вы слышали все страшные угрозы этого человека!

Ганнон ничего на это не ответил; он, следовательно, не понимал по-ливийски; продолжая свой опыт, Спен-

дий повторил ту же фразу на других варварских наречиях.

Слушатели с удивлением глядели друг на друга; потом все, точно по молчаливому соглашению и, может быть, думая, что они поняли, опустили головы в знак согласия.

Тогда Спендий заговорил мощным голосом:

— Он, прежде всего, сказал, что боги других народов — одно лишь сновидение наряду с богами Карфагена! Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами. Республика без вас (так он сказал) не была бы вынуждена платить дань римлянам; своими излишествами вы истощили все их запасы благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с бродячими племенами на киренской границе! Но виновные будут наказаны. Он прочел точный список всех пыток, которым их подвергнут; их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситы, и их пошлют также рыть землю в рудниках в Кантабрии.

Спендий повторил то же самое галлам, грекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен собственных, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что им передают совершенно верно речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «ты лжешь!»—но их голоса потерялись в общем гуле; Спендий прибавил:

— Разве вы не заметили, что он оставил за входом в лагерь часть конницы? По его знаку, они примчатся, чтобы умертвить вас всех.

Варвары повернулись в сторону входа, и в то время, когда толпа отступала, среди нее вдруг очутился какой-то человеческий призрак, медленно подвигавшийся, весь сгорбившийся, худой, совершенно голый, покрытый ниже пояса длинными взъерошенными волосами, с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Вокруг бедер и на коленях он носил солому и полотняные лохмотья; его сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как лохмотья с сухих сучьев; руки дрожали непрерывной дрожью, и он шел, опираясь на оливковую палку.

Он подошел к неграм, носившим факелы. Странная

бессмысленная усмешка обнажила его бледные десна. Он рассматривал большими испуганными глазами толпу варваров вокруг себя.

Вдруг, испуская крики ужаса, он бросился назад, прячась за их спины; он пробормотал: «вот они, вот они!», — показывая на конницу суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах. Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке; человеческий призрак весь трепетал и ревел:

— Они их убили!

При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:

— Да, всех, всех убили! Растоптали, как виноград! Такие молодые и такие красавцы! Метатели пращей! Мои сотоварищи и ваши.

Ему дали вина, и он заплакал; потом он стал говорить без конца.

Спендий едва сдерживал свою радость, передавая грекам и ливийцам ужасы, о которых рассказывал Зеркас. Он боялся верить его словам, до того все, что он рассказывал, было кстати. Балеары побледнели, узнав, как погибли их товарищи.

Речь шла об отряде трехсот метателей пращей, прибывших в Карфаген накануне оставления его войсками и в этот день слишком поздно проснувшихся. Когда они пришли на площадь, перед храмом Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всякой защиты, так как их глиняные ядра были уложены на верблюдах вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатебскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых внутри медью; тогда все население общим напором ринулось на них.

Воины, действительно, вспомнили донесшийся до них страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.

Потом трупы положили на руки богов-патеков, окружавших храм Камона. Их обвинили во всех преступлениях наемников: в обжорстве, воровстве, безбожии, глумлении, а также в убийстве рыб в саду Саламбо. Их тела подвергли позорным надругательствам; жрецы жгли их

волоса, чтобы мучить их душу; тела их развешивали по кускам в мясных; некоторые даже вонзали в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, их жгли на кострах на перекрестках.

Это и были те огни, которые светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же, как умирающих, перебросили через стены. Зерксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он бродил в окрестностях, отыскивая армию по следам в пыли. Утром он прятался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь со своими открытыми ранами, из которых струилась кровь, голодный, больной, питаясь кореньями и падалью; наконец, он увидел на горизонте острия копий и пошел за ними; ум его помутился от ужаса и страданий.

Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось, как буря; они хотели тотчас же уничтожить конницу вместе с суффетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать суффета и, по крайней мере, узнать, уплатят ли им жалованье. Тогда все стали кричать:

— Наши деньги!

Ганнон ответил, что привез деньги.

Все бросились к аванпостам, и поклажу суффета привезли к палаткам при содействии варваров; не дожидаясь рабов, они стали сами развязывать корзины; там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, духи, карандаши из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной гвардии, богатым людям, привыкшим к изнеженной жизни. Среди поклажи оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда: он принадлежал суффету, который брал в нем ванны во время пути. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпила, которых сжигали живыми для его питья. Но так как болезнь его сопровождалась большим аппетитом, то он вез с собой много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшечки из Комагена, наполненные растопленным гусиным жиром, покрытым снегом и

рубленой соломой. Этих горшечков припасено было очень много, их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрывы смеха.

Что касается жалованья наемникам, то оно наполняло не более двух плетеных корзин; в одной из них были даже кожаные кружочки, которыми республика пользовалась вместо денег; и когда варвары выразили свое изумление, Ганнон об'явил им, что в виду трудности счетов, старейшины не успели еще рассмотреть их и пока посылают им вот это.

Тогда наемники стали топтать и опрокидывать все, что видели перед собой: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они забрали пригоршнями деньги из мешков, чтобы побивать ими Ганнона. Ему с трудом удалось сесть на осла; он пустился в бегство, уцепившись за шерсть осла, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятия всех богов. Его широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами свой слишком длинный плащ, который волочился за ним, а варвары кричали ему издали:

— Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай с твоим золотом, с твоей чумой! Скорей! Скорей!..

Свита его скакала за ним в полном беспорядке.

Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что некоторые из них, ушедшие в Карфаген, не вернулись оттуда: их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый взял свой шлем и свое копье, и в одно мгновение все было готово. Те, у которых не было оружия, бросались в лес, чтобы нарезать себе палок.

Занимался день; население Сикки, проснувшись, стало сновать по улицам.

— Они идут на Карфаген, — говорили кругом, и этот слух вскоре распространился по всей стране.

На каждой дорожке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.

Когда варвары ушли, Спендий обошел равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ними ехал раб и вел с собой третью лошадь.

Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.

— Встань, господин. Мы выступаем.

— Куда? — спросил Мато.

— В Карфаген, — крикнул Спендий.

Мато вскочил на лошадь, которую раб оставил у входа в палатку.

САЛАМБО.

Луна поднималась в уровень с волнами, и над городом, еще покрытым мраком, засверкали яркие белые точки: упряжь повозки на дворе, полотняная тряпка на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди идола; стеклянные шары на крышах храмов сверкали местами, как огромные алмазы. Но неясные очертания развалин, насыпи черной земли и сады казались темными глыбами во мраке, а внизу Мальки сети рыбаков тянулись из дома в дом, как гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Не слышно было более скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов, и верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животах, как страусы. Привратники спали на улицах у порогов домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях; вдали временами еще вырывался дымок пылающей жертвы из бронзовых плит, и тяжелая струя воздуха приносила вместе с ароматами запах морских трав, а также испарения стен, раскаленных солнцем. Вокруг Карфагена сверкали недвижные воды, ибо луна одновременно проливала свой блеск и на залив, окруженный горами, и на тунисское озеро, где среди песчаных мелей фламинги покоились длинными розовыми рядами; а дальше, под катакомбами, соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался на горизонте с одной стороны с пылью равнин, с другой—с морскими туманами, и на вершине акрополя пирамидальные кипарисы, окружавшие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобно медленному прибою волн вдоль мола у подножья стен.

Саламбо поднялась на террасу своего дворца с помощью рабыни, которая несла на железном блюде зажженные угли.

На террасе стояло маленькое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая, священной птицы, посвященной богам; в четырех углах расставлены были длинные курильницы, наполненные нардом, ладаном, кинамоном и миррой. Рабыня зажгла курения. Саламбо обратила взор к полярной звезде; она медленно поклонилась на четыре стороны и опустилась на колени на землю, посыпанную голубым порошком и усеянную золотыми звездами на подобие неба. Потом, прижав локти к бокам, вытянув руки и раскрыв пальцы, она откинула голову под лучами луны и заговорила:

— О, Раббетна!.. О, Ваалета!.. О, Танита!.—Голос ее звучал жалобно и протяжно, точно она кого-то призывала. — Анаита! Астарта! Дерцета! Асторета! Милитта! Атара! Элисса! Тирата!.. Скрытыми символами, звучными цистрами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием, о, властительница темного моря и голубых берегов, о, царица всей влаги мира, приветствую тебя!

Она два-три раза покачнулась всем телом, потом распростерлась лицом в пыли, вытянув руки.

Рабыня быстро ее подняла, ибо по обряду нужно было, чтобы кто-нибудь поднял распростертого в молитве: это значило, что боги вняли его мольбе, и кормилица Саламбо всегда неуклонно исполняла этот благочестивый долг.

Торговцы из Гетулии даритинской привезли ее еще ребенком в Карфаген, и, отпущенная на свободу, она не хотела оставить своих господ, как это видно было по ее правому уху, в котором сделано было большое отверстие. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели два жестяных кольца. Лицо ее, несколько плоское, было желтого цвета, как ее туника. Длинные серебряные иглы образовали целое солнце сзади головы. В одну ноздрю продета была ко-

рал.ловая серьга. Опустив глаза, она стояла подле ложа, прямее изваяния.

Саламбо подошла к краю террасы. Глаза ее оглянули горизонт, потом опустились на спящий город, и вздох, который она испустила, поднимая ее грудь, вызвал трепет вдоль всей длинной белой одежды, которая висела на ней без пояса и без пряжки. Ее сандалии с загнутыми носками исчезали под множеством изумрудов, и распущенные волосы были перехвачены пурпурной сеткой.

Она подняла голову, созерцая луну, и стала шептать, примешивая к своим словам обрывки гимнов:

«Как легко ты кружишься, поддерживаемая невесомым эфиром! Он разглаживается вокруг тебя, и твое движение распределяет ветры и плодоносные росы. Сообразно с тем, наростаешь ли ты или убываешь, удлиняются или суживаются глаза кошек и пятна пантер. Жены с криком называют твое имя среди мук деторождения! Ты вздуваешь раковины! По твоей воле кипит вино! По твоей воле разлагаются трупы! Ты создаешь жемчужины в глубине морей!..

И все зародыши, о, богиня, исходят из темных глубин твоей влажности.

Когда ты появляешься, по земле разливается покой; чашечки цветов закрываются, воды смиряются, усталые люди ложатся, обращая грудь к тебе, и мир со своими океанами и горами глядится, точно в зеркало, тебе в лицо. Ты—белая, нежная, ясная, непорочная, помогающая, очищающая, безмятежная».

Рог луны поднялся над горой Теплых Вод, в вырезе между двумя верхушками, по другую сторону залива. Под луной светилась маленькая звезда, окруженная бледным сиянием. Саламбо продолжала:

«Но вместе с тем ты грозная владычица! Ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны, глаза твои пожирают камни зданий, и обезьяны больны при каждом твоем обновлении.

Куда ты идешь? Зачем постоянно меняешь свой образ? То согнувшаяся и тонкая, ты скользишь по безбрежному пространству, точно галера без снастей, то ка-

жешься среди звезд пастухом, стерегущим стадо. Сияющая и круглая, ты касаешься вершины гор, как колесо колесницы.

О, Танита! Ведь ты меня любишь, не правда ли? Я так много на тебя глядела! Но нет! Ты продолжаешь свой бег в лазури, а я недвижна на земле».

— Таанах, возьми свой небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально!

Рабыня взяла в руки инструмент, в роде арфы, из черного дерева, выше ее и треугольной формы. Она укрепила острие в хрустальный шар и стала играть обеими руками.

Звуки чередовались, глухие и быстрые, как жужжание пчел, и, становясь все более звучными, улетали в ночной мрак вместе с жалобой волн и с дрожанием больших деревьев на верхушке акрополя.

— Перестань играть!—воскликнула Саламбо.

— Что с тобой, госпожа? Всякое дуновение ветра, всякое облачко на небе тревожит и волнует тебя.

— Не знаю,—сказала она.

— Ты слишком утомляешь себя долгими молитвами.

— О, Таанах, я хотела бы растаять в молитве, как цветок в вине!

— Может быть, дым твоих курений вреден тебе?

— Нет,—сказала Саламбо,—дух богов обитает в благовониях.

Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал к янтарным берегам, за столбы Мелькарта.

— Но если он не вернется,—сказала она,—то тебе придется—такова его воля—избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и тогда печаль твоя пройдет в об'ятиях мужа.

— Почему?—спросила девушка. Все те мужчины, которых она видела до сих пор, внушали ей ужас своим животным смехом и своим грубым телом.

— Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие волны, более тяжелые, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Пламенный шар катится и поднимается в моей груди, душит меня, и мне кажется, что я умираю; а потом что-то сладостное, прони-

кающее меня от чела до пят, проходит по всему моему телу... меня обволакивает какая-то ласка, и я вся изнеможена, точно надо мной распростерся бог. О, как бы я хотела разлиться в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, выйти из моего тела, быть дыханием, лучем, скользить и подняться к тебе, о, Мать!

Она высоко подняла руки, вся выпрямившись, бледная и легкая, как луна, в своей длинной одежде. Потом она снова опустилась на ложе из слоновой кости, вся задыхаясь. Но Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми клыками, чтобы рассеять страхи, и Саламбо сказала почти угасшим голосом.

— Пойди, призови Шагабарима.

Отец ее не желал, чтобы она вступила в коллегию жриц и даже, чтобы ее ознакомили с всенародным представлением о Таните. Он хранил ее для брачного союза, полезного для его политических целей. Саламбо поэтому жила совершенно одна во дворце; мать ее давно умерла.

Она выросла в лишениях, постах, среди постоянных очищений, окруженная изысканной красотой, упитывая тело благовониями, возвышая душу молитвами. Она никогда не касалась вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала за порог дома, где лежал мертвый.

Она не знала непристойных изображений, ибо каждый бог являлся в различных видах, и одно и то же божественное начало проявлялось в противоречивых богослужениях; Саламбо преклонялась богине в ее лунном образе. И луна влияла на девственницу: когда она убывала, Саламбо слабела. Чувствуя странную истому весь день, она оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла.

Но ревнивая Раббетна мстила девственнице, не отдаваемой ей в жертву, и мучила Саламбо искушениями тем более властными, что они были смутные, сливались с верой и загорались от молитв.

Дочь Гамилькара неустанно занята была Таннтой. Она изучила все ее похождения и скитания, все ее имена и повторяла их, не зная, что каждое имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубины учения Таниты, ей хоте-

лось увидать в тайном хранилище храма ее старинную статую, одетую в дивный плащ, от которого зависели судьбы Карфагена; представление о божестве не было точно отделено от его изображения; казалось, что видеть изображение божества значило как бы овладеть частицей его могущества и до некоторой степени подчинить его себе.

Саламбо обернулась. Она узнала звон золотых колокольчиков, которые Шагабарим носил вдоль края своей одежды.

Он поднимался по лестнице; взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки.

Его глубоко сидевшие глаза сверкали, как светильники гробниц; его длинное худое тело заключено было в развевающуюся льняную одежду, отягощенную бубенчиками, которые чередовались внизу со смарагдовыми шишками. У него было хрупкое тело, удлиненный череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной на ощупь, и желтое лицо с глубокими морщинами точно все судорожно сжалось от единого желания, от вечной печали.

Это был первосвященник Таниты, воспитатель Саламбо.

— Говори,—сказал он.—Чего ты желаешь?

— Я надеялась... Ты мне почти обещал...

Она едва могла говорить от волнения; потом вдруг она сказала твердым голосом:

— Почему ты меня презираешь? Что я забыла в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет так служить богине, как я; но есть что-то в этом служении, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец?

Шагабарим вспомнил веления Гамилькара и ответил:

— Нет, мне нечего больше открывать тебе.

— Какой-то дух,—продолжала она,—преисполняет меня любовью к ней. Я поднималась по ступеням вверх к Эшмуну, к богу планет и разума; я спала под золотым масличным деревом Мелькарта, покровителя тирских колоний; я открыла двери Ваал-Камона, бога света и плодородия; я приносила жертвы подземным кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки/

слишком высоки, слишком недосягаемы. Можешь ты это понять? Она же, я чувствую, соединена с моей жизнью; она наполняет мою душу, и я дрожу от внутренних ее порываний, точно она срывается с места, чтобы высвободиться. Мне кажется, что я сейчас услышу ее голос, увижу ее лицо. Меня ослепляют молнии, потом я снова погружаюсь в мрак.

Шагабарим молчал. Она устремила на него молящий взгляд.

Наконец, он велел знаком удалить рабыню, которая не принадлежала к хананейскому племени. Таанах исчезла, и Шагабарим, поднимая к небу руку, начал:

— До того, как явились боги, мрак едино царил, и в нем носилось дыхание, тяжелое и неясное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав Желание и Облако, а из Желания и Облака вышла первобытная Материя. То была грязная, черная ледяная глубокая вода. Она заключала в себе бесчувственные чудовища, разрозненные части будущих форм, тех, которые изображены на стенах святилищ.

Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая—небосклон. Появились солнце, луна, ветры, тучи: при грохоте грома проснулись разумные существа. Тогда распростерся Эшмун в звездном пространстве; Камон засверкал в солнце; Мелькарт толкнул его своими руками за Гадес: Кабиры спустились под вулканы, и Раббетна, как кормилица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ.

— А потом? — спросила Саламбо.

Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы развлечь ее ум более высокими представлениями; но страсть девственницы загорелась от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал:

— Она рождает любовь в людях и управляет ею.

— Любовь в людях!—повторила Саламбо мечтательным голосом.

— Она душа Карфагена,—продолжал жрец,—и хотя она разлита повсюду, все же она обитает здесь, под священным покрывалом.

— О, отец!—воскликнула Саламбо.—Ведь я ее увижу, не правда ли? Ты проведешь меня к ней! Я долго колебалась; я сгораю от желания увидеть облик Таниты. Сжалься! Сжалься надо мной! Идем сейчас!

Он оттолкнул ее гневным гордым движением.

— Никогда! Разве ты не знаешь, что от этого вида умирают? Ваалы гермафродиты открываются только нам, мужам по уму, женщинам—по слабости. Твое желание святотатственно; удовлетворись тем знанием, которым ты владеешь!

Она пала на колени и заткнула уши пальцами в знак раскаяния; она долго рыдала, раздавленная словами священника, преисполненная гневом против него, а также ужасом и чувством унижения. Шагабарим стоял бесчувственный, как камни террасы. Он смотрел на нее сверху вниз и, видя, как она дрожит у его ног, испытывал странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую и он не мог об'ять всецело. Уже запели птицы, подул холодный ветер, и на побледневшем небе пронеслись тонкие облачка.

Вдруг он заметил на горизонте, за Тунисом, точно легкий туман, носившийся по земле; потом в воздухе повисла перпендикулярно большая завеса из серой пыли, и в вихрях движущихся толп показались головы верблюдов, копья, щиты. Армия варваров шла на Карфаген.

У СТЕН КАРФАГЕНА.

В город примчались из окрестностей верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха, бледные, запыхавшиеся люди. Они убегали от надвигавшейся армии. Она в три дня вернулась из Сикки в Карфаген, чтобы разрушить город.

Карфагеняне закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посредине перешейка, на берегу озера.

Сначала они не выказывали враждебных замыслов. Некоторые из них вошли с пальмовыми ветвями в руках. Их отогнали стрелами: до того был велик страх горожан.

Утром и под вечер вдоль стен бродили какие-то люди. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, закутанный в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он в течение долгих часов пристально разглядывал акведук, очевидно, желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих истинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой.

Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка. Сначала шел ров, затем вал, покрытый травой, и, наконец, стена, высотой в тридцать локтей, из тесаных камней и в два этажа. В ней устроены были стойла для трехсот слонов и склады для их попон, сбруи и запасов корма. Затем шли конюшни для четырех тысяч лошадей и для запасов овса, для упряжи, а также казармы для двадцати тысяч солдат с их вооружением и всеми военными принадлежностями. Над вторым этажем

возвышались башни с бойницами, с повешенными снаружи на крючьях бронзовыми щитами.

Эта первая линия стен защищала квартал Мальки, где жили матросы и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпурные ткани, а на далеких террасах виднелись глиняные печи для варки рассола.

Сзади расположен был амфитеатром город со своими высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, из досок, из морских валунов, из камыша, из раковин, из утоптанной земли. Рощи храмов составляли как бы озера зелени среди этой горы из разноцветных глыб. На неравных расстояниях виднелись площади. Бесчисленные маленькие улицы, перебегая, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие теперь одна к другой; они возвышались местами в виде огромных мелей или же тянулись длинными стенами, наполовину покрытые цветами, почерневшие, исполосованные нечистотами, и улицы проходили через зиявшие в них отверстия, как реки под мостами.

Холм акрополя, в центре Бирсы, исчезал весь в хаосе памятников. Там стояли храмы с витыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, с конусами из сухого камня с лазурными полосами, с медными куполами, с мраморными перекладинами, с вавилонскими контрафорсами, с обелисками, поставленными на острие, как опрокинутые факелы. Галереи лепились к фронтонам; волюты извивались среди колоннад; гранитные стены поддерживали кирпичные перегородки; все это, наполовину прячась, нагромождалось одно на другое странным и непонятным образом. Во всем чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах.

Позади акрополя, среди полей с красною почвою, мапальская дорога, окаймленная могилами, тянулась прямой линией от берега к катакомбам; дальше шли просторные дома, окруженные садами, и этот третий квартал, по названию Мегара, новый город, тянулся до скалистого бе-

рей, на котором возвышался гигантский маяк, зажигаемый каждую ночь.

Таким представился Карфаген солдатам, занявшим равнину. Они узнавали издали рынки и перекрестки и спорили о положении разных храмов. Храм Камона, против Сиссптов, был украшен золотыми черепицами; храм Мелькарта, слева от холма Эшмуна, отличался тем, что на крыше его красовались коралловые рога. За ними стоял храм Таниты, и среди пальм виднелся его круглый медный купол; черный храм Молоха высился у подножья цистерн, около маяка. На углу фронтонов, на верхушке стен, на углах площадей—всюду ютились божества с уродливыми головами, гигантских размеров или приземистые, с огромными животами или чрезмерно плоские, с раскрытыми ртами, с распростертыми руками; они держали в руках или вилы, или цепи, или копья; а в глубине улиц сверкала синева моря, и улицы казались от этого еще более крутыми.

Суетливая толпа наполняла улицы с утра до вечера. Мальчики, звеня колокольчиками, кричали у входа в бани; дымились лавки, где продавались горячие напитки; слышны были удары молотов о наковальни; на террасах пели белые петухи, посвященные солнцу; в храмах раздавался рев быков, приносимых в жертву; рабы бегали с корзинами на головах, а в углублении портиков появлялись священники в темных плащах, босоногие, в остроконечных шапках.

Вид Карфагена раздражал варваров. Они восхищались им и в то же время его ненавидели; им одновременно хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем. Но что скрывалось там, в военном порте, защищенном тройной стеной? А за городом, в глубине Мегары, выше акрополя, высился дворец Гамилькара.

Глаза Мато все время устремлены были туда. Он взбирался на масличные деревья, вытягивал голову, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, и красная дверь с черным крестом оставалась закрытой.

Он более двадцати раз обошел укрепления, отыскивая брешь, через которую мог бы войти. Однажды ночью

он бросился в залив и в течение трех часов плыл без остановки. Так он добрался до подножья Маппал и хотел вскарабкаться на утес. Он изранил до крови колени, поломал ногти, потом вновь бросился в волны и вернулся.

Его бессилие приводило его в отчаяние. Он испытывал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, точно это было живое существо, овладевшее ею. Прежний упадок сил прошел, сменившись безумной неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимися щеками, с гневным взглядом, что-то бормоча глухим голосом, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, натирал песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших мимо к ршунов. Гнев свой он изливал в бешеных словах:

— Дай волю своему гневу; пусть он умчится вдаль, как колесница,—сказал Спендий.—Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Печаль можно утолить кровью, и так как ты не можешь насытить твою любовь, то насыть свою ненависть; она тебя поддержит.

Мато вновь принял начальство над воинами и стал беспощадно утомлять их постоянными маневрами. Его уважали за отвагу и, в особенности, за силу. К тому же он внушал как бы мистический страх; казалось, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Армия вскоре стала подчиняться дисциплине. Карфагеняне слышали из своих домов трубные звуки, которыми сопровождались приказы во время военных упражнений. Наконец, варвары приблизились.

Чтобы раздавить их на перешейке, нужно было, чтобы два войска одновременно оцепили их, одно сзади, высадившись в глубине утического залива, а другое у подножья горы Теплых Вод. Но что можно было предпринять одному священному легиону, в котором числилось не более шести тысяч человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с номадами и отрезали киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они направились на запад, то взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, отсутствие съестных припасов заставило бы их рано или поздно опустошить окрестности.

как саранча. Богатые дрожали за свои замки, за свои виноградники, за свои посевы.

Ганнон предложил жестокие неисполнимые меры, в роде того, например, чтобы назначить большую награду за каждую голову варвара, или же, чтобы поджечь их лагерь при помощи кораблей и машин. Его товарищ Гискон, напротив того, требовал, чтобы им уплатили то, что им следовало. Но старейшины ненавидели его за его влияние; они боялись, что случай навяжет им властителя; страшась монархии, они старались уничтожить всякий след ее и все, что могло ее восстановить.

За укреплениями Карфагена жили люди другой расы и неведомого происхождения. Все они охотились на дикобразов и питались моллюсками и змеями. Они ловили в пещерах живых гиен и по вечерам, забавляясь, гоняли их по пескам Мегары, между колоннами гробниц. Их хижины, построенные из ила и морских трав, лепились к скалам, как гнезда ласточек. Там они жили, никем не управляемые, не зная богов, все в перемежку, совершенно голые, слабые и вместе с тем свирепые, испокон веков ненавистные народу за свою нечистую пищу. Караульные однажды заметили, что все они исчезли.

Наконец, члены Великого Совета приняли решение. Они явились в лагерь без ожерелий и поясов, в открытых сандалиях, как соседи. Они приблизились спокойным шагом, кланяясь начальникам, останавливаясь, чтобы поговорить с воинами, и заявляя, что теперь все кончено и что все требования солдат будут удовлетворены.

Многие из них впервые видели лагерь наемников. Вместо суеты, которой они ожидали, в лагере царил порядок и гробовое молчание. Вал, покрытый дерном, замыкал войско высокой стеной, неприступной для катапультов. Улицы внутри лагеря были политы свежей водой; из дыр палаток выглядывали горевшие во мраке дикие взоры. Связки пик и развешенное оружие сверкали, как зеркала. Пришедшие стали говорить в полголоса. Они боялись задеть и опрокинуть что-нибудь своими длинными одеждами.

Солдаты потребовали жизненных припасов, обязуясь

уплатить за них из тех денег, которые город был им должен.

Им послали быков, баранов, дичь, сушеные плоды, волчьи бобы и копченую скумбрию, которой славился Карфаген и которую он рассылал во все порты. Но воины презрительно оглядывали великолепный скот и нарочно ругали соблазнявшие их припасы; они предлагали за барана стоимость голубя, а за трех коз цену одного гранатового яблока. Пожиратели нечистой пищи выступали в качестве оценщиков и заявляли, что их обманывают. Тогда они обнажали мечи, угрожая резней.

Посланные Великого Совета записали за сколько лет службы следовало платить каждому воину. Но невозможно было установить, сколько взято было наемников, и старейшины пришли в ужас, когда выяснилось, какую огромную сумму они должны уплатить. Пришлось бы продать запасы сильфия и обложить податью торговые города. Но тем временем наемники потеряли бы терпение; Тунис уже перешел на их сторону. Богатые, оглушенные неистовством Ганнона и попреками его товарища, предложили горожанам сейчас же отправиться каждому к знакомому ему варвару, чтобы вновь завоевать его расположение дружескими словами. Такое доверие должно было их успокоить.

Купцы, писцы, рабочие из арсенала, целые семьи отправились к варварам.

Воины впускали к себе всех карфагенян, но через такой узкий проход, что в нем едва могли поместиться рядом четыре человека. Спендий, стоя у ограды, подвергал их всех внимательному обыску; Мато, стоя против него, рассматривал эту толпу, стремясь найти в ней кого-нибудь, кого он мог видеть у Саламбо.

Лагерь похож был на город, до того в нем было много людей и оживления. Две разные толпы смешивались в нем, отнюдь не сливаясь; одна была в полотняных или шерстяных одеждах, в войлочных шапках, похожих на еловые шишки, а другая была закована в латы и носила шлемы. Среди слуг и уличных торговцев двигались женщины всех наций, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как маслины, желтые, как апельсины; то были

женщины, проданные матросами, присланные из вертепов, выкраденные из караванов, захваченные при разгроме городов; их утомляли любовью, пока они были молоды, а потом избивали, когда они старились; при отступлении, они умирали на краю дорог, среди поклажи, вместе с брошенными вьючными животными. Жены кочевников покачивались на своих каблуках, одетые в платья из верблюжьей шерсти, рыжего цвета; певицы из Киренаика, окутанные в фиолетовый газ, с насурьмленными бровями, пели, сидя на корточках на цыновках; старые негритянки, с отвисшей грудью, собирали, чтобы разводить огонь, звериный помет, который сушили на солнце; сиракузянки носили в волосах золотые украшения; на женщинах лузитанского племени были ожерелья из раковин; галльские женщины покрывали белую грудь волчьими шкурами; рослые мальчики, покрытые паразитами, голые, необрезанные, старались ударить прохожих головой в живот или же, подходя к ним сзади, как молодые тигры, кусали им руки.

Карфагеняне гуляли по лагерю, удивленные обилием и разнообразием всего, что там видели. Наиболее робкие имели печальный вид, а другие скрывали свою грусть.

Воины хлопали их по плечу, возбуждая их к веселости. Заметив кого-нибудь из видных карфагенян, они привлекали его к своим развлечениям. Но играя в диски, они старались отдавить ему ноги, а вступая с ним в борьбу, сейчас же сворачивали ему челюсть. Метатели пращей пугали карфагенян своими пращами, заклинатели—своими змеями, наездники—своими лошадьми. Мирные карфагеняне сносили обиды, понурив головы, и старались улыбаться. Некоторые, чтобы выказать храбрость, давали понять знаками, что хотят сделаться воинами. Им давали рубить дрова и чистить мулов. Их заковывали в латы и катали, как бочки, по улицам лагеря. Потом, когда они собирались уходить, наемники гримасничали, делая вид, что они от отчаяния рвут на себе волосы.

Но многие из них, по глупости или в силу предрассудков, наивно считали всех карфагенян очень богатыми и шли за ними вслед, выпрашивая подарки. Они зарились на все, что им казалось красивым: на кольца, пояса, сан-

дали, бахрому на платье, и когда ограбленный карфагенянин восклицал: «У меня больше ничего нет. Чего ты хочешь?»—они отвечали: «Твою жену». Другие говорили: «Твою жизнь».

Военные счета были сданы начальникам, прочитаны воинам и окончательно утверждены. Тогда они потребовали палаток; им дали палатки. Потом греческие полемархи попросили несколько красивых доспехов из тех, которые изготовлялись в Карфагене. Великий Совет назначил сумму для приобретения таковых. Затем наездники заявили, что республика, по справедливости, должна заплатить им за потерю лошадей. Один утверждал, что у него пали три лошади при такой-то осаде, другой—будто бы потерял пять лошадей при таком-то переходе, а у третьего погибло четырнадцать лошадей, свалившихся в пропасть. Им предложили гекатомпильских жеребцов; они предпочли деньги.

Потом они потребовали, чтобы им заплатили серебром (серебряной, а не кожаной монетой) за весь хлеб, который им были должны и по той высокой цене, по которой он продавался во время войны; другими словами, они требовали за меру муки в четыреста раз больше, чем они платили сами за мешок пшеницы. Эта несправедливость всех возмутила; пришлось, однако, уступить.

Тогда представители воинов и посланные Великого Совета примирились, призывая в свидетели своих клятв карфагенского духа-хранителя и варварских богов. Они извинились друг перед другом и наговорили друг другу любезностей с чисто восточной горячностью и многоречивостью. После того воины потребовали в знак дружбы, чтобы были наказаны все предатели, которые вооружили их против республики.

Карфагеняне сделали вид, что не понимают. Тогда они определенно сказали, что требуют голову Ганнона.

Они по нескольку раз в день выходили из своего лагеря и прогуливались перед стенами. Они кричали и требовали, чтобы им бросили голову суффета и подставляли платье, чтобы подхватить ее.

Великий Совет, быть может, сдался бы на их требование, если бы они не пред'явили еще одного условия,

более оскорбительного, чем все другие: они потребовали, чтобы их вождям отданы были в жены девы из лучших карфагенских семей. Это придумал Спендий, и многие из наемников сочли его предложение совершенно простым и приемлемым. Но это дерзостное желание породниться с пунической знатью возмутило карфагенян, которые грубо об'явили, что больше ничего не дадут. Тогда они стали жаловаться, что их обманули, пригрозив, что если через три дня им не выдадут жалованья, то они отправятся за ним в Карфаген.

Вероломность наемников вовсе не была так безгранична, как думали их враги. Гамилькар давал им многократно чрезмерные обещания, правда неопределенные, но весьма торжественные. Они имели право ожидать, что, когда они высадятся в Карфагене, им отдадут весь город, и они поделят между собою его сокровища. Когда же оказалось, что им едва ли даже выплатят их жалованье, разочарование их было безгранично; их гордость была так же обманута, как и жадность.

Разве Денис, Пирр, Агафокл и военачальники Александра не являли собою примера необыкновенного воинского счастья? Идеал Геркулеса, которого ханаанеяне смешивали с солнцем, сверкал на горизонте армий. Известно было, что были простые воины, которые носили державные венцы, и слухи о падающих царствах будили мечты галлов в их дубовых лесах, эфиопов—среди их песков. Но был народ, всегда готовый пользоваться храбрыми людьми; и поэтому воры, прогнанные своим племенем, убийцы, скитающиеся по дорогам, преступники, преследуемые богами за святотатство, все голодные, все пришедшие в отчаяние старались добраться до порта, где карфагенский вербовщик набирал войско. Обыкновенно Карфаген держал свои обещания. На этот раз, однако, жадность Карфагена вовлекла его в опасное предательство. Нумидийцы, ливийцы и вся Африка собирались напасть на Карфаген. Одно море оставалось свободным. Но там Карфагену грозили римляне; и, подобно человеку, осажденному со всех сторон убийцами, Карфаген чувствовал вокруг себя смерть.

Пришлось обратиться к помощи Гискона; варвары согласились на его посредничество. Однажды утром опустились цепи порта, и три плоских судна, пройдя через канал Тении, вошли в озеро.

На первом судне стоял на носу Гискон. За ним возвышался, точно высокий катафалк, огромный ящик, украшенный кольцами, на подобие свисающих венков. Затем появился легион переводчиков со сфинксообразными головными уборами; у каждого на груди был вытатуирован попугай. За ними следовали друзья и рабы, все безоружные и столь многочисленные, что соприкасались плечом к плечу. Три длинные барки, чуть не утопавшие под тяжелым грузом, подвигались вперед под шум приветствий глядевшей на них армии.

Как только Гискон вышел на берег, воины побежали ему навстречу. По его приказанию воздвигли нечто в роде трибуны из мешков, и он заявил, что не уедет, прежде чем не заплатит всем сполна.

Раздались рукоплескания, и он долго не мог произнести ни слова.

Затем он стал упрекать и республику, и варваров, говоря, что во всем виноваты несколько бунтовщиков, испугавших Карфаген своей резкостью. Лучшим доказательством добрых намерений Карфагена служило, по его словам, то, что к ним послали именно его, вечного противника суффета Ганнона. Нечего было поэтому приписывать Карфагену глупое намерение раздражать храбрых воинов или же черную неблагодарность, нежелание признать заслуги войска. Гискон принялся за выплату жалованья воинам, начав с ливийцев. Но так как они представили ему обманные счета, то он не соображался с этими счетами.

Они проходили перед ним по племенам, показывал каждый на пальцах, сколько лет он служил; им поочередно делали знак зеленой краской на левой руке; писцы вынимали пригоршни из раскрытого ящика, а другие стилетом пробуравливали отверстие на свинцовой полосе.

Среди других прошел человек, шагавший очень тяжело, на подобие быка.

— Подойди ко мне,—сказал суффет, подозревая обман;—сколько лет ты служил?

— Двенадцать лет,—ответил ливиец.

Гискон просунул ему пальцы под подбородок, где ремень от каски натирает с течением времени две мозоли; их называли рогами, и «иметь рога» значило быть ветераном.

— Вор!—воскликнул суффет.—Я найду у тебя, наверное, на плечах то, чего нет на лице.

Разорвав его тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточивыми нарывами: он был землепашец из Гиппо-Зарита. Поднялся шум; его обезглавили.

Как только наступила ночь, Спендий отправился будить ливийцев и сказал им:

— Когда лигуры, греки, балеары, так же, как италийцы, получат жалованье, они отправятся домой. Вы же останетесь в Африке, разбросанные каждый среди своего племени и совершенно беззащитные. Тогда Карфаген и начнет вам мстить. Будьте осторожны. Неужели вы верите всем их словам? Оба суффета действуют согласно. Гискон вас обманывает! Вспомните про остров костей, про Ксантиппа, которого они послали обратно в Спарту на гнившем судне!

— Что же нам делать?—спросили они.

— Подумайте,—сказал Спендий.

Следующие два дня прошли в уплате жалованья населению Магдалы, Лептиса, Гекатомпила; Спендий возбуждал галлов.

— Теперь платят жалованье ливийцам, потом рассчитаются с греками, балеарами, азиатами и всеми другими. Вас же немного, и вам ничего не дадут. Вы не увидите больше родины! У вас не будет кораблей. Они вас убьют, чтобы не нужно было вас кормить.

Галлы отправились к суффету. Автарит, тот, которого он ранил у Гамилькара, стал расспрашивать его.

Требований и жалоб становилось все больше и больше. Наиболее упрямые проникали в палатку суффета и, чтобы разжалобить его, хватали его руки, заставляли ощу-

пывать свои беззубые рты, свои худые руки и рубцы своих ран. Те, которым еще не уплатили, раздражались. Те, которые получили жалованье, требовали еще денег за лошадей; а бродяги, изгнанники завладевали оружием воинов и утверждали, что их забывают. Каждую минуту являлись целые полчища людей; палатки трещали, падали; толпа, сдавленная между укреплениями лагеря, шумно двигалась от входов к центру. Когда шум становился слишком сильным, Гискон упирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и, глядя на море, стоял неподвижно, погрузив пальцы в бороду.

Мато часто отходил в сторону, чтобы говорить со Спендием; потом он снова глядел в лицо суффета, и Гискон чувствовал направленные на него глаза, точно две пылающие зажигательные стрелы. Они несколько раз осыпали друг друга ругательствами через головы толпы, не слыша, однако, слов друг друга. Тем временем платеж продолжался, и суффет умело справлялся со всеми препятствиями.

Греки придирались к нему из-за различия монет. Он дал им такие убедительные об'яснения, что они удалились без всякого ропота. Негры требовали белые раковины, которые употребляются для торговых сделок внутри Африки. Он предложил послать за ними в Карфаген. Тогда они, как и все другие, согласились принять деньги.

Но балеарам обещали нечто лучшее,—женщин. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девственниц, но что путь далек, и нужно ждать еще шесть месяцев; он сказал, что когда они достаточно располнеют и когда их натрут бальзамином, их отправят на кораблях в балеарские порты.

Вдруг Заркас, ставший сильным и красивым, вскочил, как паяц, на плечи друзей:

— Не приберег ли ты их для трупов?—крикнул он, показывая на Камонские ворота в Карфагене.

При последних лучах солнца сверкали медные дощечки, украшавшие ворота сверху донизу. Варварам казалось, что они видят на воротах следы крови. Каждый раз, когда Гискон собирался говорить, крики их во-

зобновлялись. Наконец, он спустился медленной поступью и заперся у себя в палатке.

Когда он вышел оттуда на заре, его переводчики, которые спали на воздухе, не шевельнулись; они лежали на спинах с остановившимся взглядом, с высунутым языком, и лица их были синего цвета. Беловатая слизь выступала у них из носу, и члены их были неподвижны, точно они за ночь окоченели от холода. У каждого виднелась на шее маленькая петля из тростника.

Мятеж стал разрастаться. Убийство балеаров, о котором напомнил Зарксас, укрепило подозрения, возбуждаемые Спендием. Они решили, что республика постоянно старается обмануть их. Нужно было с этим покончить. Можно было обойтись без переводчиков. Зарксас, с венком из листьев на голове, пел военные песни; Автарит потрясал своим большим мечом; Спендий одному что-то шептал на ухо, другому доставлял кинжал. Самые сильные старались сами добыть себе жалованье, менее решительные просили о продолжении раздачи. Никто уже не покидал оружия, и общий гнев об'единялся в грозное негодование против Гискона.

Некоторые, вскарабкавшись, становились рядом с ним; когда они выкрикивали ругательства, их терпеливо выслушивали; если же они заступались за него, их немедленно избивали камнями или сносили им головы сзади ударами сабли. Груда мешков была краснее, чем алтарь.

Они становились ужасными после еды, выпив вина. Вино было запрещено под страхом смертной казни в карфагенских войсках, и они поднимали чаши в сторону Карфагена, высмеивая тем самым карфагенскую дисциплину. Потом они возвращались к рабам, хранившим казну, и снова начинали убивать. Слово «бей!», звучавшее разно на разных языках было всем понятно.

Гискон знал, что родина отступалась от него, но не хотел нанести ей бесчестье, несмотря на ее неблагодарность. Когда ему напомнили, что им обещаны корабли, он поклялся Молохом, что сам на собственные средства доставит их им; сорвав с шеи ожерелье из синих камней, он бросил его в толпу, как залог.

Тогда африканцы потребовали хлеба, согласно обещаниям Великого Совета. Гискон разложил счета сисситов, написанные фиолетовой краской на овечьих шкурах. Он прочел список всего ввезенного в Карфаген месяц за месяцем и день за днем.

Вдруг он остановился широко раскрыв глаза, точно прочел среди цифр свой смертный приговор.

Он увидел, что старейшины обманным образом понизили все цифры, и хлеб, проданный даже в самую бедственную пору войны, был помечен по такой низкой цене, что, не будучи ослепленным, нельзя было поверить приведенным цифрам.

— Говори громче!—кричали ему.—Он теперь придумывает ложь, негодяй! Не верьте ему!

Несколько времени он колебался, потом продолжал чтение.

Солдаты, не подозревая, что их обманывают, принимали на веру счета сисситов и стали бешено завидовать богатству Карфагена. Они разбили ящик из кленового дерева, но он оказался на три четверти пустым. На их глазах оттуда вынимались такие суммы, что они считали ящик неисчерпаемым; они были уверены, что Гискон зарыл деньги у себя в палатке. Они взобрались на груды мешков. Мато шел во главе их, и когда они кричали: «Денег, денег!», Гискон, наконец, им ответил:

— Пусть вам даст деньги ваш предводитель!

Он безмолвно глядел на них своими большими желтыми глазами, и длинное лицо его было белее бороды. Стрела, задержанная перьями, торчала у него за ухом, воткнувшись в широкое золотое кольцо, и струйка крови стекала с его тиары на плечо.

По знаку Мато все двинулись вперед. Гискон вытянул руки. Спендий связал ему руки узлом, другой опрокинул его, и он исчез в беспорядочно метавшейся толпе, которая бросилась на мешки.

Толпа разгромила его палатку; там оказались только необходимые обиходные предметы; после более тщательных обысков нашли еще три изображения богини Таниты, а также завернутый в обезьянью шкуру черный камень, упавший с луны. Много карфагенян, сопро-

вождавших его, были люди с высоким положением, принадлежавшие все к военной партии.

Их вывели за палатки, а его бросили в овраг для нечистот. Их приковали к толстым кольям железными цепями, обвернутыми вокруг живота, и давали им пищу на остриях копий.

Автарит, стоя на страже, осыпал их ругательствами; но они не понимали его языка и не отвечали ему; тогда галл от времени до времени бросал им камушки в лицо, чтобы слышать их крики.

Начиная со следующего дня, какая-то общая слабость охватила войско. Гнев их улегся, и их теперь охватила тревога. Мато ощущал смутную скорбь. Он как бы косвенно оскорбил Саламбо. Эти представители класса богатых были связаны с нею. Он садился ночью на край оврага и слышал в их стонах отзвуки голоса, которым полно было его сердце.

Все обвиняли ливийцев, потому что только им и уплатили жалованье. Но вместе с разгоравшейся внутренней борьбой национальностей укреплялось сознание, что опасно отдаваться этим чувствам. Было совершенно ясно, что кара за совершенное преступление будет ужасная. Нужно было предотвратить месть Карфагена. Происходили нескончаемые совещания, произносились без конца речи. Каждый говорил, не слушая других, а Спендий, обыкновенно такой болтливый, только качал головой в ответ на все предложения.

Однажды вечером он небрежно спросил Мато, нет ли источников в городе.

— Ни одного!—ответил Мато.

На следующий день Спендий увлек его на берег озера.

— Господин!—сказал бывший раб,—если сердце твое безбоязненно, я поведу тебя в Карфаген.

— Каким образом?—задыхаясь, спросил Мато.

— Поклянись, что ты будешь исполнять все мои распоряжения и будешь следовать за мной, как тень.

Тогда Мато, подняв руку к светилу Хабар, воскликнул:

— Клянусь тебе Танитой!

Спендий продолжал:

— Завтра после заката солнца жди меня у подножья водопровода, между девятой и десятой аркой. Принеси с собой железный лом, каску без развевающихся перьев и кожаные сандалии.

Водопровод, о котором он говорил, прорезывал наискось весь перешеек. Это было замечательное сооружение, впоследствии увеличенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим народам, Карфаген неумело заимствовал у римлян это новое изобретение, так же, как Рим заимствовал у Карфагена пуническую галеру. Пять этажей арок тяжелой архитектуры с контрфорсами внизу и львиными головами наверху доходили до западной части акрополя, где они спускались под город, выливая почти целую реку в мегарские цистерны.

В условленный час Спендий встретился там с Мато. Он привязал нечто в роде багра к концу веревки и быстро завертел ею, как пращей; железное орудие зацепилось за стену, и они принялись один за другим карабкаться на нее.

Но когда они поднялись на высоту первого этажа, багор, который они забрасывали вверх, стал падать каждый раз обратно. Чтобы найти какую-нибудь расщелину, приходилось ходить по краю выступа, который становился все уже по мере того, как они поднимались на верхние ряды арок. Веревка ослабевала и несколько раз чуть не порвалась.

Наконец, они добрались до самого верха. Спендий наклонялся от времени до времени и щупал рукой камни.

— Это здесь,—сказал он;—примемся за дело!

Напирая на лом, принесенный Мато, они подняли одну из плит.

Они увидели мчавшихся издали всадников на неоседланных лошадях. Их золотые запястья прыгали среди широких складок их плащей. Впереди скакал всадник со страусовыми перьями на головном уборе; он держал по копью в каждой руке.

— Нар-Гавас!—воскликнул Мато.

— Так что же!—возразил Спендий и вскочил в яму, открывшуюся под плитой.

Мато попытался, по его указанию, поднять одну из каменных глыб. Но по недостатку места он не мог двинуть локтями.

— Мы вернемся,—сказал Спендий;—ступай впереди меня.

Они вступили в водопроводную трубу. Сначала они стояли в воде по живот. Но вскоре они зашатались, и им пришлось пуститься вплавь, при чем они беспрестанно стукались о стенки слишком узкого канала. Вода текла почти непосредственно под верхней плитой; они расцарапали себе лица. Потом их увлек поток. Тяжелый могильный воздух теснил им грудь; вдавливая головы в плечи, сжимая колени, вытягиваясь насколько только было возможно, они мчались точно стрелы во мраке, задыхаясь, хрипя, еле живые. Вдруг все почернело перед ними, и быстрота потока удвоилась. Они упали.

Когда они снова поднялись на поверхность воды, они пролежали несколько мгновений на спине, радостно вдыхая воздух. Своды, одни за другими тянулись вдаль среди широких стен, разделяющих водоемы. Все они были полны, и вода простиралась сплошной скатертью во всю длину цистерн. Со сводов потолка, через отверстия, струилось бледное сияние, расстилавшее по волнам как бы диски света, и окружающий мрак, сгущаясь у стен, отодвигал их бесконечно далеко. Малейший звук будил громкое эхо.

Спендий и Мато снова пустились вплавь и, проплывая под сводами, миновали несколько бассейнов кряду. Еще два ряда меньших бассейнов параллельно тянулись с каждой стороны. Пловцы сбились с дороги, кружились, возвращались обратно; наконец, они почувствовали под ногами какое-то сопротивление; то был мощеный пол галлереи, тянувшейся вдоль цистерн.

Тогда, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, они стали ощупывать стену, чтобы найти выход; но их ноги скользили, они падали в глубокие водоемы, поднимались, потом вновь падали; они чувство-

лали страшную усталость, точно члены их растаяли в воде во время плавания. Они закрыли глаза, чувствуя близость смерти.

Спендий ударился рукой о прутья решетки. Они стали ее расшатывать, и она уступила их усилиям. Они очутились на ступеньках лестницы. Бронзовая дверь замыкала ее сверху. Они отодвинули острием кинжала засов, открывавшийся снаружи, и вдруг их окутал свежий воздух.

Ночь была об'ята молчанием, и небо казалось неизмеримо высоким. Над длинными стенами возвышались верхушки деревьев. Весь город спал. Огни передовых постов сверкали, как затерянные звезды.

Спендий, который провел три года в эргастуле, плохо знал расположение городских кварталов. Мато сообразил, что путь к дворцу Гамилькара должен вести налево, через Маппалы.

— Нет,—сказал Спендий,—проведи меня в храм Таниты.

Мато хотел что-то сказать.

— Вспомни!—сказал бывший раб и, подняв руку, указал ему на сверкающую планету Хабар.

Тогда Мато безмолвно повернулся к акрополю.

Они пошли вдоль кактусовых изгородей, окаймлявших дорожки. Вода стекала с их тела на песок. Их влажные сандалии скользили бесшумно; Спендий, глаза которого сверкали, как факелы, обшаривал на каждом шагу кустарники; он шел за Мато, положив руки на два кинжала, которые он держал под мышками на кожаных ремнях.

ТАНИТА.

Выйдя из садов, они очутились перед мегарской оградой; они отыскали брешь в высокой стене и прошли через нее.

Дорога спускалась вниз, образуя широкую долину. Перед ними было открытое место.

— Послушай,—сказал Спендий,—прежде всего ничего не бойся! Я исполню свое обещание...

Он остановился и задумался, как бы отыскивая слова.

— Помнишь, как однажды, в час восхода солнца, на террасе Саламбо, я показал тебе Карфаген? Мы были сильны в тот день, но ты не хотел меня слушать!— Потом он прибавил торжественным голосом:—Господин, в святилище Таниты есть таинственное покрывало, упавшее с неба и покрывающее богиню.

— Я знаю,—сказал Мато.

Спендий продолжал:

— Это покрывало священное, потому что оно часть богини. Боги обитают там, где находятся их изображения. Карфаген могуществен только потому, что владеет этим покрывалом.—Нагибаясь к уху Мато он прибавил:—Я привел тебя сюда для того, чтобы ты похитил покрывало!

Мато отпрянул в ужасе.

— Уходи! Поищи кого-нибудь другого! Я не желаю помогать тебе в этом гнусном преступлении.

— Но ведь Танита твой враг,—возразил Спендий—Она тебя преследует, и ты умираешь от ее гнева. У тебя

есть случай отомстить ей. Она будет тебе повиноваться. Ты сделаешься почти бессмертным и непобедимым.

Мато опустил голову, и он продолжал:

— Если мы будем поражены, армия сама собой погибнет; нам нечего надеяться ни на бегство, ни на помощь, ни на прощение! Какого наказания богов страшишься ты? Ведь у тебя будет в руках вся их сила. Неужели ты предпочитаешь погибнуть жалкой смертью в вечер проигранного сражения где-нибудь под кустом, или среди оскорблений толпы, в пламени костра? Господин мой, наступит день, когда ты войдешь в Карфаген, окруженный свитой жрецов, которые будут целовать твои сандалии; и если покрывало Таниты будет и тогда казаться тебе слишком тяжелым бременем, ты водворишь его снова в храме; следуй за мной и возьми его!

Страшный соблазн терзал Мато. Ему хотелось бы, не свершая святотатства, овладеть покрывалом; он говорил себе, что, быть может, возможно завладеть чарами покрывала, не похищая его. Он не решался проникнуть в глубь своих собственных мыслей и останавливался на краю пугавшей его опасности.

— Идем!—сказал он, и они быстро пошли рядом, ничего не говоря.

Дорога опять пошла вверх, и дома теснились сплоченными рядами. Путники кружились в узких улицах среди расстилавшегося вокруг мрака. На одной из площадей медленно жевали пищу верблюды, стоя перед охапками нарезанных трав. Потом Мато и Спендий прошли по галлерее, покрытой листвой. Стая собак громко залаяла. Вдруг дорога расширилась, и они увидели перед собой западный фасад акрополя. У подножья Бирсы тянулась длинная черная громада: то был храм Таниты, состоявший из разных строений и садов, дворов и палисадников, окаймленных низкой стеной из сухих камней. Спендий и Мато перелезли через стену.

В первой ограде была платановая роща, разведенная для предохранения от чумы и заразы воздуха. Местами раскинуты были палатки, где продавались днем помада для уничтожения волос на теле, духи, одежды, пироги

в форме месяца, а также изображения богини и ее храма, выдолбленные в алебастровой глыбе.

Путникам нечего было бояться, ибо в те ночи, когда не показывалась луна, богослужений в храме не было: все же Мато медлил и остановился перед тремя ступенями из черного дерева, которые вели ко второй ограде.

— Вперед!—сказал Спендий.

Гранатовые и миндальные деревья, кипарисы и мирты, неподвижные, точно бронзовые, правильно чередовались в саду; дорога, устланная синеватыми камешками, хрустела под их шагами, и распустившиеся розы свисали гирляндами вдоль всей аллеи. Они пришли к овальному отверстию, защищенному решеткой. Тогда Мато, пугаясь этого молчания, сказал Спендию:

— Это здесь мешают сладкие воды с водами горькими.

— Я все это видал,—ответил прежний раб,—в Сирии, в городе Мафуге.

Поднявшись по лестнице из шести серебряных ступенек, они дошли до третьей ограды.

Там посредине стоял огромный кедр. Нижние ветви его исчезали под кусками тканей и ожерельями, повешенными на ветви верующими. Путники сделали еще несколько шагов, и перед ними развернулся фасад храма.

Два длинных портика, архитравы которых покоились на низких колоннах, расположены были по две стороны четырехугольной башни, украшенной наверху серебряным рогом луны. На углах портиков и в четырех углах башни стояли сосуды, наполненные зажженными курениями. Гранаты и колоквинты красовались на капителях. На стенах чередовались витые линии, косоугольники, нити жемчуга; серебряная изгородь филигранной работы, расположена была большим полукругом перед бронзовой лестницей, спускавшейся из сеней.

У входа, между золотым столбом и изумрудным, стоял каменный конус; проходя мимо него, Мато поцеловал себе правую руку.

Первая комната была очень большая; наверху, в своде, находились бесчисленные отверстия, в которые,

подняв голову, можно было видеть звезды. Вокруг стены лежали кучей, в тростниковых корзинах, волосы и бороды, — дары юношей, достигших возмужалости; посредине круглого помещения стояло изображение женщины, выступавшее из чехла, украшенного изображениями материнских грудей. Тучная бородатая женщина с опущенными глазами имела улыбающийся вид, скрестив руки на толстом животе, отполированном поцелуями толпы.

Потом они снова очутились на свежем воздухе, в поперечном коридоре, где стоял маленький жертвенник, прислоненный к двери из слоновой кости, в которую запрещено было входить; только жрецы имели право открывать дверь; храм не был местом сборища для толпы, а частным обиталищем божества.

— Наш замысел неосуществим!—сказал Мато.—Ты не подумал об этом. Вернемся назад!

Спендий стал осматривать стены.

Ему хотелось овладеть покрывалом, не потому, что он верил в его чары (Спендий верил только в оракула), а потому что был уверен, что карфагеняне, лишившись покрывала, упадут духом. Чтобы найти какой-нибудь выход, они обошли башню сзади.

В роще терпентинных деревьев видны были маленькие здания различной формы. Местами стояли каменные фаллусы, и большие олени спокойно бродили, отталкивая своими раздвоенными копытами упавшие шишки.

Они пошли обратно между двумя длинными параллельно тянувшимися галлереями. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны были увешаны сверху донизу тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растянувшись на циновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от втираний, распространяли запах пряностей и курений; они были так покрыты татуировкой, так увешаны кольцами, ожерельями, так раскрашены, что, если бы не вздымалась их грудь, их можно было бы принять за идолов, лежащих на земле. Лотусы окружали фонтан, где плавали рыбы, подобные рыбам Саламбо; а в глубине, вдоль стены храма, извивалась виноградная лоза со стеклянными ветвями, с изумруд-

ными гроздьями; лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колоннами на лицах спящих женщин.

Мато задыхался в горячем воздухе среди кедровых стен. Все эти символы оплодотворения, все эти благовония, это сверкание, это дыхание спящих давило его своей тяжестью. Среди мистических чар он думал о Саламбо; она сливалась для него с самой богиней, и любовь его от этого еще более усиливалась, подобно большим лотусам, распускающимся над глубиной вод.

Спендий рассчитывал, сколько бы денег он прежде заработал, если бы торговал этими женщинами; он быстрым взглядом определял мимоходом тяжесть золотых ожерелий.

И с этой стороны, как и с другой, нельзя было проникнуть в храм. Они вернулись в первую комнату. В то время, как Спендий высматривал и выискивал, Мато, распростершись перед дверью, молил Таниту. Он молил ее не допустить святотатства, он старался умилостивить ее ласковыми словами, как стараются умилостивить человека, охваченного гневом.

Спендий в это время увидел узкое отверстие над дверью.

— Встань!—сказал он Мато и велел ему прислониться, стоя к стене. Поставив ему одну ногу на руки, а другую на голову, он добрался до вышины отверстия и исчез. Потом Мато почувствовал, что на плечо его упала веревка с узлами, та, которую Спендий намотал вокруг тела, прежде чем спуститься в водоем; ухватившись за нее обеими руками, Мато вскоре очутился около Спендия в большом зале, полном мрака.

Подобное покушение было предприятием совершенно необычайным. Отсутствие мер для предупреждения доказывало, что его считали невозможным. Страх охранял святилище гораздо вернее, чем всякие стены. Мато казалось на каждом шагу, что он вот-вот умрет.

В глубине мрака вдруг задрожал свет, и они прибли-зились к нему. То был светильник, горевший в раковине на подножьи статуи, покрытой кабирским головным убором. Алмазные диски рассыпаны были по длинной

синей одежде статуи, и цепи, опускавшиеся под плиты, прикрепляли ее к земле за каблуки. Мато с трудом удержал крик. Он бормотал:

— Вот она, вот!..

Спендий взял светильник, чтобы осветить мрак

— Нечестивец!—прошептал Мато, но все же последовал за ним.

В помещении, куда они вошли, не было ничего, кроме черного изображения другой женщины. Ноги ее поднимались до верха стены. Тело ее занимало весь потолок. С ее живота свисало на нитке огромное яйцо, и она падала на другую стену головой вниз до самых плит, которых касались ее заостренные пальцы.

Чтобы пройти дальше, они отодвинули занавеску; но в это время подул ветер и загасил свет.

Тогда они стали блуждать среди сложных переходов. Вдруг они почувствовали под ногами что-то изумительно странное и мягкое. Под их ногами сверкали искры, и они ходили точно среди пламени. Спендий ощупал почву и увидел, что пол устлан рысьими шкурами; потом им показалось, точно между их ног скользнула какая-то толстая и мокрая веревка, холодная и скользкая. Сквозь расщелины в стене проникали внутрь тонкие, белые лучи, и они шли, направляемые этим неровным светом; наконец, они увидели у своих ног большую черную змею, которая быстро исчезла.

— Бежим!—воскликнул Мато.—Это она! Я чувствую, она близко.

— Да нет же!—ответил Спендий.—Храм теперь пустой.

Вдруг сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Потом они увидели вокруг себя бесконечное количество животных, задыхающихся, исхудалых, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном хаосе, вызывающем ужас. У змей оказались ноги, у быков крылья; рыбы с человеческими головами пожирали плоды, цветы распускались в пастях крокодилов, а слоны с поднятым хоботом гордо носились по лазури неба, подобно орлам. Страшное напряжение расширяло их члены, то слишком многочисленные, то оказывавшиеся в

недостаточном числе. Казалось, что, высовывая язык, они испускают дух; тут собраны были все формы жизни; казалось, зародыши существ, вырвавшись из разбившегося вместилища, очутились все здесь, в стенах этого зала.

Двенадцать шаров из синего хрусталя окаймляли его кругом; их поддерживали чудовища, похожие на тигров; глаза их выступали наружу, как у улиток; с подобранными под себя короткими ногами, чудовища были обращены головами в глубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббетна, всеродящая, последняя в сонме измышленных божеств.

Чешуя, перья, цветы и птицы доходили ей до живота. В ушах ее висели серебряные кимвалы, касавшиеся ее щек. Она глядела пристальным взором, и сверкающий камень, прикрепленный к ее лбу и оправленный в непристойный символ, освещал весь зал, отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди.

Мато сделал шаг вперед; под ногами его поддалась одна из плит, и вдруг все шары закружились, все чудовища стали рычать; раздалась музыка, звучная и громкая, как гармония сфер; в ней выражалась бурная душа Таниты. Она точно собиралась подняться, раскрыв об'ятия, огромная, как весь зал. Но вдруг чудовища закрыли пасти, и хрустальные шары перестали кружиться.

Мрачная мелодия продержалась еще несколько времени в воздухе и, наконец, затихла.

— А покрывало?—спросил Спендий

Его нигде не было видно. Где оно было скрыто? Как его найти? Что, если священники его спрятали? У Мато разрывалось сердце; ему казалось, что вера его была обманута.

— Иди за мной!—прошептал Спендий. Его озарило вдохновение. Он потащил Мато за колесницу Таниты, где расщелина шириной в локоть рассекала стену сверху донизу.

Они проникли в маленький круглый зал, такой высокий, что он казался внутренностью колонны. Посре-

дине находился большой черный камень, имевший форму полушария и похожий на тамбурин; над ним пылал огонь; сзади возвышался конус из черного дерева, с приделанными к нему головой и двумя руками.

Но позади всего этого виднелось нечто в роде облака, на котором сверкали звезды; в глубине складок вырисовывались разные фигуры: Эшмун с кабирами, несколько уже виданных ранее чудовищ, священные животныя вавилонян, затем другие, которых они не знали. Все это расстилалось, как плащ, под лицом идола, потом, вновь поднимаясь, тянулось по стене, где прикреплено было в углах, и казалось синим, как ночь, и в то же время желтым, как заря, пурпурным, как солнце, бесконечным, прозрачным, сверкающим, легким. То было покрывало богини, священный заимф, который должен был оставаться сокрытым от взоров.

Они оба побледнели.

— Возьми его!—сказал, наконец, Мато.

Спендий ни минуты не колебался; опершись об идола, он сдернул со стены покрывало, которое опустилось на землю. Мато положил на него руку, потом всунул голову в отверстие, закутался весь в покрывало и раздвинул руки, чтобы лучше его созерцать.

— Идем!—сказал Спендий.

Мато, задыхаясь, стоял неподвижно, опустив взгляд на плиты.

Вдруг он воскликнул:

— Что если пойти к ней? Я теперь не боюсь ее красоты. Что она может мне сделать? Я возвысился над людьми. Я мог бы ходить в пламени, шагать по волнам. Меня уносит мощный порыв. Саламбо! Саламбо! Я твой господин!

У него был громовой голос, и Спендию казалось, что он стал выше и весь преобразился.

Приблизился шум шагов, открылась дверь и показался человек, жрец в высокой шапке и с прищуренными глазами. Прежде чем он успел сделать малейшее движение, Спендий ринулся к нему и, схватив его обеими руками, вонзил ему в тело два кинжала. Он упал, громко стукнувшись головой о плиты.

Более неподвижные, чем лежавший перед ними труп, они стояли несколько времени, прислушиваясь: слышен был только шопот ветра из полуоткрытой двери.

Эта дверь вела в закрытый проход. Спендий направился туда, Мато пошел за ним, и они почти тотчас же очутились в третьей ограде, между боковыми портиками, где расположены были жилища жрецов.

За кельями можно было наверное найти более короткий путь к выходу. Они поспешили туда.

Спендий, присев на корточки у края фонтана, вымыл свои окровавленные руки. Женщины спали. Изумрудная гроздь винограда сверкала. Они пошли дальше.

Но кто-то под деревьями бежал за ними; Мато который нес покрывало, почувствовал несколько раз, что его тихонько дергают снизу. То был большой павиан, из тех, которые жили на свободе в ограде богини. Почуяв совершенную кражу, он цеплялся за покрывало. Они не решались отогнать его палкой, из боязни, что он поднимет крик; потом вдруг его гнев улегся, и он, раскачиваясь, пошел рядом с ними, опустив свои длинные руки. Подойдя к решетке, он одним прыжком очутился в пальмовой роще.

Выйдя из последней ограды, они направились к дворцу Гамилькара. Спендий понял, что напрасно было бы удерживать Мато.

Они направились по улице кожевников и прошли по площади Мутумбал, по овощному рынку, к кинасинскому перекрестку. На одном повороте встречный прохожий отскочил, испуганный сверканием, пронизывающим мрак.

— Спрячь заимф!—сказал Спендий.

Их встречали еще другие люди, но прошли, не заметив их.

Наконец, они узнали дома Мегары.

Маяк, выстроенный позади, на вершине утеса, освещал небо большим красным заревом, и тень дворца с его террасами в несколько этажей нависла над садами,

как чудовищная пирамида. Они проникли в сад через изгородь колючей юбы, обрубая ветви кинжалом.

Всюду еще видны были следы пиршества наемников. Все ограды были снесены, все каналы высохли, двери эргастула были раскрыты настежь. Никого не было видно ни у кухонь, ни у погребов. Они удивились этой тишине, прерываемой лишь изредка глухим криком слонов, которые метались на привязи, и треском маяка, на котором пылал костер из ветвей алоэ.

Мато все повторял.

— Где она? Я хочу ее видеть. Проведи меня к ней!

— Это безумие,—сказал Спендий.—Она поднимет крик, прибегут ее рабы, и, несмотря на твою силу, ты умрешь!

Так они дошли до лестницы галер. Мато поднял голову, и ему показалось, что он видит наверху мягкое лучистое сияние. Спендий хотел его удержать, но Мато бросился вверх по ступеням.

Очутившись там, где он видел Саламбо, Мато сразу забыл о времени, протекшем с тех пор. Вот она только-что пела, переходя от стола к столу; потом она исчезла, и с тех пор он все поднимается на эту лестницу. Небо над его головой было покрыто огнями; море заполняло горизонт; с каждым шагом его окружало все более безбрежное пространство, и он продолжал подниматься на лестницу с той странной легкостью, которую испытываешь во сне.

Шелест покрывала, скользившего по камням, напомнил ему его новое могущество; но от избытка надежд он не знал, что ему теперь делать; эта нерешительность смущала его.

От времени до времени он припадал лицом к четырехугольным отверстиям запертых помещений, и в некоторых он видел—так ему казалось—спавших людей.

Последний этаж, самый узкий, стоял точно наперсток на вершине террас. Мато медленно обошел его кругом.

Молочный свет пронизывал пластинки талька, которые закрывали маленькие отверстия в стене, расположенные в симметричном порядке; они походили во мраке на нитки тонкого жемчуга. Он узнал красную дверь с

черным крестом. Биение его сердца усилилось. Ему хотелось убежать. Он толкнул дверь; она открылась.

Висячая лампа, имевшая форму галеры, горела в глубине комнаты. Три луча, исходившие из серебряного киля, сверкали на высоких столбах, красных с черными полосами. Потолок состоял из маленьких вызолоченных балок; посередине их позолоты вставлены были в деревянные кружки аметисты и топазы. Вдоль двух длинных сторон комнаты тянулось низкое ложе из белых ремней; сверху укреплены были полукруги на подобие раковин, и с них свешивались до самой земли женские одежды.

Ониксовый выступ окружал ступенькой овальный бассейн; тонкие туфельки из змеиной кожи остались на краю бассейна рядом с алебастровым кувшином. Дальше виднелись следы влажных ног. В воздухе носились испарения тончайших благовоний.

Мато ступал по плитам, выложенным золотом, перламутром и стеклом; несмотря на полировку пола, ему казалось, что ноги его увязали, точно он ходил среди песков.

В глубине за серебряной лампой он увидел большой лазурный четырехугольник, висевший в воздухе на уходящих вверх четырех веревках; сгибая ноги он пошел вперед с раскрытым от изумления ртом.

Крылья фламинго с ручками из черного коралла валялись среди пурпурных подушек, кедровых ящичков, черепаховых гребней и маленьких лопаточек из слоновой кости. На рога антилопы нанизаны были кольца и браслеты; глиняные сосуды выставлены были для охлаждения в расщелину стены, на плетенку из тростника. Мато несколько раз оступался, так как пол был неровный, образуя в комнате целый ряд отдельных помещений. Серебряная балюстрада окружала в глубине комнаты ковер, пестревший писаными по нем цветами. Наконец, он подошел к висячей постели, подле которой стоял табурет из черного дерева, служивший лестницей к ней.

Но свет замирал у края, и тень, подобно большой завесе, открывала только угол красной постели и кончик маленькой обнаженной ножки, покоившейся на щиколотке. Мато тихонько приблизил лампу.

Она спала, подпирая щеку рукой и вытянув другую руку. Кольца ее кудрей рассыпались вокруг нее в таком обилии, что она точно лежала на черных перьях; широкая белая туника спускалась мягкими складками до ног, следуя изгибам тела. Глаза ее виднелись из-под полусомкнутых век. Занавески ее ложа, натянутые прямыми складками, окружали ее синеватым светом, и казалось, что ее дыхание, сообщаясь веревкам, качало ее в воздухе. Слышалось жужжание большой мухи.

Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру; но вдруг кисейная занавеска, защищавшая ее от мух, вспыхнула и исчезла. Саламбо проснулась.

Огонь потас сам собой. Она молчала. Лампа бросала на стены колеблющиеся пятна света.

— Что это?—спросила она

Он ответил:

— Это покрывало богини!

— Покрывало богини!—воскликнула Саламбо. Упираясь на сжатые кулаки, она, вся дрожа, высунулась из постели.

Он продолжал:

— Я добыл его для тебя из глубины святилища. Посмотри!—Заимф сверкал, весь облитый лучами.

— Помнишь?—сказал Мато.—Ты являлась мне ночью в моих снах, но я не мог угадать безмолвный приказ твоих глаз!

Она поставила ногу на табурет из черного дерева.

— Если бы я понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не вышел бы из Карфагена. Повинуясь тебе, я спустился бы в пещеру Гадрумета, в царство теней... Прости! Точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль. Я стремился придти к тебе. Но разве я осмелился бы без помощи богов!.. Идем! Ты должна последовать за мной, или, если не хочешь, я останусь здесь. Мне все равно... Потопи мою душу в своем дыхании. Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки!

— Покажи!—сказала она.—Ближе, ближе!

Занималась заря, и свет винного оттенка пронизывал тальковые пластинки в стенах. Саламбо прислонилась, обессиленная, к подушкам.

— Я тебя люблю!—крикнул Мато.

Она прошептала:

— Дай его мне!

И они приблизились друг к другу.

Она шла к нему в своей длинной белой, тянувшейся за ней по полу тунике, и ее большие глаза устремлены были на покрывало. Мато созерцал ее, ослепленный ее красотой, и, протягивая ей заимф, пытался другой рукой заключить ее в об'ятия. Она отстранила его вытянутыми руками. Потом она вдруг остановилась, и они взглянули широко раскрытыми глазами друг на друга.

Не понимая, чего он хотел от нее, она все же почувствовала ужас; ее тонкие брови поднялись, губы раскрылись; она вся дрожала. Наконец, она ударила в одну из медных чаш, висевших в углах красной постели, и крикнула:

— На помощь! На помощь! Назад, дерзновенный! Будь проклят, осквернитель! На помощь! Таанах! Таанах! Крум! Эва! Мицинса! Шаул!

Испуганное лицо Спендия показалось в стене, среди глиняных кувшинов, и он быстро проговорил:

— Беги! Сюда бегут люди!

Поднялся громкий шум, сотрясая лестницы, и в комнату ворвался поток людей: женщин, слуг, рабов, вооруженных палками, кастетами, кортиками, кинжалами. Они точно окаменели от негодования, увидав Мато; служанки подняли вой, точно на похоронах, и евнухи побледнели под своей черной кожей.

Мато стоял за перилами. Завернувшись в заимф, он казался звездным божеством, вокруг которого расстилалось небо. Рабы бросились к нему; Саламбо их остановила.

— Не трогайте его! На нем покрывало богини!

Она отошла в угол, но, сделав шаг к нему и протягивая обнаженную руку, крикнула:

— Проклятие тебе, ограбившему Таниту! Гнев и месть, смертоубийство и страдание на твою голову! Да растерзает тебя Гурзил, бог битв. Да задушит тебя Матисман, бог мертвых. И да сожжет тебя тот другой—которого нельзя называть!

Мато испустил крик, точно раненый копьем; она повторила несколько раз:

— Прочь отсюда! Прочь отсюда!

Толпа слуг расступилась, и Мато, опустив голову, медленно прошел среди них; но у двери он остановился, ибо бахрома заимфа зацепилась за одну из золотых звезд на плитах. Он сильно потянул плащ движением плеча и спустился с лестницы.

Спендий, прыгая с террасы на террасу, перепрыгивая через заборы и канавы, выбежал, наконец, из садов; он подошел к подножью маяка. Стена на этом месте не была защищена, до того недоступен был утес. Спендий дошел до края, лег на спину и спустился ногами вперед, скользя до самого низа; потом он доплыл до мыса Могил, направился кружным путем вдоль морской лагуны и вечером вернулся в лагерь к варварам.

Солнце взошло. Как уходящий лев, Мато спускался вниз по дорогам, озираясь во все стороны безумными глазами.

Смутный гул доносился до его слуха. Этот гул шел из дворца и вновь начинался вдали, со стороны акрополя. Одни говорили, что кто-то похитил сокровище республики в храме Молоха; другие утверждали, что убит жрец; в иных местах были уверены, что в город проникли варвары.

Мато, не зная, как выйти из оград, шел прямо перед собой. Его заметили, и поднялся крик. Все поняли, что случилось; изумление вскоре перешло в безграничную ярость.

Толпа сбегалась из глубины Маппал, с высот акрополя, из катакомб, с берегов озера. Патриции выходили из дворцов, продавцы выбегали из своих лавок; женщины оставляли детей. Все вооружились мечами, топорами, палками, но их останавливало то же, что остано-

вило Саламбо. Как отнять у него покрывало? Даже глядеть на него было преступлением, ибо оно было частью божества, и прикосновение к нему грозило смертью.

В колоннадах храмов жрецы заламывали руки от отчаяния. Легионеры скакали наудачу во все стороны; толпа взбиралась на дома, на террасы, поднималась на плечи колоссов и на мачты кораблей. Но Мато продолжал идти, и с каждым его шагом увеличивался общий гнев и общий страх. Улицы пустели при его приближении, и поток бегущих людей поднимался с двух сторон до верхушек стен. Он видел со всех сторон широко раскрытые глаза, как бы готовые его пожрать, скрежещущие зубы, грозно поднятые кулаки, и проклятия Саламбо продолжали звучать, подхваченные всеми.

Вдруг просвистела в воздухе длинная стрела, за ней другая, послышался шум брошенных камней; но плохо направленные удары (все боялись попасть в заимф) проносились над его головой. Пользуясь покрывалом, как щитом, Мато простирал его направо и налево, перед собою, позади себя, и нападающие не знали, как с ним справиться. Он шел все скорее и скорее, поворачивая в открытые улицы. В конце они были заграждены веревками, повозками, засадами, и ему приходилось возвращаться назад. Наконец, он вступил на площадь Камона, где погибли балеары; Мато остановился и побледнел, точно увидев перед собой смерть. На этот раз он погиб. Толпа громко рукоплескала.

Он добежал до больших закрытых ворот, они были очень высокие, сделанные из сердцевины дуба, с железными гвоздями и подбитые бронзой. Мато налег на них. Толпа неистовствовала от радости, видя бессилие его гнева. Наконец, он взял сандалию, плюнул на нее и стал бить ею по неподвижным створам ворот. Весь город зарычал. Про покрывало забыли, и все хотели его раздавить. Мато взглянул на толпу широко раскрытыми, блуждающими глазами. Виски его неистово стучали; он чувствовал, что его охватывала тупость, похожая на опьянение. Вдруг он увидел длинную цепь, которую нужно было потянуть, чтобы открыть ворота. Он одним прыжком уце-

пился за нее, натягивая руки, цепляясь ногами; наконец, огромные створы раскрылись.

Очутившись на свободе, он снял с себя покрывало и поднял его высоко над головой. Ткань плаща, раздуваемая морским ветром, сверкала на солнце всеми своими цветами, камнями, а также изображениями богов. Мато пронес покрывало таким образом через всю равнину до воинских палаток, и народ, собравшийся на стенах, смотрел, как исчезало вдали счастье Карфагена.

ГАННОН.

— Мне следовало похитить ее!—сказал он вечером Спендию.—Нужно было схватить и унести ее из дома. Никто бы не посмел сопротивляться мне!

Спендий не слушал его. Вытянувшись на спине, он наслаждался отдыхом; рядом с ним стоял большой кувшин с медовой водой, и он от времени до времени погружал в него голову, чтобы удобнее пить.

Мато продолжал:

— Что делать?.. Как вернуться в Карфаген?

— Не знаю,—сказал Спендий.

Спокойствие Спендия выводило Мато из себя; он воскликнул:

— Это ты во всем виноват. Ты меня увлек за собой, а теперь, как трус, отказываешься от меня. Зачем мне повиноваться тебе? Ты считаешь себя моим господином? Сводник, раб, сын раба!—Он скрежетал зубами и занес на Спендия свою широкую руку.

Грек ничего не ответил. Глиняная лампадка освещала мягким светом столб палатки, на котором сиял заимф, повешенный на военные доспехи.

Вдруг Мато надел котурны, застегнул куртку с железными полосами и взял шлем.

— Куда ты идешь?—спросил Спендий.

— Обратно в Карфаген. Пусти меня. Я приведу ее сюда. Если они нападут на меня, я их раздавлю, как змей. Я убью ее, Спендий.—Он повторил:—Да, я убью ее. Вот увидишь, что убью!

Но Спендий, насторожив уши, вдруг вырвал у него заимф и бросил его в угол, а на него набросал множество

шкур. Послышались голоса, засверкали факелы и вошел Нар Гавас в сопровождении свиты человек из двадцати. На них были белые шерстяные плащи, кожаные ожерелья, деревянные серьги, обувь из кожи гиен; в руках они держали длинные кинжалы. Остановившись на пороге, они оперлись на копья, как отдыхающие пастухи. Нар Гавас был красивее всех. Ремни, украшенные жемчугом, обхватывали его тонкие руки; золотой обруч, прикреплявший к голове его широкую одежду, украшен был страусовым пером, спускавшимся ему за плечо; глаза у него были острые, как стрелы, и во всем его существе было что-то чуткое и легкое.

Он заявил, что хочет присоединиться к наемникам, ибо республика уже давно угрожает его владениям. Он сказал, что ему выгодно помогать варварам и что, в свою очередь, он может быть полезен им.

— Я вам доставлю слонов (мои леса полны ими), вино, древесное масло, ячмень, финики, смолу и серу для осад, двадцать тысяч пехоты и десять тысяч лошадей. Если я обращаюсь к тебе, Мато, то именно потому, что обладание заимфом дает тебе первенствующее положение в войске.—Он прибавил:—К тому же мы старые друзья.

Мато смотрел на Спендия, который слушал, сидя на овечьих шкурах, и кивал головой в знак одобрения. Нар Гавас продолжал говорить. Он призывал в свидетели богов и проклинал Карфаген. Обуреваемый гневом, он даже сломал свое копье. Все его воины испустили в один голос громкие крики, и Мато, увлеченный его гневом, воскликнул, что принимает союз.

Тогда привели белого быка и черную овцу, символ дня и символ ночи. Их зарезали на краю рва. Когда ров наполнился кровью, они погрузили в него свои руки. Потом Нар Гавас положил свою руку на грудь Мато, а Мато свою—на грудь Нар Гаваса. После того они еще раз наложили эту печать на полотно своих палаток и провели всю ночь в пиршестве, а то, что осталось мяса, сожгли вместе с кожей, костями, рогами и когтями.

Мато встретили приветственными кликами, когда он вернулся с покрывалом богини; даже те, которые не испо-

ведывали ханаанскую веру, почувствовали по своему смутному восторгу, что у них появился новый гений хранитель. Никто, конечно, и не помышлял о том, чтобы завладеть заимфом. Таинственность, с которой он был добыт, в достаточной мере утверждала в глазах варваров законность обладания им. Так думали воины африканской расы. Другие, менее закоренелые в своем гневе, не знали на что решиться. Будь у них корабли, они бы тотчас же уехали.

Спендий, Нар Гавас и Мато послали гонцов ко всем племенам карфагенской земли.

Карфаген истощал все эти народы чрезмерными податями; железные цепи, топор и крест карали всякое запаздывание или даже ропот. Нужно было возделывать то, в чем нуждалась республика, нужно было доставлять то, что она требовала. Никто не имел права владеть оружием. Когда какая-нибудь деревня поднимала бунт, жителей ее продавали в рабство. Правителей областями ценили за их умение как можно больше выжимать из населения, по количеству собранной им дани. Далее, за непосредственно подвластными карфагенянам областями, жили союзники, платившие лишь небольшую дань; за союзниками бродили кочевники, которых можно было натравить на них. Благодаря этой системе, жатвы были всегда обильные, коноводство процветало, плантации великолепно возделывались. Катон, отлично понимавший земледелие и умевший пользоваться рабами, был поражен карфагенскими порядками девяносто два года спустя, и его напоминания об уничтожении Карфагена, повторяемые им в Риме, были в действительности криком завистливой жадности.

В течение последней войны поборы удвоились, вследствие чего почти все города Ливии отдались Регулу. В наказание с них потребовали тысячу талантов, двадцать тысяч быков, триста мешков золотого песка, предварительную доставку значительных количеств зерна, и, кроме того, начальники подвергнуты были распятию на кресте или брошены на растерзание львам.

Более всего Тунис ненавидел Карфаген. Он был древнее Карфагена и не мог простить ему его величия. Он

стоял против стен Карфагена, увязая в грязи, у самой воды, и глядя на Карфаген, как ядовитое животное. Изгнания, избиения и эпидемии не ослабили его. Он стал на сторону Архагата, сына Агафокла. Пожиратели нечистой пищи тотчас же нашли оружие в Тунисе.

Посланные наемников не успели еще уехать, как в провинциях началась всеобщая радость. Не ожидая дальнейших событий, задушили в банях домовых правителей и служащих республики, достали из пещер спрятанное там оружие, стали ковать мечи из железных частей плугов. Дети точили копья на дверях, а женщины отдавали свои ожерелья, кольца и серьги, жертвуя всем, что могло послужить на гибель Карфагену. Каждый старался посодействовать разрушению республики. Связки копий лежали кучами в городах, как снопы кукурузы. В лагерь отправлены были скот и деньги. Мато быстро уплатил наемникам остаток их жалованья, по совету Спендия, и за это был произведен в главные начальники и провозглашен шалишимом варваров.

В то же самое время стекались на помощь толпы людей. Сначала явились местные жители, потом рабы из деревень. Наемники захватили караваны негров и вооружили их; купцы, прибывшие в Карфаген с надеждой на верный доход, тоже присоединились к варварам. Все время прибывали многочисленные отряды. С высот акрополя видна была увеличивавшаяся армия.

На платформе акведука поставлены были на стражу легионеры. Около них стояли на небольшом расстоянии один от другого медные котлы, в которых кипел асфальт. Внизу, в равнине, волновалась густая толпа. Она была в нерешительности, чувствуя тревогу, которую всегда будит в варварах вид возвышающихся на их пути стен.

Утика и Гиппо-Зарит отказали в союзе. Это были такие же финикийские колонии, как Карфаген, пользовались самоуправлением и заставляли республику вводить во все свои договоры параграфы, подтверждающие их самостоятельность. Все же они относились с почтением к покровительствующей им старшей сестре и не верили, что скопище варваров способно победить Карфаген; напротив того, они были убеждены в конечном пора-

жении наемников. Они предпочитали поэтому сохранить нейтральное положение и жить спокойно.

Но содействие их, вследствие географического положения обеих колоний, было необходимо варварам. Утика, расположенная в глубине залива, была очень удобна для привоза Карфагену подкреплений. Если бы одна только Утика была взята, ее мог бы заменить Гиппо-Зарит, расположенный на берегу на шесть часов дальше; пользуясь их услугами, Карфаген был бы непобедим.

Спендий настаивал на том, чтобы тотчас же начать осаду Карфагена, но Нар Гавас воспротивился; следовало сначала направиться к границе. Таково было мнение ветеранов, а также самого Мато, и поэтому решили, что Спендий отправится осаждать Утику, а Мато—Гиппо-Зарит; третий корпус армии, опираясь на Тунис, должен был занять карфагенскую долину; это взял на себя Автарит. Что же касалось Нар Гаваса, то решено было, что он вернется в свое царство, приведет оттуда слонов и займет дороги со своей конницей.

Женщины очень не сочувствовали этому решению; они зарились на драгоценности карфагенянок. Ливийцы тоже выказали неудовольствие. Их призвали против Карфагена, а теперь вдруг решили отступить! В поход выступили почти только одни наемники. Мато начальствовал над своими сородичами, а также над иберийцами, лузитанцами, пришельцами с запада и с островов; все же те, которые говорили по-гречески, требовали в начальники Спендия, ценя его за его ум.

Все были крайне изумлены, когда войско вдруг двинулось в путь; оно выстроилось под горой Ариадны, вдоль утической дороги, со стороны моря. Одна часть осталась перед Тунисом, а все остальные воины исчезли и вновь появились на другом берегу залива, на краю лесов, в глубь которых они устремились.

Их всех было около восьмидесяти тысяч. Не было сомнения, что два тирских города не устоят против них и что войско опять пойдет на Карфаген. Уже один значительный отряд отрезал его от материка, заняв перешеек и вскоре он должен был погибнуть с голоду. Карфаген не мог обойтись без помощи провинций, ибо жи-

тели его не платили налогов, как в Риме. Карфагену недоставало политического гения. Вечная жажда наживы лишала его той осторожности, которая внушается более высоким честолюбием. Как огромная галера, засевшая в ливийских песках, Карфаген держался, благодаря труду. Народы, как волны, бушевали вокруг него, и малейшая буря расшатывала этот грозный организм.

Государственная касса была истощена римской войной и всем, что было растрачено и потеряно в попытках обойти варваров. Между тем нужны были воины, а ни одно правительство не доверяло республике. Птоломей недавно отказал ей в двух тысячах талантов. К тому же похищение покрывала сильно угнетало дух карфагенян. Спендий это предвидел.

Но, чувствуя общую ненависть к себе, Карфаген возлагал все упования на свои деньги и своих богов; любовь народа к родине поддерживалась самим государственным строем.

Власть зависела от всех, и ни один отдельный человек не имел достаточно силы, чтобы завладеть ею. Частные долги рассматривались, как долги общественные; исключительное право торговли имели люди ханаанского племени; добиваясь выгод грабежом и ростовщичеством, истощая землю, сурово эксплоатируя рабов и бедняков; граждане достигали богатства, и только оно одно открывало путь к магистратуре. Хотя власть и деньги постоянно принадлежали одним и тем же семьям, все же эта олигархия допускалась народом, потому что все могли надеяться на участие в ней.

Торговые общества, в которых вырабатывались законы, назначали заведующих финансами, которые, заканчивая свою службу, избирали сто членов Совета Старейшин, зависящих в свою очередь, от Великого Собрания, об'единявшего всех богатых. Что же касается двух суффетов, этого пережитка королевского достоинства, пользовавшихся, однако, меньшею властью, чем консулы, то их назначали в один и тот же день; избирая их из двух разных семей, их старались превратить в врагов для того, чтобы они ослабляли друг друга. Они не имели права

высказываться по вопросу о войне, и, когда они терпели поражения, Великий Совет распинал их.

Сила Карфагена исходила, таким образом, от сисситов, то-есть из большого двора в центре Мальки, того места, куда, по преданию, причалила первая лодка финикийских матросов. Море с тех пор сильно отступило. Там находился целый ряд маленьких комнат, построенных в архаическом стиле из пальмовых стволов и отделенных одна от другой для того, чтобы в них могли собираться отдельно различные общества. Богатые толпились там целый день, обсуждая свои, а равно государственные интересы, начиная с добывания перца и до уничтожения Рима. Три раза в течение каждого лунного месяца их ложа выносились на верхнюю террасу, окаймлявшую стену двора; и снизу видно было, как они сидели на воздухе за пиршественными столами, без котурнов и без плащей; их пальцы, унизанные драгоценными камнями, разрывали мясо, их большие серьги свисали среди кувшинов. Сильные, тучные, полураздетые, они весело смеялись и ели под голубым небом, как большие акулы, играющие в море.

Но теперь они не могли скрыть своего беспокойства: их тревогу выдавала чрезмерная бледность их лиц. Толпа, которая поджидала их у дверей, провожала их до дворцов, стараясь что-нибудь у них выведать. Все дома были заперты, как во время чумы; улицы быстро наполнялись толпой, потом вдруг пустели; горожане поднимались на акрополь, бегали к порту; каждую ночь Великий Совет собирался для совещания. Наконец, народ был созван на площадь Камона, и решено было обратиться к Ганнону, победителю при Гекатомпиле.

Это был человек хитрый, лицемерно благочестивый, беспощадный к африканцам, словом—настоящий карфагенянин. Его богатство равнялось богатствам Барка. Он считался опытным администратором, не имевшим равных себе в вопросах управления.

Он постановил призвать к оружию всех здоровых граждан, поставил катапульты на всех башнях, потребовал необычайных запасов оружия, приказал даже выстроить четырнадцать галер, в сущности, совершенно не-

нужных, и следил за тем, чтобы все было подсчитано и тщательно записано. Его рабы носили его в арсенал, на маяк, в сокровищницы храмов; всегда можно было видеть его большие носилки, которые, покачиваясь со ступени на ступень, поднимались по лестнице акрополя. У себя во дворце он ночью, страдая от бессонницы, готовился к битве, выкрикивая страшным голосом военные приказы.

Все сделались от страха чрезвычайно храбрыми. Богачи с самой зари выстраивались вдоль Маппал; подбирая одежды, они упражнялись в обращении с пиками. Но, не имея учителей, они спорили друг с другом; задыхаясь от усталости, они садились отдыхать на могилы, а потом снова начинали работать. Некоторые даже устанавливали особую диэту. Одни воображали, что нужно много есть для того, чтобы прибавить сил, и потому без конца об'едались; другие, страдая от чрезмерной тучности, морили себя постом, чтобы похудеть.

Утика уже несколько раз обращалась за помощью к Карфагену, но Ганнон не хотел выступить прежде, чем военные орудия не будут сооружены до последнего винтика. Он потерял еще три месяца на снаряжение ста двадцати слонов, которые жили в городских стенах. Слоны эти победили Регула; народ их любил, и нужно было выказать как можно больше почтения к старым друзьям. Ганнон велел заново выковать медные дощечки, которыми им увешивали грудь, велел позолотить их клыки, расширить их башни и выкроить из лучшего пурпура попоны, окаймленные тяжелой бахромой. Затем, так как их вожатых называли индийцами (очевидно, потому, что первые из них были родом из Индии), он велел одеть их всех на индийский образец, то-есть в белые тюрбаны и короткие панталоны из виссона, с поперечными складками, придававшими им вид двух половинок раковины, прикрепленных к бедрам.

Войско Автарита все еще стояло перед Тунисом. Оно пряталось за стеной, возведенной из ила, взятого из озера, и защищенной сверху колючим кустарником. Негры расставили повсюду на больших шестах страшные изображения, человеческие маски из птичьих перьев, головы

шакалов или змей, раскрывавших свои пасти навстречу врагу. Уверовав, благодаря таким средствам, в свою непобедимость, варвары плясали, боролись, жонглировали в полной уверенности, что Карфаген должен неминуемо погибнуть. Всякий другой на месте Ганнона легко раздавил бы эту толпу, обремененную к тому же стадами и женщинами. Сверх того они не понимали никаких маневров, и Автарит, упавший духом, ничего от них не требовал.

Они расступались, когда он проходил, широко раскрыв свои большие синие глаза. Подойдя к берегу озера, он снимал свой плащ из тюленьей шкуры, развязывал веревку, скреплявшую его длинные рыжие волосы и мочил их в воде. Он жалел, что не бежал к римлянам со своими двумя тысячами галлов из храма Эрикса.

Часто среди дня лучи солнца вдруг погасали. Тогда залив и море казались недвижными, как расплавленный свинец. Облако темной пыли, поднявшись столбом, пробегало, крутясь вихрем; пальмы нагибались, небо исчезало, и слышно было, как сыплются камешки на спины животных. Прижавшись губами к отверстиям своей палатки, галл хрипел от усталости и печали. Он вспоминал запах пастбищ в осеннее утро, хлопья снега, блеяние зубров, заблудившихся в тумане; закрыв глаза, он точно видел перед собой на трясинах, в глубине лесов, дрожащие огни длинных хижин, крытых соломой.

Другие тоже тосковали по родине, хотя и не такой далекой. Пленные карфагеняне видели за заливом, на скатах Бирзы, полотняные навесы своих домов, растянутые в дворах. Но вокруг них неустанно ходила стража. Их всех привязали к одной общей цепи. Каждый носил на шее железный обруч, и толпа неустанно приходила глядеть на них. Женщины показывали маленьким детям их прекрасные одежды в лохмотьях, висевшие на их исхудавшем теле.

Каждый раз, при взгляде на Гискона, Автарит приходил в бешенство, вспоминая нанесенное ему оскорбление. Он убил бы его, если б не принес клятвы Нар Гавасу. Тогда он удалялся к себе в палатку, пил настойку из ячме-

ня и тмина до полного опьянения; после тяжелого сна он просыпался уже при солнечном зное, терзаемый страшной жаждой.

Мато тем временем осаждал Гиппо-Зарит.

Но город этот был защищен озером, соединявшимся с морем. Город имел три ограды, а на высотах, окружавших его, тянулась стена, укрепленная башнями. Никогда еще Мато не начальствовал в подобных предприятиях. Кроме того, его мучила мысль о Саламбо, и он мечтал об обладании ее красотою, как о блаженстве мщения, преисполнявшего его гордостью. Он чувствовал острое, бешеное, постоянное желание снова увидеть ее. Он даже собирался предложить вести переговоры о мире, так как надеялся, что, попав в Карфаген, доберется и до нее. Он часто давал приказания трубить атаку и, никого не дожидаясь, бросался на мол, который пытались построить на море. Он вырывал руками камни, вонзал всюду свой меч. Варвары бросались за ним в беспорядке; лестницы с треском ломались, и толпы людей падали в воду, которая ударялась о стены красными брызгами. Наконец, шум утихал, нападавшие удалялись с тем, чтобы затем начать все сызнова.

Мато садился у входа в палатку; он утирал рукой свое лицо, забрызганное кровью, и, оберпувшись в сторону Карфагена, всматривался в горизонт.

Против него, среди оливковых деревьев, пальм, мирт и платан расстилались два больших пруда, которые шли к третьему озеру, скрытому от взоров. За горой поднимались другие горы, и посредине огромного озера высился черный остров пирамидальной формы. Слева, в конце залива, кучи песка казались остановившимися большими светлыми волнами; а море, гладкое, точно пол, мощеный плитками ляпис-лазури, незаметно поднималось до края неба. Зелень полей исчезала местами под длинными желтыми пятнами; рожковые плоды сверкали на подобие кораллов; виноградные лозы спускались с вершин смоковниц; слышно было журчание воды, прыгали хохлатые ласточки, и последние лучи солнца золотили щиты черепах, выползавших из камышей, чтобы подышать прохладой.

Мато громко стонал. Он ложился на живот, зарывал ногти в землю и плакал, чувствуя себя несчастным, жалким и брошенным. Никогда он не овладеет ею и даже не сумеет взять город.

Ночью, оставшись один в палатке, он рассматривал заимф. Какую пользу принес ему этот божественный дар? В голове варвара зародились сомнения. Потом ему опять казалось, что одеяние богини прикосновенно к Саламбо и что в нем заключена частица ее души, более нежная, чем дыхание. Он гладил покрывало, впитывая его запах, погружал лицо в складки и целовал их, рыдая. Он накидывал его на плечи, чтобы вообразить себе ее близость.

Иногда он вдруг исчезал; при свете звезд он шагал через спавших солдат, закутанных в плащи; потом, у ворот лагеря, он вскакивал на лошадь и два часа спустя являлся в Утику, в палатку Спендия.

Сначала он говорил об осаде, но затем изливал свою скорбь, говоря о Саламбо; Спендий старался образумить его.

— Освободи свою душу от этих унизительных страданий! В прежнее время ты должен был повиноваться, а теперь ты начальствуешь войском; и если даже Карфаген не будет побежден, все же нам отдадут провинции; мы будем королями!

Разве обладание заимфом может не дать им победы? По мнению Спендия, следовало ждать.

Мато вообразил, что покрывало имеет исключительное отношение к ханаанской расе, и говорил себе с истинно варварским лукавством: — Значит, заимф ничего не сделает для меня. Но так как карфагеняне его утратили, то он бессилен и над ними.

Затем его смутила одна мысль: он боялся, что, поклоняясь богу ливийцев, Аптукносу, он тем самым оскорбляет Молоха. Он робко спросил Спендия, которому из двух следовало бы принести человеческую жертву.

— На всякий случай, принеси обоим,—сказал со смехом Спендий.

Мато, не понимавший такого равнодушия, заподозрил грека в том, что у него есть свой дух-покровитель, о котором он не хочет говорить

В варварских войсках сталкивались все верования, как и все племена; воины поэтому всегда старались умилостивить богов других племен, чувствуя перед ними страх. Многие соединяли со своими верованиями чужие обряды. Даже не поклонялись звездам, приносили жертвы тому или другому светилу, влияние которого могло быть или благотворным или пагубным; неведомый амулет, случайно найденный в минуту опасности, превращался в божество; или же обоготворялось какое-нибудь имя, которое повторяли, даже не понимая, что оно означает. Но, разгромив множество храмов, увидав множество народов и множество кровопролитий, многие переставали верить во что-либо, кроме рока и смерти; они засыпали каждый вечер с безмятежностью диких животных. Спендий готов был плюнуть на изображение олимпийца Юпитера; но он боялся громко говорить в темноте и никогда не забывал с утра начать обуваться с правой ноги.

Он воздвигал против Утики длинную четырехугольную террасу. Но по мере того, как эта стена возвышалась, возвышались также и укрепления Утики; то, что низвергали одни, тотчас же воздвигали другие. Спендий берег воинов и, придумывая новые планы, старался припомнить военные хитрости, о которых ему рассказывали во время его путешествий.

И почему это не возвращался Нар Гавас? Все сильно тревожились.

Ганнон закончил свои приготовления. Однажды в безлунную ночь он переправил на плотах через карфагенский залив своих слонов и своих воинов. Затем они обогнули гору Теплых Вод, чтобы не столкнуться с Автаритом, и продолжали путь так медленно, что вместо того, чтобы неожиданно явиться к варварам ранним утром, как рассчитал суффет, они пришли только на третье утро, когда солнце уже высоко стояло на небе.

К Утике с восточной стороны примыкала равнина, которая тянулась до большой карфагенской лагуны; за ней начиналась под прямым углом долина между двумя низкими горами; варвары расположились лагерем дальше налево, заграждая порт; они еще спали в своих палатках (в этот день обе стороны, слишком уставшие, чтобы сра-

жаться, отдыхали), когда вдруг на повороте холмов показалась карфагенская армия.

Обозные служители, вооруженные пращами, размещены были на флангах. Первый ряд составляла гвардия легионеров в золотых чешуйчатых латах; они сидели на толстых лошадях без грив, без ушей и шерсти, украшенных серебряным рогом среди лба, наподобие носорогов. Между их эскадронами юноши в маленьких касках раскачивали в каждой руке по дротику; длинные пики тяжелой пехоты подвигались сзади. Все эти купцы нагромоздили на себя как можно больше оружия: некоторые вооружены были копьем, топором, палицей и двумя мечами, другие, как ежи, были унизаны стрелами, и руки их отделялись от кирас, покрытые роговыми полосами или железными бляхами. Наконец, появились громоздкие военные машины; карробалисты, онагры, катапульты и скорпионы покачивались на колесницах, запряженных мулами и двумя парами быков; по мере того, как развертывалось войско, начальники, задыхаясь, бегали направо и налево, отдавая приказания, соединяя ряды и сохраняя нужное расстояние между ними. Те из старейшин, которые начальствовали войском, носили пурпурные каски с пышной бахромой, которая запутывалась в ремнях котурн. Их лица, выкрашенные красной краской, сверкали под огромными касками, украшенными изображениями богов. Щиты их были окаймлены слоновой костью с драгоценными каменьями, и получалось впечатление солнц, двигавшихся вдоль медных стен.

Карфагеняне ступали так тяжело, что воины насмешливо приглашали их присесть. Они кричали, что сейчас выпустят кишки из их толстых животов, сотрут позолоту с их кожи и дадут им напиться железа.

На столбе, вбитом перед палаткой Спендия, вдруг появился кусок зеленого холста: это был сигнал. Карфагенское войско ответило на это грохотом труб, кимвалов, флейт из ослиных костей и тимпанов. Варвары уже перескочили через ограду. Сражающиеся очутились лицом к лицу на расстоянии полета дротика

Один из балеарских пращеметателей выступил вперед, вложил в ремень глиняный мяч и завертел рукой; раздался треск щита из слоновой кости, и войска вступили в бой.

Греки стали колоть остриями копий ноздри лошадей, тем самым опрокидывая их на всадников. Рабы, которые должны были метать камни, брали слишком крупные, которые сейчас же падали подле них. Карфагенские пехотинцы, размахивавшие длинными мечами, открывали свое правое крыло. Варвары ворвались в их ряды и рубили с плеча, топтали умирающих и убитых, ослепленные кровью, которая брызгала им в лицо. Эта груда копий, касок, панцырей, мечей и сплетающихся тел кружилась, раздаваясь и сжимаясь гибкими движениями. Карфагенские когорты все больше редели, машины их не могли выбраться из песков; наконец носилки суффета (его большие носилки с хрустальными подвесками), которые видны были с самого начала сражения, раскачиваемые воинами, как лодка на волнах, вдруг куда-то погрузились и исчезли. Значило ли это, что он был убит? Варвары остались одни.

Пыль вокруг них опадала, и они начали петь, когда появился сам Ганнон на слоне. Он сидел с непокрытой головой под зонтом из виссона; негр держал этот зонт за ним. Ожерелье из синих блях билось о цветы его черной туники; алмазные обручи обхватывали его толстые руки. Раскрыв рот, он потрясал огромным копьем, расширяющимся к острию, как лотос, и сверкающим, точно зеркало. Вдруг земля содрогнулась, и варвары увидели устремившихся в один ряд всех карфагенских слонов, с золочеными клыками, с выкрашенными в синий цвет ушами и покрытых бронзой; они раскачивали кожаные башни, воздвигнутые на их пурпурных попонах, и в каждой башне сидело по три стрелка с натянутыми луками.

Воины едва успели подобрать оружие и сомкнули ряды в полном беспорядке. Их леденил ужас, и они не знали, что делать.

С высоты башен в них бросали копья, простые и огненные стрелы, камни, свинец; некоторые, чтобы

взобраться на башни, хватались за бахрому попон. Им отрубали руки ножами, и они падали на мечи, направленные против них. Слишком слабые пики ломались; слоны прорывались через фаланги, как вепри через густую траву; они вырывали хоботами столбы палаток, опрокидывали палатки, пробегая лагерь из конца в конец. Все варвары бросились в бегство. Они прятались за холмами, окаймлявшими долину, через которую пришли карфагеняне.

Победитель Ганнон подошел к воротам Утики. Он велел затрубить в трубы. Трое городских судей появились на вершине башни в отверстии между бойницами.

Жители Утики не пожелали принять у себя слишком хорошо вооруженных гостей. Ганнон вспылил. Наконец, они согласились впустить его с небольшой свитой. Улицы были слишком узки для слонов; пришлось оставить их у ворот.

Как только суффет вступил в город, к нему явились с поклоном управители. Он отправился в бани и призвал своих поваров.

Три часа спустя он еще сидел в ванне из масла, выжатого из корицы, и, продолжая купаться, ел на разостланной перед ним бычачьей шкуре языки фламинго с маком в меду. Рядом с ним его врач—грек—недвижный, в длинной желтой одежде, от времени до времени подогревал ванну, а двое мальчиков, наклонившись над ступеньками бассейна, растирали ему ноги. Но заботы о теле не останавливали его мыслей о государственных делах: он диктовал письмо Великому Совету и, кроме того, придумывал, как бы наказать с наибольшей жестокостью взятых им в плен варваров.

— Подожди!—крикнул он рабу, который, стоя, писал на ладони.—Пусть их приведут сюда! Я хочу на них посмотреть.

Из глубины комнаты, в которой носился белый пар, пронизываемый красными пятнами факелов, вытолкнули вперед трех варваров: самнита, спартанца и кападокийца.

Продолжай!—сказал Ганнон.—«Радуйтесь, светочи

Ваала! Ваш суффет уничтожил жадных псов. Да будет благословенна республика! Прикажите вознести благодарственные молитвы!»

Он увидел пленников и расхохотался.

— А, это вы, храбрецы из Сикки! Вы уже не так громко кричите сегодня. Это я! Узнаете меня? Где же ваши мечи? Ах, какие страшные!—Он сделал вид, будто хочет спрятаться с испугу.—Вы требовали лошадей, женщин, земель и уже наверное судейских и жреческих мест! Почему бы и не требовать? Хорошо, я вам дам земли, откуда вы уже больше никогда не уйдете! И вас поженят на новешеньких виселицах. Жалованья просите? Вам его вольют в горло расплавленным свинцом. И я вам дам отличные места, очень высоко, среди облаков, близко от орлов!

Три варвара, волосатые и в лохмотьях, смотрели на него, не понимая его слов. Раненые в колени, они были пойманы веревками. Толстые цепи, в которые они были закованы, волочились по плитам. Ганнона раздражала их невозмутимость.

— На колени! На колени, шакалы, нечисть, помет! Они смеют еще не отвечать! Довольно! Молчать! Пусть с них сдерут кожу живьем. Нет, подождите.

Он дышал, как гиппопотам, дико вращая глазами. Благоуханное масло выливалось через край под грузом его тела и прилипало к покрытой струпьями коже, которая казалось розовой при свете факелов...

Он продолжал:

— Мы сильно страдали от солнца в течение четырех дней. При Макарском переходе затерялись мулы, несмотря на их положение и чрезвычайную храбрость... О, Демонад, как я страдаю! Пусть раскалят до-красна кирпичи!

Послышался стук лопаток и треск разводимого в плите огня. Курения еще сильнее задымились в широких курильницах, и голые массажисты, потевшие, как губки, стали втирать в его члены мазь, приготовленную из пшеницы, серы, красного вина, собачьего молока, мирры, калгановой камеди и росного ладана. Нестерпимая жажда мучила его, но человек в желтой одежде не дал ему уто-

лить ее, а протянул ему золотую чашу, в которой дымился змеиный отвар.

— Пей! — сказал он, — пей для того, чтобы сила змей, рожденных от солнца, проникла в мозг твоих костей. Мужайся, отсвет богов! Ты ведь знаешь, что жрец Эшмуна созерцает вокруг созвездия Пса жестокие звезды, причиняющие твою болезнь. Они бледнеют, как струпья у тебя на теле, и ты не умрешь.

— Да, да, не правда ли? — сказал суффет. — Я не умру? — Дыхание, исходившее из его посиневших губ, было более смрадное, чем зловоние трупа. Два угля, казалось, горели на месте его глаз, лишенных век. Морщинистая складка кожи свисала у него над лбом; уши его, оттопыриваясь от головы, распухали, и глубокие морщины, образуя полукруги вокруг его ноздрей, придавали ему странный и дикий вид страшного зверя. Его неестественный голос походил на вой. Он сказал:

— Ты, может быть, прав, Демонад. Действительно, много нарывов уже зажило. Я чувствую себя очень бодрым. Смотри, как я ем.

Не столько из жадности, как для того, чтобы убедить самого себя в улучшении своего здоровья, он стал пробовать начинки из сыра и маерана, блюда рыб, очищенных от костей, тыквы, устрицы, яйца, хрен, трюфели и жареную мелкую дичь. Поглядывая на пленников, он с наслаждением придумывал муки, которым их подвергнет. Но он вспомнил Сикку, и все бешенство его терзаний излилось в ругательствах, которыми он стал осыпать трех варваров.

— Предатели! Негодяи! Будьте прокляты! И вы осмеливались оскорблять меня, меня! Суффета! Их заслуги — цена их крови, говорили они. Их кровь! — Потом он продолжал, обращаясь к самому себе: — Все будут убиты! Ни одного не продадим! Лучше было бы повести их в Карфаген. Увидели бы... Но я, кажется, не привез с собой достаточно цепей. Пиши: пришлите мне... сколько их? Пусть спросят Мутумбала. Никакого снисхождения. Пусть принесут мне в корзинках отрезанные у всех руки.

Но вдруг странные крики, глухие и в то же время резкие, донеслись до залы, заглушая голос Ганнона и стук блюд, которые расставляли вокруг него. Крики усилились, и вдруг раздался бешеный рев слонов. Можно было подумать, что сражение возобновляется. Страшный шум окружил город.

Карфагеняне не думали преследовать варваров. Они расположились у подножья стен со своими пожитками, со слугами, со всем своим двором, подобающим сатрапам, и проводили приятно время в прекрасных палатках, окаймленных жемчугом, в то время, как лагерь наемников представлял груду развалин. Спендий воспрял тогда духом. Он отправил Заркаса к Мато, обошел леса и собрал своих людей (потери были незначительные); взбешенные тем, что они были поражены, не сражаясь, они вновь сплотили свои ряды; в это время вдруг был найден чан с нефтью, оставленный, несомненно, карфагенянами. Тогда Спендий велел собрать всех свиней на фермах, обмазал их нефтью, зажег и пустил по направлению к Утике.

Слоны, испуганные пламенем, бросились в бегство. Дорога шла вверх; бросая в них дротики, их заставили повернуть обратно, и они стали убивать карфагенян, душить и топтать их клыками и ногами. Вслед за ними с холмов спускались варвары; пунический лагерь, не защищенный окопами, разбит был после первой же атаки, и карфагеняне оказались раздавленными у городских стен, так как горожане не хотели открыть ворот, боясь наемников.

Стало светать; с запада приближалась пехота Мато. Одновременно показалась и конница: то был Нар Гавас со своими нумидийцами. Перескакивая через рвы и кусты, они гнались за беглецами, как борзые, травящие зайцев. Эта перемена военного счастья и прервала суффета.

Он крикнул, чтобы его вынули из паровой ванны.

Три пленника все еще стояли перед ним. Тогда негр, тот, который нес его зонт во время битвы, наклонился к его уху.

— Так что же? — медленно ответил ему суффет. — Убить их! — отрывисто прибавил он.

Эфиоп вынул засунутый за пояс длинный кинжал, и три головы скатились. Одна из них, подпрыгивая среди остатков пира, попала в ванну и там плавала несколько времени с открытым ртом и остановившимися глазами. Утренний свет проникал в расщелины стены; из трех тел, упавших ниц, кровь била фонтаном, и кровавая пелена расстилалась по мозаичному полу, усыпанному сипим песком. Суффет опустил руку в этот горячий ил и стал растирать кровью колени: это было целебное средство.

Вечером он убежал из города вместе со своей свитой и направился в горы, чтобы нагнать свое войско.

Он нашел только остатки его.

Четыре дня спустя он был в Горзе, над ущельем, когда внизу показалось войско Спендия. Двадцать копий, устремленных на фронт колонны, легко остановили бы наступавшее войско; но карфагеняне, пораженные его видом, пропустили его мимо себя. Ганнон узнал в ариергарде короля нумидийцев. Нар Гавас поклонился, приветствуя его, и сделал знак, которого Ганнон не понял.

Возвращение в Карфаген сопровождалось постоянными страхами. Подвигались вперед только ночью; днем прятались в оливковых рощах. На каждом этапе несколько человек умирало; несколько раз они считали себя все погибшими. Наконец, они добрались до мыса Гермея, куда за ними прибыли корабли.

Ганнон так устал и был в таком отчаянии, в особенности от потери слонов, что попросил Демонада дать ему яд, чтобы покончить с жизнью. Он заранее чувствовал себя распятым на кресте.

Карфаген не имел силы возмутиться против него. Потеряно было четыреста тысяч девятьсот семьдесят два сикла серебра, пятнадцать тысяч шестьсот двадцать три шекеля золота, погибло восемнадцать слонов, убито было четырнадцать членов Великого Совета, триста человек богатых, восемь тысяч граждан, пропал хлеб, которого хватило бы на три месяца, множество поклажи и все

военные машины! Измена Нар Гаваса была несомненна. Обе осады возобновились. Армия Автарита растянулась от Туниса до Радеса. С высоты акрополя виден был стлавшийся по небу дым пожарищ: то горели замки богатых.

Один только человек, один единственный, мог бы спасти республику. Теперь все раскаивались, что недостаточно ценили его. Даже партия мира постановила приносить жертвы богам, молясь о возвращении Гамилькара.

Вид заимфа потряс Саламбо. Ей слышались ночью шаги богини, и она просыпалась с криками ужаса. Она посылала каждый день пищу в храмы. Таанах приходила в изнеможение, исполняя ее приказания, и Шагабарим не покидал ее.

ГАМИЛЬКАР БАРКА.

Глашатай лун, который бодрствовал все ночи на кровле храма Эшмуна для того, чтобы возвещать звуками трубы о всех движениях месяца, увидел однажды утром с западной стороны нечто вроде птицы, касавшейся длинными крыльями поверхности моря.

То был корабль с тремя рядами гребцов; нос украшен был резным изображением лошади. Всходило солнце. Глашатай лун приставил руку к глазам, потом схватил свою трубу и затрубил на весь Карфаген.

Из всех домов выбежали люди; сначала не хотели верить друг другу, и все спорили; мол был покрыт густой толпой. Наконец, узнали трирему Гамилькара.

Она приближалась, гордая и суровая, с воздымающейся реей, с надувшимся вдоль мачты парусом, разрезая пену вокруг себя. Гигантские весла мерно ударяли по волнам; от времени до времени край ее киля, имевшего форму плуга, высовывался наружу, а под закруглением, которым оканчивался нос, лошадь с головой из слоновой кости, взвивая обе ноги, как бы неслась стремительным бегом вдоль равнин моря.

Когда корабль огибал мыс, парус спустили, так как ветер стих, и рядом с кормчим показался человек с непокрытой головой; это был он, суффет Гамилькар! На нем сверкали железные латы; красный плащ, прикрепленный на плечах, открывал доверху его руки; длинные жемчужины висели у него в ушах, на грудь опускалась черная густая борода.

Галера, покачиваясь среди утесов, двигалась вдоль мола, и толпа провожала ее на берегу, громко крича:

— Привет! Благословляем твое прибытие! Око Камона, спаси нас! Во всем вина богатых! Они хотят твоей смерти. Берегись, Барка!

Он ничего не отвечал, точно его окончательно оглушил рев морей и битв. Но, очутившись у лестницы, спускавшейся с акрополя, Гамилькар поднял голову и, скрестив руки, взглянул на храм Эшмуна. Взгляд его поднялся еще выше, к широкому ясному небу; он крикнул суровым голосом приказ матросам, и трирема прыгнула, задев идол, поставленный в конце мола для того, чтобы останавливать бури; она вошла в торговый порт, покрытый отбросами, щепками и шелухой от плодов, и подалась назад, задевая другие корабли, прикрепленные к шестам и заканчивавшиеся каждый пастью крокодила. Толпа побежала к нему, некоторые пустились вплавь. Трирема уже прошла вглубь и подошла к воротам, усаженным гвоздями. Ворота поднялись, и трирема исчезла под глубоким сводом.

Военный порт был совершенно отделен от города; когда прибывали посланные, им приходилось пройти между двумя стенами по проходу, который, повернув налево, заканчивался у храма Камона. Большой бассейн, круглый, как чаша, окаймлен был набережными, на которых построены были вместилища для кораблей. Перед каждым из них возвышались две колонны, украшенные наверху рогами Аммона, и таким образом, вокруг всего бассейна простирался ряд портиков. Посередине, на острове, стоял дом, назначенный для жилья морского суффета.

Вода была такая прозрачная, что виднелось дно, вымощенное белыми камешками. Уличный шум сюда не доходил, и Гамилькар, проезжая мимо, узнавал триремы, которыми он некогда командовал.

Их оставалось не более двадцати; они стояли на земле, накренившись на бок или прямо, с очень высокими кормами и выпуклыми носами, украшенными позолотой и таинственными символами. Химеры потеряли свои крылья, боги — свои руки, быки — свои серебряные рога: полинявшие, гниющие, недвижные, но еще полные воспоминаний о былых путешествиях, подобные искале-

ченным солдатам, которые вновь увидели своего начальника, они как бы говорили: «Это мы, это мы! И ты тоже потерпел поражение».

Никто, кроме морского суффета, не имел права вступить в адмиральский дом, и до тех пор, пока не было доказательств его смерти, он считался живым. Старейшины, таким образом, избавлялись от лишнего начальства. И по отношению к Гамилькару они не отступили от старого обычая.

Суффет вошел в пустые покои; на каждом шагу он находил оружие, мебель и знакомые предметы, удивлявшие его теперь своим видом; под лестницей еще сохранился в курильнице пепел благовоний, зажженных при его отъезде для заклинания Мелькарта. Не таким представлял он себе свое возвращение. Он стал вспоминать все, что совершил, все, что видел: нападения, пожары, легионы, бури, Дрепан, Сиракузы, Лилибей, гору Этну, плоскогорие Этикс, пять лет сражений, — все, вплоть до того рокового дня, когда потеряна была Сицилия. Потом он вспомнил лимонные рощи, пастухов со стадами коз на серых горах, и сердце его сильно забилось при мечте о другом Карфагене, воздвигнутом там. Все его замыслы и воспоминания носились у него в голове, еще оглушенной последней качкой; им овладела тревога; вдруг, ослабев, он почувствовал потребность приблизиться к богам.

Он поднялся на верхний этаж своего дома. Потом, вынув из золотой раковины, висевшей у него на руке, лопаточку с насаженными на нее гвоздями, он открыл маленькую комнату овальной формы.

Тонкие черные кружки, всаженные в стену и прозрачные, как стекло, освещали комнату мягким светом. Между рядами этих одинаковых дисков были просверлены отверстия, как в урнах в похоронном склепе. В каждом отверстии находился круглый темный камень, с виду очень тяжелый. Только люди высокого духа поклонялись этим абаддирам, упавшим с луны. Своим падением они обозначали светила, небо, огонь, своим цветом — мрачную ночь, а своей плотностью — сплочен-

ность всего на земле. Воздух в таинственном обиталище был удушливый. Морской песок, очевидно, занесенный ветром в дверь, покрывал белым налетом круглые камни в нишах. Гамилькар пересчитал их по пальцам, потом покрыл лицо покрывалом шафранного цвета и, упав на колени, распростерся на полу, вытянув обе руки.

Дневной свет ударял о листья черного лотоса. В их прозрачной толще вырисовывались деревья, горы, вихри, смутные формы животных; свет проникал в комнату, грозный и в то же время мирный, каким он должен быть по ту сторону солнца, в угрюмых пространствах грядущего созидания. Гамилькар старался изгнать из своих представлений все формы, все символы и все наименования богов, чтобы лучше постигнуть недвижный дух, скрытый за внешними явлениями. В него как-будто проникала планетная жизнь, и все более глубоким и мудрым становилось его презрение к смерти и ко всему случайному. Когда он встал на ноги, он ощутил в себе полноту спокойной отваги, не подвластной жалости и страху; чувствуя, что он задыхается, он поднялся на вершину башни, возвышавшейся над Карфагеном.

Город, углубляясь, спускался вниз длинной вогнутой линией, со своими куполами, храмами, золотыми кровлями, домами, чашами пальм, с расставленными в разных местах стеклянными шарами, откуда исходили огни; укрепления представляли собой как бы гигантскую кайму этого рога изобилия, раскрывавшегося навстречу ему. Он видел внизу порты, площади, внутренности дворов, рисунок улиц, людей, казавшихся совсем маленькими, почти такими же, как плиты. О, если бы Ганнон не опоздал в то утро сражения у эгатских островов! Глаза его устремились к краю горизонта, и он протянул в сторону Рима свои дрожащие руки.

Толпа расположилась на ступеньках акрополя. На камонской площади все толкались, стараясь увидеть суффета, и все террасы покрылись народом; некоторые узнавали его и кланялись ему. Он удалился, чтобы усилить нетерпение народа.

Гамилькар застал внизу, в зале, своих главнейших сторонников: Истатена, Субельдия, Гиктамона, Ейюба и

других. Они рассказали ему обо всем, что произошло со времени заключения мира: о скупости старейшин, об отбытии воинов, об их возвращении, их требованиях, о захвате Гискона, о похищении заимфа, о помощи Утике и о том, как от нее отступились; но никто не решался, однако, рассказать ему о событиях, касавшихся его самого. Наконец, они разошлись, чтобы снова свидеться ночью на собрании старейшин в храме Молоха.

В ту минуту, когда они вышли, у дверей поднялся крик. Кто-то хотел войти, несмотря на запрет слуг; когда шум усилился, Гамилькар приказал впустить человека, желавшего его видеть.

В зал вошла старая негритянка, сгорбленная, вся в морщинах, дрожащая, с бессмысленным лицом, закутанная до ног в широкое синее покрывало. Она подошла прямо к суффету, и они взглянули друг другу в глаза: вдруг Гамилькар вздрогнул. По мановению его руки, рабы удалились. Приказав негритянке следовать за ним осторожно, он потащил ее за руку в отдаленную комнату.

Негритянка бросилась на землю и стала целовать его ноги. Он резким движением поднял ее.

— Где ты его оставил, Идибал?

— Там, господин. — Сняв свое покрывало, она потерла себе рукавом лицо; черный цвет кожи, старческое дрожание и согбенная спина — все исчезло. Перед Гамилькаром стоял сильный старик с лицом, обветренным песками, бурями и морем. Пучек белых волос торчал на его черепе, как хохолок птицы; он насмешливо показал на скрывавшие его одежды, которые лежали теперь на земле.

— Это ты хорошо сделал, Идибал. Очень хорошо! — Потом Гамилькар прибавил, пронизывая его острым взглядом: — Никто еще не догадывается?

Старик поклялся ему кабирами, что свято хранит тайну. Они не покидают своей хижины в трех днях пути от Гадрумета, на берегу, населенном черепахами и усаженном пальмами.

— Согласно твоему приказу, господин, я учу его метать копья и править лошадьми.

— Он силен, правда?

— Да, господин, и очень отважен. Он не боится ни змей, ни грома, ни призраков. Он бегает босиком, как пастух, по краям пропастей.

— Продолжай, продолжай!

— Он устраивает западни для диких зверей. В прошлом месяце, поверишь ли, он поймал орла; он потащил его за собой, и кровь птицы вместе с кровью ребенка текла в воздухе крупными каплями, похожими на розы, носимые ветром. Взбешенная птица окутывала его своими бьющимися крыльями; он прижимал ее к груди, и, по мере того, как орел умирал, смех мальчика звучал все громче, яркий, сверкающий, как звон мечей.

Гамилькар опустил голову, ослепленный этими предзнаменованиями величия.

— Но вот уже несколько времени, как его мучит тревога: он следит взорами за парусами, мелькающими на море; он грустен и отталкивает пищу; он спрашивает про богов и хочет увидеть Карфаген.

— Нет, нет, еще не время! — воскликнул суффет.

Старый раб, видимо, знал, какая опасность пугает Гамилькара и продолжал:

— Как его удержать? Мне приходится давать ему разные обещания, и вот я теперь явился в Карфаген, чтобы купить ему кинжал с серебряной рукоятью, украшенной жемчугом. — Потом он рассказал, что, увидев суффета на террасе, он выдал себя стражам порта за одну из служанок Саламбо и только таким образом мог проникнуть к нему.

Гамилькар погрузился в долгое раздумье и, наконец, сказал:

— Явись завтра в Мегару в час захода солнца, за фабрику, изготовляющую пурпур, и крикни три раза шакалом. Если ты меня не увидишь, то приходи в Карфаген каждое первое число месяца. Не забудь ничего! Люби его! Теперь ты можешь говорить ему о Гамилькаре.

Раб снова надел одежду, в которой явился, и они вышли вместе из дома.

Гамилькар продолжал путь один, без свиты, ибо со-

брания старейшин были всегда тайные в чрезвычайных случаях, и туда отправлялись крадучись.

Сначала он шел вдоль восточного фасада акрополя, затем миновал овощной рынок, галлереи Кинисдо, квартал торговцев благовониями. Редкие огни погасли, широкие улицы опустели; потом появились тени, которые скользили во мраке. Они следовали за ним, к ним присоединились другие, и все так же, как и он, шли в сторону Маппал.

Храм Молоха построен был в мрачном месте у подножья крутого ущелья. Снизу видны были только высокие стены, без конца поднимавшиеся вверх, точно стены чудовищной гробницы. Ночь была темная, и серый туман навис над морем, которое билось об утес с шумом, подобным хрипу и рыданиям; тени постепенно исчезали, точно пройдя сквозь стены.

Войдя в ворота, пришедшие попадали в большой четырехугольный двор, окаймленный аркадами. Посредине возвышалось строение, имевшее восемь одинаковых сторон. Над строением поднимались куполы, сплотившись вокруг второго этажа, поддерживавшего круглую башню; над нею высилась конусообразная кровля с вогнутыми краями; на конус насажен был сверху шар.

Огни горели в цилиндрах филигранной работы; они были прикреплены к шестам, которые держали в руках рабы. Светочи покачивались под напором ветра и бросали красные отсветы на золотые гребни, которые прикрепляли к затылку волосы, заплетенные в косы; рабы бегали и окликали друг друга, готовясь к приему старейшин.

На плитах расположились в позе сфинксов огромные львы, живые символы всепожирающего солнца. Они дремали, полузакрыв веки. Но, пробудившись от шума шагов и голосов, они медленно поднялись, приблизились к старейшинам, которых узнали по платью, и стали тереться об их бока, выгибая спины и при этом громко и звучно зевая. Пар их дыхания виден был при свете факелов. Волнение усилилось, двери закрылись, все жрецы удалились, и старейшины исчезли среди колонн, составлявших глубокие сени вокруг храма.

Расположение колонн было такое, что они изображали своими кругами, включенными одни в другие, период вращения Сатурна с содержащимися в нем годами, годы с содержащимися в них месяцами, месяцы с их днями. Круги замыкались в конце, у стены святилища.

Там старейшины оставляли свои палки из рога нарвала, ибо закон, всегда приводившийся в исполнение, наказывал смертью того, кто осмелился бы придти на заседание с каким-либо оружием. У многих одежда была порвана снизу в каком-нибудь одном месте, отмеченном пурпурной нашивкой. Это служило доказательством того, что, оплакивая смерть близких, они не жалели платья. Но этот знак печали служил и для того, чтобы одежда не рвалась дальше. Другие прятали бороду в мешочек из фиолетовой кожи, и мешочек этот привязывался двумя шнурками к ушам. Все обнимались, прижимая друг друга к груди. Они окружили Гамилькара, поздравляя его; их можно было принять за братьев, встречающихся после долгой разлуки.

Все эти люди были приземистые, с горбатыми носами, как у ассирийских колоссов. У некоторых, однако, сказывалась африканская кровь и происхождение от предков кочевников. У них были более выдающиеся скулы, они были ростом выше других и имели более узкие ноги. У тех, которые жили постоянно в своих конторах, был бледный цвет лица; другие носили на себе отпечаток суровой жизни в пустыне, и у них сверкали странные драгоценности на всех пальцах смуглых рук, обожженных солнцем неведомых стран. Можно было отличить мореплавателей по их раскачивающейся походке: землепашцы носили с собой запах виноградного пресса, сена и пота вьючных животных. Эти старые пираты возделывали теперь поля руками своих наемных рабочих; эти купцы, накопившие деньги, снаряжали теперь суда, а землевладельцы кормили рабов, знающих разные ремесла. Все они были ученые богословы, а также люди, искушенные в обмане, беспощадные и богатые. Они казались утомленными долгими заботами. Их огненные глаза смотрели недоверчиво, а привычка к путешествиям и ко лжи, к торговле и к власти придавала им коварный

и суровый вид; они казались склонными к судорожным вспышкам гнева. К тому же влияние их божества делало их мрачными.

Они прошли сначала через сводчатый зал яйцевидной формы. Семь дверей, соответствовавших семи планетам, вырисовывались на стене семью квадратами разного цвета. Пройдя через длинную комнату, они вошли в такой же другой зал.

В глубине зала горел канделябр, покрытый разными цветами, и каждая из его восьми ветвей заключала в алмазной чашечке фитиль из виссона. Он был поставлен на последней из длинных ступенек, которые вели к большому алтарю, заканчивавшемуся в углах бронзовыми рогами. Две боковые лестницы вели к плоской вершине алтаря; камней не было видно; алтарь был точно гора из пепла, и внизу что-то дымилось неопределенно и медленно. Выше канделябра и гораздо выше алтаря поднимался Молох, весь из железа, с человеческой грудью, в которой зияли отверстия. Его раскрытые крылья распростирались по стене, его вытянутые руки спускались до земли; три черных камня, окаймленных желтым кругом, изображали три зрачка на его лбу, и он со страшным усилием вытягивал свою бычачью голову, точно собираясь замычать.

Вокруг комнаты размещены были табуреты из черного дерева. За каждым из них, на бронзовом стержне, стоявшем на трех птичьих лапках, висел светоч. Свет отражался в перламутровых косоугольниках, которыми вымощен был пол. Зал был такой высокий, что красный цвет стен, по мере приближения к своду, становился черным, и три глаза идола виднелись совсем высоко, точно звезды, наполовину исчезающие во мраке.

Старейшины сели на табуреты из черного дерева, подняв на головы полы своих одежд; они сидели неподвижно, скрестив руки в широких рукавах, и перламутровый пол казался сияющей рекой, которая, струясь от алтаря к двери, текла под их голыми ногами.

Четыре жреца сидели посредине, спиной друг к другу, на четырех сиденьях из слоновой кости; сиденья эти расположены были крестом. Первосвященник Эп-

луна был в лиловой одежде, первосвященник Таниты— в одежде из белого льна, первосвященник Камона в рыжем шерстяном одеянии, а первосвященник Молоха—в пурпурном.

Гамилькар приблизился к канделябру. Он обошел его кругом, осматривая горевшие фитили, потом посыпал на них душистый порошек; на концах ветвей показалось фиолетовое пламя.

Тогда раздался резкий голос, которому стал вторить другой; и сто старейшин вместе с четырьмя жрецами и с Гамилькаром, стоявшим тут же, запели гимн; повторяя те же слова и усиливая звуки, голоса их возвышались, становились страшными, потом вдруг умолкли.

Несколько времени прошло в ожидании. Наконец, Гамилькар вынул спрятанную у него на груди маленькую статуетку с тремя головами, синюю, как сапфир, и поставил ее перед собой. Это было изображение Истины, вдохновительницы его речей. Потом он снова спрятал ее на груди, и все стали кричать, точно охваченные внезапным гневом.

— Это ведь твои друзья, варвары! Изменник! Бесстыдный предатель! Ты теперь вернулся, чтобы присутствовать при нашей гибели? Дайте ему ответить! Нет! Нет!..

Они мстили за сдержанность, которую возлагал на них политический церемониал; и хотя они желали возвращения Гамилькара, но все же теперь возмущались тем, что он не предупредил их поражения или, вернее, что он не претерпел его вместе с ними. Когда шум затих, поднялся с места жрец Молоха.

— Мы спрашиваем тебя, почему ты не вернулся в Карфаген?

— Что вам за дело?—презрительно возразил суффет.

Крики их усилились.

— В чем вы меня обвиняете? Разве я плохо вел войну? Вы видели планы моих сражений, вы, предоставившие варварам...

— Довольно! Довольно!..

Он продолжал тихим голосом для того, чтобы его лучше слушали:

— Да, правда. Я ошибаюсь, светочи ваалов! Среди вас есть бесстрашные люди. Поднимись, Гискон!—Осматривая ступеньки алтаря, прищуривая глаза, точно отыскивая кого-то, он повторил:—Поднимись, Гискон! Теперь ты можешь обвинять меня. Они тебя защитят. Но где он?—Потом он сказал, точно поправляя себя:—Ну да, конечно, он у себя дома! Он окружен сыновьями и отдает приказы своим рабам. Он счастлив и пересчитывает висящие на стене почетные ожерелья, которыми наградило его отечество!

Они беспокойно задвигались, пожимая плечами, точно под ударами хлыста.

— Вы даже не знаете, жив-ли он или мертв!—И, не обращая внимания на их крики, он сказал, что, предав суффета, они тем самым предали республику, и что мир с римлянами, при всей его кажущейся выгодности, был более пагубен, чем двадцать битв.

Несколько человек зааплодировали, наименее богатые из членов Совета, которых всегда подозревали в тяготении к народу или к тирании. Их противники, вожди сисситов и администраторы, превосходили их числом; наиболее влиятельные поместились около Ганнона, который сидел в другом конце зала, перед высокой дверью, завешенной фиолетовой драпировкой.

Он скрыл под румянами язвы своего лица. Но золотая пудра осыпалась с его волос на плечи двумя яркими пятнами, и волосы обнаружили свой естественный цвет. Они были белые, тонкие и вьющиеся, как шерсть. Повязки, пропитанные жирными благовониями, просачивавшимися наружу и капавшими на пол, скрывали его руки; его здоровье видимо ухудшилось, ибо глаза совершенно исчезали под опухшими веками. Чтобы что-нибудь видеть, он должен был закидывать голову. Его сторонники убеждали его ответить что-нибудь. Наконец, он сказал глухим отвратительным голосом:

— Не будь таким надменным, Барка! Мы все побеждены. Каждый должен нести свое несчастье. Покорись!

— Расскажи нам лучше, — возразил с улыбкой Гамилькар,—как ты направил свои галеры в римский флот.

— Меня гнал ветер,—ответил Ганнон.

— Ты точно носорог, который топчет свои нечистоты Ты обнаруживаешь перед всеми свою глупость. Молчи лучше!

И они стали обвинять друг друга, говоря о битве у Эгатских островов.

Ганнон обвинял его в том, что он не пошел навстречу ему.

— Но я бы этим обезлюдил Эрикс. Кто тебе мешал уплыть в море? Ах, да, я забыл: все слоны боятся моря!

Свите Гамилькара так понравилась эта шутка, что они начали громко хохотать. Свод гудел, точно от ударов в кимвалы.

Ганнон возмутился несправедливым оскорблением Он заболел вследствие простуды, схваченной при осаде Гекатомпила, и слезы текли по его лицу, как зимний дождь по развалившейся стене.

Гамилькар продолжал:

— Если бы вы меня любили так, как его, в Карфагене царила бы теперь великая радость! Сколько раз я взывал к вам, а вы всегда отказывали мне в деньгах!

— Нам они были нужны самим,—сказали начальники сисситов.

— И когда мое положение было отчаянное, и мы пили мочу мулов и питались ремнями наших сандалий, когда я хотел бы, чтобы каждая былинка травы превратилась в воина и готов был составлять батальоны из гниющих трупов погибших у нас людей, вы отозвали последние мои корабли!

— Мы не могли рисковать всем нашим имуществом,— ответил Баат-Баал, владевший золотыми приисками в Гетулии-Даритийской.

— А что вы делали тем временем здесь, в Карфагене, спрятавшись за стенами ваших домов? Нужно было оттеснить галлов на Эридан, затем ханаанеяне могли явиться в Киренэ, и в то время как римляне посылали послов к Птоломею...

— Он еще выхваляет нам римлян!—крикнул ему кто-то.—Сколько они заплатили тебе, чтобы ты их защищал?

— Спросите об этом равнины Бруция, развалины Локра, Метапонта и Гераклеи! Я сжег их деревья, я ограбил их храмы, и до смерти внуков их внуков...

— Ты декламируешь как ритор, — сказал Капурас, влиятельный купец.—Чего ты хочешь?

— Я говорю, что нужно было быть или умнее или страшнее. Если вся Африка сбрасывает с себя ваше иго, то потому, что вы слишком слабые собственники и не умеете связать ее. Агафокл, Регул, Сципион, все эти смельчаки заберут ее, как только высадятся; и когда ливийцы, занимающие восток, столкуются с нумидийцами на западе, когда кочевники придут с юга и римляне с севера...—Раздался крик ужаса.—Да, вы станете бить себя в грудь, вы будете валяться в пыли и разрывать свои плащи! Но тогда будет поздно. Придется вертеть жернова в Субуре и снимать виноград на холмах Лациума.

Они хлопали себя в правое бедро, выражая этим свое негодование, и рукава их одежд поднимались, как большие крылья испуганных птиц. Гамилькар, охваченный неистовством, продолжал говорить, стоя на верхней ступеньке алтаря, весь дрожа, страшный с виду; он вздымал руки, и лучи канделябра, горевшего за ним, проходили между его пальцами, точно золотые копья.

— Вы лишитесь своих кораблей, своих полей, колесниц, висячих постелей и рабов, растирающих вам тело! Шакалы будут спать в ваших дворцах, и плуг разроет ваши гробницы. Не будет более слышно ничего, кроме криков орлов, и ничего не останется, кроме развалин. Ты падешь, Карфаген!

Четыре жреца протянули руки, как бы ограждаясь от проклятий. Все поднялись с мест. Но морской суффет, священный служитель, стоящий под покровительством солнца, был неприкосновенен до тех пор, пока его не осудило собрание богатых. Вид алтаря наводил ужас, и жрецы отступили назад.

Гамилькар перестал говорить. Взгляд его остановился, и лицо его было бледнее жемчуга на его тиаре. Он задыхался, почти испуганный собственными словами, погрузившись весь в могильные видения. С высоты, на ко-

торой он стоял, светочи на бронзовых стержнях казались ему широким венцом огней на уровне плит; черный дым, исходивший из них, поднимался к темным сводам, и в течение нескольких минут тишина была такая глубокая, что слышен был далекий шум моря.

Потом старейшины стали совещаться между собой. Их интересы, все их существование находилось теперь в опасности, вследствие угроз варваров. Но победить их нельзя было без помощи суффета. Несмотря на всю их гордость, это соображение вытеснило в их умах все другие. Они стали отводить в сторону друзей Гамилькара. Начались корыстные примирения, всевозможные обещания. Гамилькар сказал, что не желает вмешиваться в управление чем бы то ни было. Все стали его упрашивать, молить; в их речах повторялось часто слово «предательство», и это вывело его из себя. Единственным предателем был, по его словам, Великий Совет, ибо обязательства воинов ограничивались сроком войны, и они становились свободными, как только война была кончена. Он даже восхвалял их храбрость и говорил о выгодах, которых можно бы было достигнуть, примирив их с республикой подарками и обещанием льгот.

Тогда Магдасан, бывший начальник провинций, сказал, вращая своими желтыми глазами:

— Право, Барка, мне кажется, что, благодаря твоим долгим путешествиям, ты сделался греком или римлянином. Зачем ты говоришь, о каких-то наградах? Пусть погибнут лучше десять тысяч варваров, чем один из нас!

Старейшины кивали головами в знак одобрения, бормоча:

— Конечно, чего там стесняться! Их всегда можно набрать сколько угодно.

— И от них легко избавиться, не правда ли? Стоит их бросить, как вы это сделали в Сардинии. Затем можно предупредить неприятеля о том, по какой дороге они пойдут, как вы поступили с галлами в Сицилии. Или же их высаживают среди моря. На обратном пути я видел целый утес, покрытый их белыми костями.

— Подумаешь, какое несчастие!—бесстыдно промолвил Капурас.

— Разве они не переходили сто раз на сторону неприятеля?—возражали другие.

Гамилькар воскликнул:

— Почему же вы, несмотря на свои законы, вызвали их обратно в Карфаген? А когда они находились в вашем городе, бедные и многочисленные среди ваших богатств, вам не приходила в голову мысль ослабить их раздорами! Наконец, вы их выпускаете вместе с женами и детьми, не оставляя ни одного заложника! Не надеялись ли вы на то, что они сами перебьют друг друга для того, чтобы избавить вас от неприятной обязанности выполнить свои клятвы? Вы ненавидите их, потому что они сильны! И вы еще больше ненавидите меня, их повелителя! Я это почувствовал теперь, когда вы целовали мои руки и с трудом сдерживались, чтобы не искусать их!

Если бы львы, спавшие на дворе, с ревом вбежали в зал, крик их не был бы страшнее, чем тот, который поднялся после слов Гамилькара. Но в это время встал с места жрец Эшмуна; сдвинув колени, прижав руки к телу, выпрямившись и полуоткрыв руки, он сказал:

— Барка! Карфагену нужно, чтобы ты принял начальство над всеми пуническими силами против наемников.

— Я отказываюсь—ответил Гамилькар.

— Мы предоставим тебе неограниченную власть!—крикнули вожди сисситов.

— Нет!

— Ты будешь пользоваться нераздельной и бесконтрольной властью, возьмешь себе сколько угодно денег, всех пленников, всю добычу, пятьдесят зеретов земли за каждый неприятельский труп.

— Нет, нет! В союзе с вами невозможно победить!

— Он их боится!

— Вы бесчестны, скупы, неблагодарны, малодушны и безумны!

— Он их щадит!

— Он хочет стать во главе их,—сказал кто-то.

— И хочет с ними пойти на нас,—сказал другой.

Из глубины залы Ганнон прорычал:

— Он хочет провозгласить себя царем!

Тогда они повскакали с мест, опрокидывая сиденья и факелы. Они бросились толпой к алтарю, размахивая кинжалами. Но Гамилькар вынул из рукавов два больших ножа. Согнувшись, выставив левую ногу, сверкая глазами, стиснув зубы, он с угрозой смотрел на них, неподвижно стоя под золотым канделябром.

Оказалось, что они из осторожности принесли оружие. Это было преступлением, и они с ужасом глядели друг на друга. Но все успокоились, увидав, что каждый одинаково виновен. Мало-по-малу, повернувшись спиной к суффету, они спустились со ступенек алтаря, взбешенные своим унижением. Они во второй раз отступали перед ним. Несколько времени они стояли молча. Некоторые, поранив себе пальцы, подносили их ко рту или медленно заворачивали их в полы плащей и уже собирались уходить, когда Гамилькар услышал следующие слова:

— Он отказывается из деликатности, чтобы не огорчить свою дочь.

Чей-то голос громко сказал:

— Ну да, конечно; ведь она выбирает любовников из наемников.

Сначала он зашатался, потом глаза его стали быстро искать Шагабарима. Но жрец Таниты один только остался сидеть на месте, и Гамилькар увидел издали лишь его высокую шапку. Все стали смеяться ему в лицо. Их веселье усиливалось по мере того, как он становился все более мрачным, и среди общего гула те, которые стояли позади, кричали:

— Его видели, когда он выходил из комнаты!

— Это было однажды утром в месяце тамузе.

— Это и был похититель заимфа!

— Он очень красивый!

— Выше тебя ростом.

Гамилькар сорвал с себя тиару, знак своего сана,— тиару, состоявшую из восьми мистических кругов с изумрудной раковиной посредине,—и обеими руками изо всех сил бросил ее на-земь. Золотые обручи подскочили, разбившись, и жемчужины покатились по плитам. Тогда все увидели длинный шрам на его белом лбу. Шрам извивал-

ся, как змея, между бровями. Он дрожал всем телом. Он поднялся по одной из боковых лестниц, которые вели к алтарю, и прошел по алтарю! Этим он посвящал себя богу, отдавал себя на заклание, как искупительную жертву. Движение его плаща раскачивало свет канделябра, стоявшего ниже его сандалий; тонкая пыль, вздымаемая его шагами, окружала его облаком до живота. Он остановился между ногами бронзового колосса и, взяв в обе руки по пригоршне пыли, один вид которой вызывал дрожь ужаса у всех карфагенян, сказал:

— Клянусь сотней факелов ваших душ! Клянусь семью огнями кабиров! Клянусь звездами, метеорами, вулканами и всем, что горит! Клянусь жаждой пустыни и солью океана, пещерой Гадрумета и царством душ! Клянусь убиением! Клянусь пеплом ваших сыновей и пеплом братьев ваших предков, с которыми я смешиваю теперь мой пепел! Вы, сто членов карфагенского Совета, вы солгали, обвинив мою дочь! И я, Гамилькар Барка, морской суффет, начальник богатых и властитель народа, я клянусь перед Молохом с бычачьей головой...

Все ждали страшной клятвы, но он сказал более громким и более спокойным голосом...

— Я клянусь, что даже не скажу ей об этом!

Слуги храма с золотыми гребнями в волосах вошли, одни с пурпурными губками, другие с пальмовыми ветвями. Они подняли фиолетовую завесу, закрывавшую дверь, и сквозь отверстие открылось в глубине больших зал большое розовое небо, которое как бы продолжало свод, упираясь на горизонте в совершенно синее небо. Солнце поднималось, выходя из волн. Оно вдруг ударило в грудь бронзового колосса, разделенного на семь помещений, огражденных решетками. Его пасть с красными зубами раскрывалась в страшном зиянии; огромные ноздри раздувались; яркий свет оживлял его, придавая ему страшный и нетерпеливый вид, точно он хотел выскочить и слиться со светилом, с божеством, чтобы вместе с ним блуждать по бесконечным пространствам.

Но факелы, брошенные на землю, еще горели, бросая на перламутровые плиты блики, похожие на пятна крови. Старейшины шатались изможденные; они вдыха-

ли полной грудью свежий воздух; пот струился по их бледным лицам; они кричали так громко, что уже не слышали друг друга. Но их гнев против суффета не улегся; они на прощанье осыпали его угрозами, и Гамилькар отвечал им тем же.

— До следующей ночи, Барка, в храме Эшмуна!

— Я приду!

— Мы добьемся твоего осуждения богатыми!

— А я—вашего осуждения народом!

— Берегись быть распятым на кресте!

— А вы—быть растерзанными на улицах!

Как только они вышли на двор, возбуждение их улеглось, и они приняли спокойный вид.

Их скороходы и возницы ждали их у ворот. Большинство сели на белых мулов. Суффет вскочил в свою колесницу и взял в руки вожжи; две лошади, сгибая шеи и мерно ударяя копытами по отскакивавшим с земли мелким камушкам, быстро понеслись вверх по дороге в Маппалы; казалось, что серебряный коршун в конце дышла летел по воздуху: до того быстро мчалась колесница.

Дорога пересекала поле, утыканное длинными плитами с заостренными верхушками, на подобие пирамид; посредине каждой из них высечена была раскрытая рука, как будто протянутая к небу лежащим под плитой мертвецом, просившим чего-то. Далее раскинуты были землянки из глины, из ветвей, из тростника, все конической формы. Низкие стены из маленьких камней, ручейки, плетеные из дрока веревки, живые изгороди разделяли неправильными линиями эти жилища, которые лепились все теснее и теснее, по мере того, как они поднимались к садам суффета. Но Гамилькар устремил взор не на них, а на большую башню, три этажа которой представляли собой три чудовищных цилиндра, первый—сложенный из камня, второй—из кирпичей, а третий—из цельного кедрового дерева. Они поддерживали медный купол, покоившийся на двадцати четырех колоннах из можжевельного дерева, с которых опускались гирляндами сплетенные между собой бронзовые цепочки. Это высокое здание поднималось высоко над строениями, тянувшимися справа, кладовыми, торговым домом; дворец жен-

щин высился в глубине, за кипарисами, прямыми, как две бронзовые стены.

Когда грохотавшая колесница в'ехала в узкие ворота она остановилась под широким навесом, где лошади, очутившись на привязи, стали есть приготовленную охапками свеже скошенную траву.

Все слуги выбежали навстречу хозяину; их было множество, ибо рабы, обыкновенно работавшие в полях, привезены были теперь обратно в Карфаген из страха перед наемниками. Землепашцы, одетые в звериные шкуры, тащили за собой цепи, прикованные к их щиколоткам; у рабочих, занятых добыванием пурпура, руки были красные, как у палачей; моряки были в зеленых шапках; рыбаки носили коралловые ожерелья; у охотников были перекинуты через плечо сети; жители Мегары были в белых или черных туниках, в кожаных панталонах, соломенных, войлочных или полотняных шапочках, смотря по их службе и ремеслу.

Сзади надвигалась толпа людей в лохмотьях. Они жили, не имея определенных занятий, вдали от дома, спали почью в садах, питались кухонными отбросами; то была человеческая плесень, прозябавшая под сенью дворца. Гамилькар терпел их более из осмотрительности, нежели из презрения. Все в знак радости воткнули цветок за ухо, хотя многие никогда его не видали.

Но тотчас же явились люди в сфинксообразных головных уборах, с большими палками в руках, и бросились в толпу, рассыпая удары направо и налево. Они, таким образом, отгоняли рабов, сбежавшихся взглянуть на господина, для того, чтобы они не напирали на него и не раздражали его своим запахом.

Все пали ниц, распростираясь на земле, и кричали:

— Око Ваала, да процветает твой дом!

Проходя среди этих людей, лежащих на земле в аллее кипарисов, главный управляющий дворца, Абдалоним, с белой митрой на голове, приблизился к Гамилькару, держа в руке кадильницу.

Саламбо в это время сходила по лестнице галер. Все женщины следовали за нею, спускаясь позади ее со сту-

пеньки на ступеньку. Головы негритянок выделялись черными пятнами среди повязок, украшенных золотыми бляхами, на головах римлянок. У некоторых виднелись в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки, расположенные в виде солнца. Среди всех этих желтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахрома и браслеты. Слышался шелест легких тканей; стучали сандалии, и раздавался глухой стук босых ног, ступающих по дереву; высокие евнухи, плечи которых возвышались над толпою, улыбались, подняв головы. Когда стихли крики мужчин, женщины, закрывая лица рукавами, испустили все вместе странный крик, подобный вою волчиц, такой бешеный и острый, что большая лестница из черного дерева, вся покрытая женщинами, зазвенела точно лира.

Ветер приподнимал их покрывала, и тонкие стебли папируса тихо покачивались. Был месяц шебаз, середина зимы. Цветущие гранатовые деревья выступали на синеве неба, и среди ветвей виднелось море, а в глубине его остров, исчезавший в тумане.

Гамилькар остановился, заметив Саламбо. Она родилась у него после смерти нескольких сыновей. Рождение девочек считалось вообще несчастием у всех солнцепоклонников. Боги послали ему после нее сына, но в душе его все же остался след обманутой надежды, а также след проклятья, которое он произнес при рождении дочери. Саламбо шла к нему навстречу.

Разноцветные бусы спускались длинными гроздьями с ее ушей на плечи и до локтей; волосы ее курчавились на подобие облака. На шее она носила маленькие золотые квадратики с изображением на каждом из них женщины между двумя поднявшимися на дыбы львами; одежда ее была полным воспроизведением убранства богини. Лиловое платье с широкими рукавами стягивало ей талию, расширяясь книзу. Ярко накрашенные губы усиливали белизну зубов, а насурмленные веки удлиняли ее глаза. Сандалии из птичьих перьев были снабжены высокими каблуками. Она была чрезвычайно бледна, вероятно, вследствие холода.

Наконец, она подошла к Гамилькару и, не глядя на него, не поднимая головы, сказала ему:

— Приветствую тебя, око ваалов! Вечная слава тебе! Победа! Покой! Довольство! Богатство! Давно уже сердце мое печалилось, и дом твой томился. Но возвращающийся домой господин подобен воскресшему Тамузу; под твоим взором, отец, расцветет радость и новая жизнь! —Взяв из рук Таанах маленький продолговатый сосуд, в котором дымилась смесь муки, масла, кардамона и вина, она сказала:—Выпей питье, приготовленное служанкой твоей в честь твоего возвращения!

— Будь благословенна!—ответил он и машинально взял в руки золотую чашу, которую она протягивала ему.

Но он посмотрел на нее при этом так пристально, что Саламбо взволнованно проговорила:

— Тебе сказали, господин...

— Да, я знаю!—тихо проговорил Гамилькар.

Было ли это признание? Или же она говорила о варварах? Он прибавил несколько неопределенных слов о государственных осложнениях, которые надеялся преодолеть один, без чужой помощи.

— О, отец!—воскликнула Саламбо.—Ты не сможешь поправить непоправимого!

Он отступил, и Саламбо удивилась его ужасу; она не думала о Карфагене, а лишь о том святотатстве, в котором была соучастницей. Этот человек, от вида которого дрожали легионы и которого она едва знала, пугал ее, как божество; он все знал, он обо всем догадался, и сейчас должно было произойти нечто ужасное.

— Пощади!—воскликнула она.

Гамилькар медленно опустил голову.

Хотя она и хотела сознаться в своей вине, но не решалась открыть уста; а вместе с тем она задыхалась от потребности говорить о своем горе и обрести утешение. Гамилькар боролся с желанием нарушить свою клятву; он держал ее из гордости или из боязни утратить возможность сомневаться; он смотрел ей в лицо, напрягая всю душу, чтобы понять, что она прячет в глубине сердца.

Саламбо, задыхаясь, прятала голову в плечи, уничтоженная тяжелым взглядом отца. Он был убежден, что она отдалась варвару, и весь дрожал, подняв кулаки. Она испустила крик и упала на руки женщин, окружающих ее.

Гамилькар повернулся к ней спиной и пошел, сопровождаемый всей свитой.

Слуги открыли двери кладовых, и он вошел в большую круглую комнату, куда сходились, как спицы колеса к середине, длинные проходы, которые вели в другие комнаты. Каменный диск возвышался в центре, окруженный перилами, которые поддерживали подушки, наваленные кучей на ковры.

Суффет стал ходить большими быстрыми шагами; он шумно дышал, топал об землю каблуками и проводил рукой по лбу, точно отгоняя назойливых мух. Потом он покачал головой и, глядя на груды своих богатств, успокоился; при виде далеких проходов, он мысленно стал обозревать другие залы, полные редкостными сокровищами; бронзовые плиты, слитки серебра и полосы железа чередовались с кругами из олова, привезенными из Касситерид по темному морю; разнородная смола, доставленная из стран, обитаемых чернокожими, выступала из мешков из пальмовой коры. Золотой песок, наполнявший меха, незаметно уплывал через потертые швы. Тонкие волокна, извлеченные из морских трав, висели между льном из Египта, Греции, Тапробана и Иудеи; кораллы поднимались большими кустами у подножья стен; в воздухе носился неопределимый запах, состоявший из испарений духов, кожи, пряностей и страусовых перьев, свисавших большими пучками со свода. Перед каждым проходом слоновые клыки, поставленные стоймя и соединенные концами, составляли арку над дверью.

Наконец, он поднялся на каменный диск. Все его управляющие скрестили руки и опустили головы; только Абдалоним гордо поднимал свою остроконечную митру.

Гамилькар стал расспрашивать начальника кораблей. Это был старый моряк с вывороченными ветрами веками; огромные белые хлопья спускались у него до бедер, словно на бороде его осталась пена от бурь.

Он ответил, что отправил флот через Гадес и Тимиамату, для того, чтобы он мог достигнуть Эзионгабера, обогнув Южный рог и мыс Ароматов.

Другие корабли продолжали путь на запад, и в течение четырех месяцев не видели берега; передние части их кораблей застревали в травах, на горизонте звенели водопады, туманы кровавого цвета затемняли солнце, ветер, отягощенный ароматами, усыплял матросов, и теперь они не могли ничего рассказать: до того память их ослабла. Все же они поднялись на своих кораблях вверх по скифским рекам, проникли в Колхиду к югрийцам, к эстам, похитили в Архипелаге тысячу пятьсот дев и потопили все чужеземные корабли, переплывшие за мыс Эстримона, для того, чтобы не обнаружилась тайна путей. Царь Птоломей владел шезбарским ладаном; Сиракузы, Эллатия, Корсика и острова ничего не дали, и старый моряк, понизив голос, сообщил, что одна трирема была захвачена в Рузикаде нумидийцами.

— Ибо они на их стороне, господин.

Гамилькар нахмурил брови. Потом он знаком потребовал отчета у начальника путешествий, одетого в коричневое платье без пояса, с длинным белым шарфом на голове, конец которого, обходя вокруг рта, падал сзади на плечо.

Начальник путешествий сообщил, что караваны выступили, как им полагалось, в зимнее равноденствие. Но из тысячи пятисот человек, направившихся в глубь Эфиопии с отличными верблюдами, с новыми мехами и с большими запасами крашеного холста, один только вернулся в Карфаген. Все остальные умерли от усталости, или лишились разума от ужаса перед пустыней. Уцелевший человек сказал, что вдали за черным Гарушем, за Атарантами и страной великих обезьян он видел огромные царства, где все предметы обихода до малейшего сделаны из золота, где течет река молочного цвета, широкая, как море, где есть леса с синими деревьями, холмы ароматов и чудовища с человеческими лицами, живущие на скалах. Глава их распускаются, как цветы, глядя на приходящих; далее. за озерами, покрытыми драконами, возвышаются хрустальные горы, поддерживающие солнце.

Другие вернулись из Индии с павлинами, перцем и новыми тканями. Что касается тех, которые отправились покупать халцедон по пути Сиртов и храма Амона, то они, наверное, погибли в песках. Караваны Гетулии и Фецана доставили свою обычную добычу, но теперь он, начальник путешествий, не решался снаряжать новые караваны.

Гамилькар понял, что все вокруг было занято наемниками. Он оперся с глухим стоном на другой локоть. Начальник ферм так боялся говорить, что весь дрожал, несмотря на свою коренастую фигуру и красные зрачки. Его курносое лицо, походившее на морду бульдога, обмотано было сетью из древесной коры; он носил пояс из леопардовой шкуры, за которым сверкали два страшных ножа.

Как только Гамилькар обернулся, он стал с криком призывать всех ваалов. Не его вина! Он ничего не мог сделать! Он сообразовался с температурой, со звездами, делал посевы в зимнее солнцестояние, следил за рабами, берег их одежду.

Но Гамилькар раздражался его болтливостью. Он щелкнул языком, и человек с ножами стал торопливо заканчивать свой отчет:

— Они все разграбили, господин! Все изломали, все уничтожили! Три тысячи деревьев срублены в Маршале; в Убаде взломаны амбары, засыпаны цистерны. В Тедесе они увезли тысячу пятьсот гоморов муки; в Марацане убили пастухов, съели стада, сожгли твой дом, твой чудный дом из кедровых балок, куда ты приезжал на лето. Рабы Тубурбо, которые жали ячмень, убежали в горы; что же касается ослов, онагров, мулов, таорминских быков и органских лошадей, то ни одного не осталось! Всех увели! Это сущее проклятие, и я его не переживу!

Он продолжал, плача:

— Если бы ты знал, как полны были погреба и как сверкали плуги! Какие чудные бараны, какие дивные быки!..

Гнев душил Гамилькара, и он перестал сдерживать себя:

— Молчи! Разве я бедняк? Не смейте лгать! Говорите правду! Я хочу знать свои потери до последнего сикля.

до последнего каба. Абдалоним, принеси мне счета кораблей и караванов, а также счета ферм и дома. И если ваша совесть не чиста—горе вам! Ступайте!

Все заведующие вышли, пятясь задом и опустив руки до земли.

Абдалоним вынул из ящика, вделанного в стену, веревки с узлами, полоски полотна и папируса, бараньи лопатки, исписанные мелким письмом. Все это он сложил к ногам Гамилькара, потом дал ему в руки деревянную раму с натянутыми внутри тремя нитями, на которые надеты были шары—золотой, серебряный и роговой. Затем он начал:

— Сто девяносто два дома в Маппалах, отданные в наем новым карфагенянам по одному беку в месяц.

— Нет, это слишком много. Щади бедных! И запиши имена тех, которые покажутся тебе наиболее отважными, при чем постарайся узнать, преданы ли они республике. Продолжай!

Абдалоним колебался, удивленный этой щедростью.

Гамилькар вырвал у него из рук полотняные полосы.

— Что, что? Три дворца вокруг Камона по тринадцати кесситов в месяц! Поставь двадцать. Я не желаю, чтобы богатые пожирали меня.

Главный заведующий продолжал, отвесив низкий поклон.

— Даны в долг Тигеласу, до конца сезона, два киттара по три гроша, обычный морской процент; Бар-Малькарту—тысяча пятьсот сиклей под залог тридцати рабов. Но двенадцать из них умерли в соляных болотах.

— Не сильны же они были!—сказал со смехом суффет.—Все равно, если ему нужны деньги, давай ему. Нужно всегда давать взаймы под разные проценты, смотря по богатству людей.

Абдалоним поспешил прочесть о доходах, которые принесли железные рудники Аннабы, коралловая ловля, завод пурпура, налог на живущих в Карфагене греков, вывоз серебра в Аравию, где оно стоило в десять раз

больше золота, захват кораблей, за вычетом десятины на храм богини.

— Я каждый раз об'являл на четверть меньше, господин!

Гамилькар считал на шарах, которые звенели под его пальцами.

— Довольно! Что ты платил?

— Стратониклесу коринфскому и трем александрийским купцам вот по этим письмам (они возвращены) десять тысяч афинских драхм и двенадцать талантов сирийского золота. Пища матросов стоила по двадцать мин в месяц на трирему...

— Я знаю. Сколько потеряно?

— Вот счет на этих свинцовых полосах,—сказал Абдалоним.—Что касается кораблей, зафрахтованных сообща, то, так как приходилось часто бросать груз в море, неравные потери были распределены по числу участников. За снасти, которые взяты были на прокат из арсенала и которые невозможно было вернуть, сисситы потребовали по восемьсот касситов перед походом на Утику.

— Опять они!—сказал Гамилькар, опустив голову. Несколько минут он сидел, раздавленный тяжестью общей злобы против него.—Но где же мегарские расходы?—спросил он.—Я их не вижу.

Абдалоним, побледнев, взял из другого ящика дощечки из дикой смоковницы, связанные по пачкам кожаными веревками.

Гамилькар слушал его, интересуясь подробностями домашнего хозяйства и успокаиваясь от однообразного голоса, перечислявшего цифры. Абдалоним стал говорить медленнее. Вдруг он бросил на пол деревянные дощечки и сам распростерся на земле, вытянув руки, в позе осужденного. Гамилькар спокойно поднял дощечки; губы его раскрылись, и глаза расширились, когда он увидел помеченными в счете расхода за один день огромные количества мяса, рыбы, дичи, вина и благовоний, а также много разбитых ваз, умерших рабов, испорченных ковров.

Абдалоним, продолжая лежать на земле, рассказал ему

про пир варваров. Он не мог ослушаться старейшин. Саламбо тоже требовала, чтобы он не жалел денег и принял воинов как можно лучше.

При имени дочери Гамилькар вскочил. Потом, сжав губы, он сел на подушки и стал обрывать их бахрому, задыхаясь, устремив в пространство неподвижный взгляд.

— Встань!—сказал он и спустился вниз.

Абдалоним последовал за ним; колени его дрожали. Но, схватив железный прут, он стал с неистовством взламывать пол. Один из деревянных дисков поддался, и под ним обнаружилось несколько широких крышек, которые замыкали ямы, куда складывали хлеб; такие крышки тянулись вдоль всего коридора.

— Видишь, око Ваала,—сказал служитель, весь дрожа:—они еще не все взяли! Каждая из этих ям имеет в глубину пятьдесят локтей, и все они наполнены до верха. Во время твоего отсутствия много таких ям было вырыто по моему приказу в арсеналах, в садах, повсюду! Твой дом полон хлеба, как твое сердце полно мудрости.

Улыбка пробежала по лицу Гамилькара:

— Хорошо, Абдалоним!—проговорил он. Потом, наклонившись, он сказал ему на ухо:—Вывези еще из Этрурии, из Бруциума, откуда хочешь и по какой угодно цене. Накопи и спрячь все, что достанешь. Нужно, чтобы я один скопил у себя весь хлеб Карфагена.

Потом, когда они дошли до конца прохода, Абдалоним открыл одним из ключей, висевших у него на поясе, большую четырехугольную комнату, разделенную посредине кедровыми колоннами. Золотые, серебряные и медные монеты, наваленные на столах или уложенные в нишах, поднимались вдоль четырех стен до кровельных подборов. В огромных корзинках из гиппопотамовых шкур лежали в углах целые ряды маленьких мешков; разменные монеты навалены были кучами на полу: рассыпавшиеся местами слишком высокие груды имели вид разрушенных колонн. Большие карфагенские монеты, изображавшие Таниту с лошадью под пальмой, смешивались с монетами колоний, носившими изображения быков, звезд, шара или полумесяца. Далее рас-

положены были неровными кучами монеты разных достоинств, разных размеров, разных эпох—начиная со старых ассирийских, тонких, как ноготь, до старых латинских, более толстых, чем рука, от эллинских монет в виде пуговиц до бактрианских дощечек и коротких прутьев древней Лакедемонии; многие были покрыты ржавчиной, грязью, позеленели от воды, почернели от огня, захваченные в сети или найденные после осады какого-нибудь города, среди развалин. Суффет быстро подсчитал, соответствуют ли наличные суммы представленным ему счетам доходов и потерь; перед самым уходом он увидел три медных кувшина, совершенно пустых. Абдалоним отвернул голову с выражением ужаса, а Гамилькар, примирившись с потерями, ничего больше не сказал.

Они прошли еще по нескольким проходам и залам и пришли, наконец, к двери, на страже которой привязан был человек за живот к длинной цепи, вделанной в стену; это был римский обычай, недавно введенный в Карфаген. Борода и ногти пленного стража чрезмерно отросли, и он покачивался направо и налево, как зверь в клетке. Завидев Гамилькара, он бросился к нему и стал кричать:

— Сжалься надо мной, око Ваала! Сжалься и умертви меня! Вот уже десять лет, как я не видел солнца! Во имя твоего отца, сжалься надо мной!

Гамилькар, не отвечая ему, ударил несколько раз в ладони; появились три человека, и все четверо сразу, напрягая силы, вынули из колец огромный засов, замыкавший дверь. Гамилькар взял факел и исчез во мраке.

Предполагалось, что там находились семейные гробницы; на самом же деле там был только большой колодец. Он был вырыт, чтобы обмануть ожидания воров, и в нем не было ничего спрятано. Гамилькар обошел его; потом, наклонившись, он повернул на валиках огромный жернов и проник через это отверстие в конусообразное помещение.

Стены были покрыты медной чешуей; посредине, на гранитном пьедестале, возвышалась статуя Кабира с именем Алета, изобретателя руды в Кельтиберии. У под-

ножья статуи расположены были крестообразно большие золотые щиты и гигантские серебряные вазы с закрытыми горлышками, странной формы, совершенно негодные для употребления; много металла отливалось в такие формы для того, чтобы сделать невозможным грабеж сосудов и даже перемещение их с места на место.

При помощи своего факела он зажег рудниковую лампу, прикрепленную к головному убору идола; зеленые, желтые, синие, фиолетовые, винного и кровавого цвета огни осветили вдруг зал. Он был полон драгоценных камней, расположенных в похожих на бутылочную тыкву золотых вместилищах, прикрепленных, на подобие лампад, к медным стержням или лежавших вдоль стен в родимых горных породах. Там были кальцисы, вырванные из недр горы с помощью лома, карбункулы, образовавшиеся из мочи рысей, глоссопетры, упавшие с луны, тианы, алмазы, сандастры, берилы, три рода рубинов, четыре породы сапфиров и двенадцать разновидностей изумруда. Камни сверкали, подобные брызгам молока, синим льдинкам, серебряной пыли, и бросали свои огни пеленами, лучами, звездами. Рыбьи зубы, порожденные громом, сверкали рядом с халкедонами, исцеляющими от яда. Там были еще топазы с горы Забарки для предотвращения ужасов, бактрианские опалы, спасавшие от выкидышей, и рога Аммона, которые нужно было класть под кровать, чтобы вызвать сны.

Огни камней и свет лампы отражались в больших золотых щитах. Гамилькар улыбался, стоя и скрестив руки; он наслаждался не столько самым зрелищем, как сознанием своего богатства. Сокровища его были недоступны, неисчерпаемы, бесконечны. Его предки, спавшие под его ногами, отдавали его сердцу частицу своей вечности. Он чувствовал себя близким подземным духам. То было подобие радости Кабира; светлые лучи, касавшиеся его лица, казались ему концом невидимой сети, которая через бездны привязывала его к центру мира.

Но мелькнувшая у него вдруг в голове мысль вызвала в нем дрожь, и, став позади идола, он направился прямо

к стене. Потом он стал рассматривать среди татуировки на своей руке горизонтальную линию с двумя другими, перпендикулярными, что означало на ханаанском счислении число тринадцать. Он пересчитал до тринадцатой медные дощечки и еще раз поднял свой широкий рукав; вытянув правую руку, он прочел на другом месте руки другие линии, более сложные, нежно проводя по ним пальцами, на подобие игры на лире. Наконец, он ударил семь раз большим пальцем; и целая часть стены сразу повернулась.

Она скрывала склеп, в котором хранилось много таинственного, безыменного и безгранично драгоценного. Гамилькар спустился по трем ступенькам, взял в серебряном тазу шкуру ламы, плававшую в черной жидкости, потом снова поднялся наверх.

Абдалоним опять пошел впереди него. Он ударял о плиты своей высокой палкой с колокольчиками на набалдашнике и перед каждым отделением громко произносил имя Гамилькара, сопровождая его хвалами и благословениями.

В круглой галлерее, куда сходились все проходы, нагромождены были вдоль стен бруски альгумина, мешки с лавзонией, лепешки из лемносской глины и черепаховые щиты, наполненные жемчугом. Суффет, проходя мимо, касался их своим платьем, не глядя даже на гигантские кусты амбры, вещества почти божественного, созданного лучами солнца.

Оттуда поднялся благоуханный пар.

— Толкни дверь!..

Они вошли.

Голые люди месили тесто, выжимали травы, мешали угли, разливали масло по кувшинам, открывали и закрывали маленькие продолговатые ячейки, выдолбленные вокруг стены и столь многочисленные, что все помещение походило на внутренность улья. Они были наполнены до края мироболаном, оделием, шафраном и фиалками. Повсюду виднелись камеди, порошки, корни, стеклянные пузырьки, ветки таволги, лепестки роз; трудно было дышать в этих душных ароматах, несмотря

на дым росного ладана, который тлел посередине на медном треножнике

Начальник сладких запахов, бледный и длинный, как восковая свеча, подошел к Гамилькару, растирая в своих руках пучек метопиона, в то время как двое других натирали ему пятки листьями комарника. Он оттолкнул их; это были киринейцы гнусных нравов но все же почитаемые за свои тайны.

Чтобы выказать свое усердие, начальник сладких запахов поднес суффету в ложке из янтаря попробовать немного маловатра; потом он проткнул шилом три индийских сосуда. Гамилькар, знавший все уловки мастеров, взял рог, полный бальзама, и, приблизив его к углям, наклонил бальзам над своим платьем; на платье показалось коричневое пятно—доказательство того, что бальзам был подделан. Тогда он пристально взглянул на начальника запахов и, ничего не говоря, бросил ему рог в лицо.

Несмотря, однако, на свое возмущение подделкой, совершенной с целью его обмануть, он взглянул на ящики нарда, приготовленные для отправки за море, и велел бросить туда сурьмы для увеличения веса.

Потом он спросил, где были три коробки псагаса, предназначенного для его собственного потребления.

Начальник запахов сознался, что он ничего не знает, что воины пришли с ножами, издавая вопли, и он открыл им свои помещения.

— Так ты их боишься больше, чем меня!—воскликнул суффет; и глаза его сверкнули сквозь дым, как факелы, устремившись на большого бледного человека, который стал понимать опасность.—Абдалоним! Прежде чем взойдет солнце, ты пропустишь его сквозь строй прутьев и разорвешь его на части!..

Этот убыток, менее значительный, чем другие, привел его в бешенство, ибо при всем желании не думать о варварах, он всюду натыкался на них. Их разнузданность смешивалась с позором его дочери, и он преисполнился гнева на всех в доме за то, что они знали о ее тайне и не сказали ему. Но какая-то внутренняя сила заставляла его все более углубляться в свое

несчастие. Охваченный бешеным желанием все разузнать, он осмотрел под навесами, позади торгового дома, запасы дегтя, дерева, якорей и снастей, меда и воска, склады тканей, запасы съестных предметов, мраморную мастерскую и чердак, где хранился сильфий.

Он прошел за сады, чтобы взглянуть в их хижинах на работу мастеровых, изготовлявших изделия, предназначенные для продажи. Портные вышивали плащи, другие занимались плетением сетей, иные разрисовывали подушки, выкраивали сандалии; рабочие из Египта полировали раковиной папирус, челнок ткачей неустанно щелкал, наковальни оружейных мастеров звонко гудели.

Гамилькар сказал им:

— Куйте мечи! Куйте их без устали. Мне они будут нужны.

Он вынул спрятанную на груди шкуру антилопы, пропитанную ядами, для того, чтобы ему изготовили из нее броню, более крепкую, чем медь, непроницаемую для огня и железа.

Как только он подошел к рабочим, Абдалоним, желая направить в другую сторону его гнев, старался возбудить его против них, ворча на их нерадивость.

— Какая негодная работа! Ты слишком добр к ним, господин.

Гамилькар, не слушая его, пошел дальше.

Он должен был замедлить шаги, ибо дороги были загромождены большими деревьями, обожженными во всю длину; такие деревья часто попадались в лесах, где располагались на ночлег пастухи; ограды были сломаны; вода в канавах высохла, и в грязных лужах виднелись осколки стекла и скелеты обезьян. На кустах повисли лоскутья материи; под лимонными деревьями сгнившие цветы лежали желтой, гниющей кучей. Слуги, действительно, побросали все на произвол судьбы, полагая, что господин не вернется более домой.

На каждом шагу он открывал какое-нибудь новое несчастие, новый след тех, о которых он решил не думать. Он загрязнил свои пурпурные башмаки, ступив на нечистоты. И он страдал от сознания, что не мог направить против этих людей катапульт, которые бы раз-

нес их на куски! Ему было стыдно, что он их защищал; его обманули, против него свершили предательство. И так как он не мог отомстить ни воинам, ни старейшинам, ни Саламбо, ни кому бы то ни было, а вместе с тем искал на ком бы выместить свой гнев, то он приговорил к работам в рудниках сразу всех садовых рабов.

Абдалоним дрожал каждый раз, когда Гамилькар приближался к паркам. Но суффет направился к мельнице, откуда доносились зловещие звуки.

Там вращались среди пыли тяжелые жернова, то-есть два порфирных конуса, один на другом, при чем верхний, снабженный воронкой, вертелся над нижним при помощи крепких стержней. Одни рабочие толкали жернов, напирая на него грудью, руками, а другие впряглись и тянули его. Трение лямки образовало у них под мышками гнойные пузыри, как на холке у ослов, и черные лохмотья, едва прикрывавшие тело, свисали им на ноги, как длинный хвост. Глаза у них были красные, цепи на ногах звенели, и они порывисто дышали все вместе. На рты у них были надеты прикрепленные двумя бронзовыми цепочками намордники для того, чтобы они не могли есть муку, и толстые рукавицы сжимали их руки для того, чтобы они не могли хватать муку пальцами.

При входе Гамилькара деревянные перекладины затрещали еще громче. Зерно скрипело, раздавленное жерновом. Несколько человек упали на колени, другие, продолжая работать, переступали через них.

Гамилькар позвал Гиденема, начальника над рабами. Тот явился, обнаруживая свой сан богатством одежд. Его туника с прорезами на боках была из тонкого пурпура, тяжелые серьги оттягивали уши, и, закрепляя полосы тканей, которыми были обвернуты его ноги, золотой шнур извивался от щиколоток до бедер, как змея вокруг дерева. Он держал в руках пальцами, унизанными кольцами, ожерелье из гагатовых зерен, при помощи которого отличали людей, подверженных священной болезни.

Гамилькар знаком велел ему снять намордники. Тогда все, с воем голодных зверей, бросились на муку и стали

ее пожирать, утк нувшись лицами в насыпанные груды муки.

— Ты доводишь их до изнеможения! — сказал суфет.

Гиденем ответил, что это единственное средство смирить их.

— Не стоило посылать тебя в Сиракузы, в школу рабов! Позови всех других!..

Повара, виночерпии, конюхи, скороходы, носители носилок, банщики и женщины с детьми — все выстроились в саду в ровную линию от торгового дома до загона диких зверей. Они затаили дыхание. Глубокое молчание наполняло Мегару. Солнце удлинялось над лагуной, у катакомб. Павлины жалобно кричали. Гамилькар шел медленным шагом.

— На что мне эти старики? — сказал он. — Продай их! Тут слишком много галлов; они пьяницы. И слишком много критян; они лгуны. Купи мне кападокийцев, азиатов и негров.

Он удивился малому числу детей:

— Нужно, чтобы каждый год рождались дети в доме, Гиденем. Оставляй на ночь открытыми двери из домов для свободы сношений.

Затем он велел указать ему на воров, лентяев, мятежников. Он распределил наказания, обращаясь с упреками к Гиденему; и Гиденем, как бык, опустил низкий лоб, на котором скрещивались густые брови.

— Посмотри, око Ваала, — сказал он, указывая на сильного ливийца, — вот этого схватили с веревкой на шее.

— Ты хочешь умереть? — презрительно спросил суфет.

Раб бестрепетно ответил:

— Да.

Тогда, не думая ни о плохом примере для других, ни о денежной потере, Гамилькар сказал слугам:

— Унеси его!

Может быть, у него мелькнуло желание принести искупительную жертву. Он сам навлек на себя несча-

стие, чтобы этим предупредить более грозные беды. Гиденем спрятал калек позади других. Гамилькар увидел их.

— Кто тебе отрубил руку?

— Воины, око Ваала.

Потом он спросил самнита, который шатался, как раненая птица:

— А тебя кто искалечил?

Оказалось, что ему сломал ногу начальник железной палкой. Эта бессмысленная жестокость возмутила суффета, и, вырвав из рук Гиденема гагатовое ожерелье, он крикнул:

— Проклятье собаке, которая ранит стадо. Калечить рабов, помилуй Танита! Ты разоряешь своего господина. Задушить его в навозной куче! А те, которых недостает, где они? Это ты убил их вместе с воинами?

Лицо его было такое страшное, что все женщины разбежались. Рабы, отступив назад, образовали большой круг, посредине которого они остались вдвоем. Гиденем неистово целовал его сандалии. Гамилькар стоял, подняв на него руку.

Но, сохранив ясность мыслей, как в разгаре битвы, он вспоминал все гнусности, от которых отворачивался, и при свете своего гнева, как при сверкании молнии, он увидел сразу все свои несчастия. Правители деревень убежали от страха перед воинами, быть может, по соглашению с ними. Все его обманывали. Он слишком долго сдерживал свой гнев.

— Привести их сюда! — крикнул он. — Заклеймить им лбы раскаленным железом, как трусам!

Тогда принесли и разместили среди сада оковы, железные ошейники, ножи, цепи для приговоренных к работам в рудниках, колодки для сжимания ног, клешни для сжимания плеч, а также скорпионы, кнуты о трех плетях, заканчивающихся медными крючками.

Всех подлежащих наказанию поставили против солнца, со стороны Молоха-всепожирателя, положили наземь на живот или спину, а приговоренных к бичеванию приставили к деревьям с двумя людьми около них, одних — для счета ударов, и других — для нанесения их.

Бичующий ударял обеими руками; бичи, свистя, срывали кору платанов. Кровь брызгала дождем на листья, и окровавленные тела извивались с воем у корней деревьев. Те, которых клеймили железом, разрывали себе лицо ногтями. Слышен был треск железных винтов; раздавались глухие толчки; иногда воздух оглашался вдруг пронзительным криком. Со стороны кухонь, среди разодранных одежд и содранных волос, люди раздували огонь опахалами, и слышался запах горелого тела. Истязуемые, ослабевая, но сдерживаемые привязанными руками, вращали головы на плечах, закрывая глаза. Другие, которые глядели, стали испускать вопли ужаса, и львы, вспоминая, быть может, о пире, зевая, расположились у края рвов.

Тогда покавалась Саламбо на своей террасе. Она в ужасе бегала из конца в конец. Гамилькар увидел ее. Ему показалось, что она простирает к нему руки с мольбой о пощаде. Он с ужасом проник в чащу слонов.

Слоны составляли гордость больших карфагенских домов. Они носили на себе предков, побеждали в войнах и их почитали, как любимцев солнца.

Мегарские слоны были самые сильные в Карфагене. Гамилькар взял перед отъездом клятву с Абдалонима в том, что он будет беречь их, но они умерли искалеченные; остались только трое, и они лежали среди двора в пыли перед обломками своих ясель.

Они узнали его и подошли к нему. У одного были страшно разрублены уши, у другого была большая рана на колене, а у третьего отрезан был хобот.

Они смотрели на него грустным, разумным взглядом; тот, который лишился хобота, наклонил огромную голову и согнул колени, нежно гладя его уродливым обрубком хобота.

При этой ласке слона слезы потекли у него из глаз. Он бросился на Абдалонима.

— Презренный! Распять его! Распять!

Абдалоним, лишаясь чувств, упал навзничь на землю. Из-за фабрик пурпура, откуда медленно поднимался к небу синий дым, раздался лай шакала; Гамилькар остановился.

Мысль о сыне, точно прикосновение бога, сразу его успокоила. Сын был продолжением его силы, бесконечным продлением его существа. Рабы не понимали, почему он вдруг затих.

Направляясь к фабрикам пурпура, он прошел мимо эртастула, длинного здания из черного камня, выстроенного в четырехугольном рву с маленькой дорожкой кругом и с четырьмя лестницами по углам. Идибал, повидимому, ждал ночи, чтобы снова подать знак. «Еще, значит, не поздно», подумал Гамилькар и спустился в тюрьму. Несколько человек крикнули ему: «вернись»! Наиболее отважные последовали за ним.

Открытая дверь хлопала на ветру. Сумерки проникали в узкие бойницы, и внутри видны были сломанные цепи, висевшие на стенах. Это было все, что осталось от военнопленных.

Гамилькар страшно побледнел, и те которые склонились надо рвом, увидели как он уперся рукой об стену, чтобы не упасть.

Но шакал прокричал три раза к ряду. Гамилькар поднял голову. Он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Потом, когда солнце село, он исчез за изгородью кактусов и вечером, на собрании богатых в храме Эшмуна, произнес входя:

— Светочи ваалов, я принимаю начальство над карфагенскими войсками против варваров!

МАКАРСКАЯ БИТВА.

На следующий же день Гамилькар взял с сисситов двести двадцать три тысячи кикаров золота и назначил налог в четырнадцать шекелей с богатых. Даже женщинам пришлось вносить свою долю; налог взимался и за детей, и, что было самым невероятным для карфагенских привычек, он принудил к уплате подати даже священнические коллегии. Он потребовал всех лошадей, всех мулов, все оружие. Некоторые хотели скрыть свое богатство, — их имущество было продано. Чтобы бороться против скупости других, он сам дал шестьдесят вооружений и тысячу пятьсот гоморов муки, то-есть столько же, сколько все товарищество торговцев слоновой костью. Он послал в Лигурию купить солдат, три тысячи горцев, привыкших ходить на медведей; им заплатили вперед за шесть месяцев по четыре мины в день.

Все же нужна была армия. Но он не принимал в солдаты, как это делал Ганнон, всех граждан. Он отвергал сначала людей сидячего образа жизни, затем людей с толстыми животами или трусливых с виду; но зато он принимал обесчещенных людей, чернь Малки, сыновей варваров, вольноотпущенных; в награду он обещал новым карфагенянам полное право гражданства.

Первой его заботой было преобразование Легиона. Эти красивые молодые люди, которые считали себя военной славой республики, пользовались полным самоуправлением. Он сместил их начальников, стал сурово обращаться с ними, заставляя их бегать, прыгать, бежать вверх единым духом по под'ему Бирсы, метать копья,

бороться, спать ночью на площадях. Семьи их приходили к ним и жалели их.

Он заказал более короткие мечи, более толстые сапоги, точно определил число слуг и уменьшил дозволенное количество клади; и так как в храме Молоха хранились триста римских метательных копий, то он забрал их, несмотря на протесты главного жреца.

Вместе с теми, которые вернулись из Утики, и другими, находившимися у частных владельцев, он составил фалангу из семидесяти двух слонов и сделал ее чрезвычайно грозной. Он вооружил каждого погонщика молотом и долотом, чтобы они могли во время битвы раскроить череп слону, если тот взбесится. Он не пожелал, чтобы начальники выбирались Великим Советом. Старейшины пытались указывать ему на законы, но он не считался с этим; никто не решался более роптать, все покорялись его властному духу.

Он взял на себя заведывание войной, общее управление и финансы; для предупреждения нареканий он потребовал, однако, чтобы счета его поверял суффет Ганнон.

Он назначил работы на укреплениях и для того, чтобы иметь достаточно камней, приказал снести старые внутренние стены, ставшие ненужными. Но различие состояний, заменив племенную иерархию, продолжало отделять сыновей побежденных от сыновей победителей. Патриции поэтому смотрели с раздражением на разрушение этих развалин, а народ, сам не зная почему, радовался.

Вооруженные отряды с утра до вечера ходили по улицам; каждое мгновение раздавался звук труб; на колесницах везли щиты, палатки, пики; дворы были полны женщин, которые раздирали холст; всех охватывало возрастающее рвение; душа Гамилькара наполняла республику.

Он разделил воинов на четное количество и разместил их рядами так, чтобы сильные чередовались со слабыми и наименее отважные и наиболее малодушные двигались вперед под напором других. Но из своих трех тысяч лигуров и лучших воинов Карфагена он смог со-

ставить только простую фалангу из четырех тысяч девяноста шести гоплитов, вооруженных бронзовыми касками и деревянными копьями длиною в четырнадцать локтей.

Две тысячи молодых людей вооружены были пращами и кинжалами и носили сандалии. Он присоединил к ним еще восемьсот воинов, вооруженных круглыми щитами и римскими мечами.

Тяжелая кавалерия состояла из тысячи девятисот прежних легионеров, одетых в латы из золоченой бронзы, наподобие ассирийских клинабаров. Кроме того, у него было еще четыреста конных стрелков из так называемых тарентинцев, в шапках из меха ласки, с двуострыми топорами и в кожаных туниках. Наконец, тысяча двести негров из квартала караванов, смешиваясь с клинабарами, научены были бежать рядом с жеребцами, придерживаясь одной рукой за их гриву. Все было готово, но Гамилькар все еще не выступал.

Он часто ночью выходил из Карфагена один и уходил за лагуны к устьям Макара.

Не думал-ли он соединиться с наемниками?

Лигуры, расположившиеся на Маппалах, окружали его дом.

Опасения богатых как-будто оправдались, когда однажды триста варваров подошли к стенам. Суффет открыл им ворота. То были перебежчики; они шли к своему повелителю, гонимые страхом или из верности.

Возвращение Гамилькара не удивило наемников; они считали, что он не мог умереть. Он возвращался, чтобы исполнить свои обещания: эта надежда не была слишком неосновательной, до того глубока была пропасть между отечеством и войском. К тому же, они не сознавали за собой вины; все забыли про пир.

Шпионы, которых они перехватили, разрушили их иллюзии. Это было торжеством для наиболее воинственно-настроенных, и даже наиболее кроткие пришли в бешенство. К тому же обе осады навели на них скуку никакой перемены не предвиделось. Уж лучше бы вступить в настоящую битву! И много людей поэтому отбивались от войска и бродили по окрестностям. При изве-

стии о начавшемся снова вооружении они вернулись. Мато прыгал от радости.

— Наконец-то, наконец!—восклицал он.

Гнев, который он чувствовал против Саламбо, обратился теперь на Гамилькара. Его ненависть, наконец, обратилась на определенное лицо. И так как ему теперь легче было представить себе, в чем должна была состоять месть, то он уже почти поверил в нее и радовался. В то же время им овладело более высокое чувство и более острое желание. Он попеременно видел себя то среди воинов, поднимающим на копье голову суффета, то в комнате с пурпурным ложем, сжимающим в об'ятиях деву, покрывающим ее лицо поцелуями, проводящим рукою по ее густым черным волосам; и эта мечта, неисполнимость которой была ему ясна, мучила его. Он поклялся себе, так как товарищи провозгласили его шалишимом, вести самому войну; твердая уверенность, что он не вернется с этой войны, побуждала его сделать ее беспощадной.

Он явился к Спендию и сказал ему:

— Возьми своих людей, а я возьму своих! Предупреди Автарита. Мы погибли, если Гамилькар нападет на нас. Слышишь? Вставай!

Спендий был поражен его начальническим видом. Мато обыкновенно подчинялся ему, и если у него бывали вспышки гнева, то они быстро проходили. Но теперь он казался одновременно и более спокойным и более страшным. Гордая воля сверкала в его глазах, как пламя жертвенника.

Грек не соглашался с его доводами. Он жил в одной из карфагенских палаток с жемчужной каймой, пил освежительные напитки из серебряных чаш, играл в коттаб, отпустил волосы и вел осаду очень медлительно. К тому же у него были тайные сношения с городом, и он не хотел уезжать, уверенный, что ему через несколько дней откроют ворота.

Нар-Гавас, который скитался между тремя войсками, находился как раз около него. Он подтвердил его мнение и даже выразил порицание ливийцу за то, что тот

чрезмерной отвагой мешает им завершить их предприятие.

— Уходи от нас, если ты боишься! — воскликнул Мато.—Ты обещал нам смолу, серу, слонов, пехоту и лошадей. Где же они?

Нар-Гавас напомнил ему, что он истребил последние когорты Ганнона. Что касается слонов, то на них охотятся в лесах, пехоту вооружают, а лошади уже в пути; и нумидиец, поглаживая страусовое перо, спускавшееся ему на плечо, вращал глазами, как женщина, и раздражающим образом улыбался. Мато не знал, что ему ответить.

Но вдруг вошел человек, никому неведомый, весь в поту, растерянный, с окровавленными ногами, с распущенным поясом; быстрое дыхание вздымало его худощавую грудь, которая, казалось, не выдерживала напора воздуха. Говоря на непонятном наречии, он широко раскрыл глаза, как бы рассказывая про какую-то битву. Нар-Гавас выскочил и позвал своих всадников.

Они выстроились в равнине, образуя круг перед ним

Нар-Гавас, сидя на лошади, опустил голову и кусал себе губы. Наконец, он разделил своих людей на две половины и велел первой ждать его; потом, властным жестом призывая других за собой, он исчез на горизонте по направлению к горам.

— Господин!—проговорил Спендий,—мне не нравится эта странная случайность: суффет вернулся, и Нар-Гавас оставляет нас...

— Не все-ли равно?—презрительно возразил Мато.

Это было еще одним лишним основанием предупредить Гамилькара, соединившись с Автаритом. Но если прекратить осаду городов, то их жители, наверное, выйдут, нападут сзади; а спереди перед ними будут карфагеняне. После долгих переговоров следующие меры были решены и тотчас же приведены в исполнение.

Спендий с пятнадцатью тысячами воинов отправился к мосту, построенному на Макаре в трех милях от Утики. По четырем углам моста соорудили для охраны его четыре огромные башни, снабженные катапультами. С

помощью срубленных деревьев, осколков скал, плетений из терновника и каменных стен загородили в горах все дороги, все лощины; на вершинах сложили кучами травы для сигнальных огней; там же поместили на некотором расстоянии одного от другого зорких пастухов.

Конечно, Гамилькар не пойдет, как Ганнон, горой Теплых Вод; он, конечно, сообразит, что Автарит, владея позицией, загородит ему путь. К тому же неудача в начале кампании погубила бы его, между тем как победа повела бы к дальнейшим битвам, так как наемники находились дальше. Он мог еще высадиться у Виноградного Мыса и оттуда пойти на один из городов. Но тогда он очутился бы между двумя войсками, а это было бы неосторожно при его немногочисленных силах. Следовательно, он должен будет идти низом вдоль Арианы, потом повернуть налево, чтобы обойти устье Макара, а затем пройти прямо к мосту. Там Мато и ждал его.

Ночью, при свете факелов, он следил за работами землекопов, бегал в Гиппо-Зарит, наблюдая за работами в горах, потом возвращался обратно, не зная отдыха. Спендий завидовал его силе; но что касалось сношений со шпионами, выбора часовых, пользования машинами и всеми орудиями обороны, то во всем этом Мато кротко повиновался своему товарищу. Они не говорили более о Саламбо. Один перестал о ней думать, а другого удерживала стыдливость.

Мато часто направлялся в сторону Карфагена, стараясь увидать войска Гамилькара. Он устремлял взоры на горизонт, ложился животом на землю, и шум крови в висках казался ему гулом приближающегося войска.

Он сказал Спендию, что если Гамилькар не придет через три дня, он выйдет со всеми своими людьми навстречу ему и даст ему битву. Прошло еще два дня, Спендий удерживал его. На утро шестого дня он двинулся в путь.

Карфагеняне жаждали войны с таким же нетерпением, как и варвары. В палатках и в домах царили те же желания, чувствовалась та же тревога. Все спрашивали себя, чего медлит Гамилькар.

От времени до времени он поднимался на купол храма Эшмуна, становился рядом с глашатаем лун и наблюдал ветер.

Однажды, в третий день месяца Тибби, он на глазах у всех стремительно спустился с акрополя. В Маппалах поднялся гул. Вскоре улицы наполнились людьми, воины стали вооружаться, окруженные плачущими женщинами, которые бросались им на грудь; потом они быстро бежали на Камонскую площадь и становились в ряды. Нельзя было ни следовать за ними, ни даже говорить с ними; нельзя было приблизиться к укреплениям. В течение нескольких минут весь город затих, как большая могила. Воины задумались, опираясь на свои копья, а в домах все громко вздыхали.

Когда село солнце, войско выступило из западных ворот; но вместо того, чтобы направиться в Тунис или идти горами по направлению к Утике, оно двинулось вдоль моря. Вскоре они дошли до лагуны, где круглые пространства воды, совершенно белые от соли, сверкали, как огромные серебряные блюда, забытые на берегу.

Потом таких луж становилось все больше и больше. Почва делалась все более мягкой, и ноги завязали в ней. Гамилькар не оглядывался назад. Он все время ехал впереди всех, и его лошадь, вся в желтых пятнах, как дракон, разбрасывая брызги пены, шла по морскому илу, напрягая мышцы. Наступала безлунная ночь. Кое-кто кричал, что все погибли; он отнял у малодушных оружие и передал слугам. Ил становился все более и более глубоким. Пришлось сесть на вьючных животных. Некоторые старались держаться, ухватившись за хвост лошади; сильные тянули за собой слабых, и корпус лигуров толкал вперед пехоту кончиками пик. Мрак сгустился. Войско сбилось с пути, и все остановились.

Тогда рабы суффета отправились вперед искать вбитые, по его приказанию, на определенных расстояниях вехи. Они громко кричали во мраке, и войско следовало за ними издалека. Наконец, они почувствовали под ногами твердую почву. Потом смутно обрисовался белый поворот, и они очутились на берегу Макара. Несмотря на холод, огней не зажигали.

Среди ночи поднялся ветер. Гамилькар велел разбудить воинов, но без трубных звуков; начальники слегка ударяли спящих по плечу.

Человек высокого роста спустился в воду. Она не доходила ему до пояса; значит, можно было пройти в брод.

Суффет приказал расставить тридцать двух слонов в реке в ста шагах расстояния один от другого, в то время как другие, стоя ниже, останавливали бы ряды воинов, уносимых течением; таким образом, все, держа оружие над головами, перешли Макар, точно между двумя стенами. Гамилькар заметил, что западный ветер, гнавший пески, загораживал реку, создавая во всю ширину ее удобную насыпь.

Он очутился на левом берегу против Утики на широкой равнине, что было чрезвычайно удобно для слонов, составлявших главную силу его войска.

Гениальность переправы восхитила воинов. Они необычайно воспрянули духом. Им хотелось тотчас же идти на варваров, но суффет приказал отдохнуть два часа. Как только показалось солнце, они двинулись по равнине тремя линиями: впереди слоны, затем легкая пехота с кавалерией за нею, а уже за ними фаланга.

Варвары, расположившиеся в Утике, а также пятнадцать тысяч, стоявших у моста, были поражены, заметив издали дрожание земли. Сильно дувший ветер гнал вихри песка; песок вздымался, точно оторванный от земли, взлетал вверх огромными светлыми пеленами, которые потом разрывались и снова сплачивались, скрывая от наемников карфагенское войско. Увидав рога, укрепленные с двух сторон касок, одни думали, что к ним направляется стадо быков; другие, обманутые видом развевавшихся плащей, утверждали, что они видят крылья; а те, которые много путешествовали, пожимали плечами и об'ясняли все миражем. Но все же ясно было, что надвигается нечто огромное. Тонкий пар, подобный дыханию, расстилался по пустыне. Солнце, поднявшееся теперь выше, сияло еще ярче. Резкий и, как казалось, дрожащий свет отдалял глубину неба и, проникая в предметы, делал расстояние бесконечным. Огромная

равнина расстилалась со всех сторон в бесконечную даль; едва заметные колебания почвы тянулись до самого горизонта, замкнутого широкой синей чертой; все знали, что там море. Оба войска, выйдя из палаток, устремили взоры вдаль. Осаждавшие Утику, чтобы лучше видеть, поднимались на валы.

Наконец, они стали различать множество поперечных полос, усеянных ровными остриями. Их становилось все больше, и они все более увеличивались. Черные возвышения покачивались; вдруг показались как бы четырехугольные кустарники: то были слоны и пики. Поднялся общий крик: «карфагеняне!» и без сигнала, не дожидаясь приказания, воины Утики и воины, стоявшие около моста бросились бежать, чтобы вместе напасть на Гамилькара. При звуке этого имени Спендий затрепетал. Он повторял, задыхаясь: «Гамилькар! Гамилькар!», а Мато все не было. Что было делать? Никакой возможности бежать! Неожиданность нападения, страх перед суффетом и, в особенности, необходимость немедленно принять решение ошеломили его; он уже видел, как его пронизывают тысячами копий, как он обезглавлен, мертв. Но все же его звали; тридцать тысяч воинов готовы были следовать за ним. Его охватило бешенство против самого себя. Он сосредоточился на надежде победить. Победа принесла бы ему неоцененное блаженство. Он считал себя более отважным, чем Эпаминонд. Чтобы скрыть свою бледность, он вымазал щеки красной краской, затянул на себе наколенники, броню, выпил одним глотком чашу чистого вина и побежал к своему войску, которое спешило соединиться с войском, осаждавшим Утику.

Оба войска соединились так быстро, что суффет не успел выстроить своих воинов в боевом порядке. Понемногу он замедлял ход. Слоны остановились; они покачивали свои тяжелые головы, убранные страусовыми перьями, ударяя хоботом по плечам. В глубине пространств, разделявших слонов, виднелись когорты велитов, а далее—большие шлемы клинабаров, сверкавшие на солнце, затем щиты, развевающиеся перья и знамена. Но карфагенское войско, состоявшее из одиннадцати тысяч

трехсот девяноста шести человек, казалось далеко не таким большим, ибо оно образовало длинный прямоугольник, узкий с боков и сильно сжавшийся.

Увидав, что они так слабы, варвары, в три раза более многочисленные, предались хаотической радости. Гамилькара не было видно. Уж не остался ли он позади? Да и не все ли равно! Презрение, которое они чувствовали к этим купцам, поднимало их дух; прежде чем Спендий велел им выстроиться, они сами поняли его план и поспешили его выполнить.

Они выстроились большой прямой линией, заходившей далеко за фланги карфагенского войска, для того, чтобы окружить его со всех сторон. Но когда неприятельские войска сошлись на расстоянии трехсот шагов одно от другого, слоны, вместо того, чтобы двигаться вперед, повернули назад; и вдруг клинабары, переменив фронт, последовали за ними; изумление наемников удвоилось, когда они увидели, что за ними побежали все стрелки. Значит, карфагеняне боятся и пустились в бегство! Страшный шум поднялся в войсках варваров, и с высоты своего дромадера Спендий воскликнул:

— Я ведь это знал. Вперед! Вперед!

Тогда полетели сразу дротики, стрелы, камни пращей. Слоны, которым стрелы вонзались в крупы, быстро ринулись вперед; их окружила густая пыль, и они скрылись из виду, как тени в облаке.

В глубине между тем раздался громкий топот шагов, и резкие звуки труб неистово огласили воздух. Пространство, которое расстилалось перед варварами, наполненное вихрем пыли и смутным гулом, привлекало, как бездна. Многие бросились туда. Показались когорты пехоты; они замыкались, и в то же время примчалась остальная пехота и конница.

Гамилькар, действительно, приказал фаланге разбить свои части, а слонам, легкой пехоте и коннице—пройти через образовавшиеся промежутки и быстро двинуться на фланги. Он так верно рассчитал пространство, отделявшее от варваров, что в то время, когда последние надвинулись на него, все карфагенское войско составляло одну большую прямую линию.

Посредине щетинилась фаланга, состоявшая из синтагм или правильных четырехугольников, по шестнадцати человек с каждой стороны. Начальники всех рядов виднелись между длинными железными остриями, торчавшими неровным рядом, ибо шесть первых рядов скрещивали копья, держа их за середину, а десять следующих рядов опирали их на плечи своих соратников, шедших перед ними. Все лица исчезали наполовину под забралами шлемов; бронзовые кнемиды покрывали ноги во всю длину; широкие цилиндрические щиты спускались до колен; и эта страшная четырехугольная громада двигалась, как один человек, жила, как животное, и действовала, как машина. Две когорты слонов правильно окаймляли четырехугольник; вздрагивая, они сбрасывали с себя осколки стрел, приставшие к их черной коже. Индийцы, сидя у них на холке среди пучков белых перьев, удерживали их багром, в то время как в башнях, воздвигнутых на спине слонов, люди, спрятанные до плеч, прилаживали к большим натянутым лукам железные стержни с зажженной паклей. Направо и налево от слонов носились пращеметатели с одной пращей, обвязанной вокруг бедер, со второй—на голове, с третьей—в правой руке; потом шли клинабары, каждый сопутствуемый негром; они держали свои пики между ушами лошадей, покрытых золотом, как они сами. Наконец, шли солдаты легко вооруженные, с щитами из рысьих шкур; из-за них высовывались острия метательных копий, которые они держали в левой руке. Тарентинцы, ведущие каждый по две лошади, замыкали с двух концов эту стену воинов.

Армия варваров, напротив того, не могла сохранить правильный строй. На чрезмерно длинной прямой линии образовались волнообразные выемки и пустые промежутки. Все задыхались от быстрого бега.

Фаланга тяжело устремилась вперед, выставив все копья. Под этой страшной тяжестью слишком тонкая линия наемников вскоре дрогнула посередине.

Тогда карфагенские фланги раздвинули свои ряды, чтобы охватить их; за ними последовали слоны. Своими копьями, устремленными вкось, фаланга разрезала вар-

варов; два огромных обрубка пришли в смятение; фланги, действуя пращами и стрелами, гнали их в сторону фалангитов. Конницы, которая могла бы их отбить, не было в это время; оставалось только сто нумидийцев, которые устремились против прямого отряда клинабаров. Все другие оказались запертыми и не могли вырваться из рядов. Опасность была велика, и необходимо было принять немедленное решение.

Спендий приказал напасть на фалангу одновременно с двух сторон для того, чтобы пройти сквозь нее. Но самые узкие ряды, проскользнув под самыми длинными, вернулись на свое место, и фаланга обратилась на варваров, такая же страшная с боков, как была только что с фронта.

Они ударяли по древкам копий, но конница сзади мешала их атаке; опираясь на слонов, фаланга сплачивалась и удлинялась, принимая форму то четырехугольника, то конуса, то ромба, то трапеции, то пирамиды. Двойное внутреннее движение происходило неустанно по всей фаланге сверху донизу, ибо те, которые находились внизу рядов, устремлялись к передним рядам, а первые, от усталости или вследствие ран, отступали назад. Варвары оказались брошенными на фалангу, которой было невозможно двинуться вперед; сражение походило на море, на поверхности которого прыгали красные перья и медная чешуя, в то время как светлые щиты переливались, точно серебряная пена. Временами от одного конца до другого широкие волны спускались, потом вновь поднимались; в середине же оставалась неподвижная тяжелая масса. Копья попеременно опускались и поднимались. В других местах так быстро двигались обнаженные мечи, что мелькали только острия; толпы всадников разрывали ряды, которые вихреобразными кругами замыкались за ними.

Покрывая голоса начальников, звуки труб и скрежет лир, в воздухе свистели свинцовые шары и глиняные ядра, вырывая мечи из рук, исторгая мозг из черепов. Раненые, одной рукой ограждая себя щитом, простирали мечи рукоятью к земле. Другие, валяясь в лужах крови, поворачивались к земле, чтобы испустить дух.

Толпа была такая сплоченная, пыль такая густая, гул такой сильный, что ничего нельзя было различить. Малодушных, которые предлагали сдаться, никто не слушал. Когда не было более оружия, вступали в рукопашную; груди трещали под латами, и трупы свисали, запрокинув голову, между судорожно сжатыми руками. Шестьдесят умбрийцев, твердо стоя на ногах, держа пики перед глазами и скрежеща зубами, несокрушимые, обратили в бегство сразу две синтагмы. Эпирские пастухи побежали к левому отряду клинабаров и схватили лошадей за гривы, вертя своими палками; лошади, сбросив седоков, помчались вдоль поля. Карфагенские пращеметатели, поставленные в разных местах, стояли, растерявшись. Фаланга стала колебаться, начальники бегали растерянные, замыкающие офицеры толкали солдат; а варвары тем временем снова выстроились. Они возвращались; победа склонялась на их сторону.

Но в это время раздался страшный крик, вопль гнева и боли. Это были семьдесят два слона, бросившиеся вперед по двум линиям. Гамилькар подождал, чтобы наемники скучились на одном месте, и тогда пустил на них слонов; индийцы так сильно вонзили в них пики, что кровь потекла по их большим ушам. Хоботы их, выкрашенные киноварью, поднимались в воздухе подобно красным змеям; грудь их была защищена рогатиной, спина—панцырем, клыки были удлинены железными клинками, кривыми, как сабля; а чтобы сделать их более свирепыми, их опьянили смесью перца, чистого вина и ладана. Они трясли на себе ожерелья с погремушками, ревели, и погонщики их опускали головы под потоком огненных стрел, которые стали сыпаться с башен.

Чтобы лучше устоять, варвары ринулись вперед сплоченной массой; слоны с яростью врезались в толпу. Железные острия их надгрудных ремней рассекали когорты, как нос корабля рассекает волны; когорты стремительно бросились назад. Слоны душили людей своими хоботами, или же, подняв с земли, заносили их над головой и передавали хоботом в башни; своими клыками они раздирали их, бросали на воздух, и человеческие

внутренности висели на клыках, как пучки веревок на мачтах. Варвары пытались выкалывать им глаза, перерезать сухожилья на ногах; иные подползали под животы слонов, всаживали меч до рукояти и погибали раздавленные; наиболее отважные цеплялись за ремни. Среди пламени, под стрелами они продолжали отпиливать кожаные ремни, и башни из камыша глухо падали наземь, точно каменные.

Четырнадцать слонов в правом конце, раздраженные ранами, повернули назад, на второй ряд. Индийцы схватили свои молоты и долота и стали колотить слонов в затылок.

Огромные животныя зашатались и стали падать одни на других. Образовалась целая гора; и на эту груду трупов и вооружений поднялся чудовищный слон, которого звали «Гневом Ваала»; нога его попала между цепями, и он до вечера выл. В глазу его торчала стрела.

В это время другие слоны, как победители, которые наслаждаются резнею, сшибали с ног, давили, топтали варваров, набрасываясь на трупы и на останки. Чтобы оттеснить отряды, оцепившие их кругом, слоны поворачивались на задних ногах, вращались на месте и все же подвигались вперед. Силы карфагенян удвоились, и битва возобновилась.

Варвары слабели; греческие гоплиты побросали оружие, другими тоже овладел страх. Спендий наклонился на своем дромадере и пришпоривал его, вонзая обе копья в плечи. Все тогда помчались ко флангам и побежали по направлению к Утике. Клинабары, лошади которых обессилели, даже не попытались настигнуть их. Лигуры, изнемогая от жажды, кричали, стремясь двинуться к реке. Но карфагеняне, стоя среди синтагм и менее пострадавшие, дрожали, видя, что месть ускользает от них. Они уже хотели броситься вслед наемникам, но в это время появился Гамилькар.

Он удерживал серебряной уздечкой пятнистую лошадь, всю в поту. Повязка у рогов его шлема развевалась за ним по ветру, и он подложил под левый бок свой

продолговатый щит. Одним движением своей пики о трех концах он остановил войско. Тарентинцы быстро перескочили каждый со своей лошади на вторую запасную и помчались направо и налево, к реке и к городу.

Фаланга спокойно истребила всех оставшихся варваров. Когда к ним подступали воины с мечами, они сами подставляли горло, закрывая глаза. Другие неистово защищались; их побивали издали камнями, как бешеных собак. Гамилькар приказал набрать как можно больше пленных; но карфагеняне неохотно повиновались ему, до того им было отрадно вонзать мечи в тела варваров. Им стало жарко, и они продолжали работать обнаженными руками, как жнецы. Когда они прервали резню, чтобы передохнуть, они увидели вдали всадника, который мчался за бежавшим пешим воином. Он схватил воина за волосы, несколько времени продержал его так, потом сразил его одним ударом топора.

Спустилась ночь. Карфагеняне и варвары исчезли. Убежавшие слоны бродили на горизонте со своими горящими башнями. Они горели во мраке, как маяки, полупотерянные в тумане, и на равнине не видно было другого движения, кроме вздымающейся реки, полной трупов, которые она уносила в море.

Два часа спустя явился Мато. Он увидал при свете звезд длинные неравные груды людей, лежавших на земле.

То были ряды варваров. Он наклонился; все были мертвы. Он позвал; никто не ответил.

Утром этого дня он покинул Гиппо-Зарит со своими воинами, чтобы пойти на Карфаген. Из Утики только что ушло войско Спендия, и жители стали жечь машины. Все сражались с неистовством. Но когда шум с моста непонятным образом усилился, Мато двинулся кратчайшей дорогой через горы, и так как варвары бежали равниной, то он никого не встретил.

Против него поднимались в тени маленькие пирамидальные массы, а за рекой, поближе, светились недвижные огни на самой земле. Действительно, карфагеняне отправились за мост, и, чтобы обмануть варваров, суф-

фет установил много сторожевых постов на другом берегу.

Мато, продолжая двигаться вперед, стал различать, как ему казалось, карфагенские знамена, ибо в воздухе видны были недвижные лошадиные головы, прикрепленные к древкам, невидимым в темноте. Издали доносился шум, звуки песен и звон чаш.

Не зная, где он очутился и как ему найти Спендия, испуганный, встревоженный, потерянный во мраке, он еще быстрее повернул назад по той же дороге. Заря уже занималась, когда на верху горы он увидел город, остовы машин, почерневшие от огня, как скелеты великанов, прислоненных к стенам. Все покоились среди молчания и в страшном изнеможении; среди воинов, вокруг палаток почти нагие мужчины спали на спине, или оперев лоб на руку, подпираемую броней. Некоторые снимали с ног прилепившиеся повязки, пропитанные кровью. Умиравшие медленно вращали головой; другие, едва тащась, приносили им воду. Вдоль узких дорожек часовые ходили, чтобы согреться, или стояли, повернув лицо к горизонту, с пикой на плече, с суровым видом.

Мато застиг Спендия укрывшимся под куском холста, натянутым на два шеста, которые он вбил в землю; он сидел, обхватив колени руками и опустив голову.

Они долго ничего не говорили.

Наконец, Мато прошептал:

— Мы побеждены!

Спендий мрачно ответил:

— Да, побеждены!

И на все другие вопросы он отвечал жестами отчаяния.

В это время послышались стоны и предсмертные хрипы. Мато полуоткрыл шатер. Вид воинов напомнил ему другое бедствие на том же месте и, скрежеща зубами, он сказал:

— Презренный! Ты уже один раз...

Спендий прервал его.

— Тебя тоже не было.

— Это истинное проклятие!—воскликнул Мато.—Но,

в конце концов, я его настигну; я одолею его. Я убью его. О, если бы я тут был!..—Мысль о том, что он пропустил битву, приводила его в еще большее отчаяние, чем самое поражение. Он вынул меч и бросил его на землю.

— Как же карфагеняне разбили вас?

Прежний раб стал рассказывать ему о действиях карфагенян. Мато точно видел перед глазами, как все происходило, и возмущался. Войско Утики, вместо того, чтобы бежать к мосту, должно было обойти Гамилькара сзади.

— Я это знаю,—сказал Спендий.

— Нужно было удвоить глубину твоего войска, не посылать велитов против фаланги и открыть выходы слонам. В последнюю минуту можно было еще все отбить; не было надобности бежать.

Спендий ответил:

— Я видел, как он проехал в своем большом красном плаще, с поднятыми руками, возвышаясь над столбами пыли, точно орел, летевший рядом с когортами; повинуясь каждому его движению головой, когорты сдвигались, устремлялись вперед; толпа толкала нас друг на друга. Он посмотрел на меня, и я почувствовал в сердце точно холод лезвия.

— Он, может быть, выбрал нарочно этот день,—тихо сказал Мато.

Они стали расспрашивать друг друга, стараясь понять, что привело суффета к победе как раз при самых невыгодных для него условиях. Они стали обсуждать положение, и, чтобы смягчить свою вину или чтобы ободрить самого себя, Спендий сказал, что еще не все надежды потеряны.

— Если бы даже они были потеряны, все равно,—сказал Мато,—я буду продолжать войну один!

— И я тоже!—воскликнул трек, вскочив с места. Он ходил большими шагами, глаза его сверкали, и странная улыбка показалась на его лице, делая его похожим на шакала.

— Мы начнем все снова. Не покидай меня! Я не создан для битв при солнечном свете; сверкание мечей слепит меня. Это у меня болезнь; я слишком долго жил

в эргастуле. Но дай мне вскарабкаться на стены ночью, и я проберусь в крепость, и трупы охладеют прежде, чем пропоет петух! Покажи мне кого-нибудь, что-нибудь, врага, сокровище, женщину.—Он повторил:—да, покажи мне женщину, и если даже она будет дочерью царя, я быстро принесу ее к твоим ногам. Ты упрекаешь меня в том, что я был побежден в битве с Ганноном; но я ведь снова победил его. Согласись, что мое свиное стадо принесло вам больше пользы, чем фаланга спартиатов.

Уступая потребности похвастать и утешить себя в поражении, он стал перечислять все, что сделал для наемников.

— Это я толкнул галла в садах суффета. А потом, в Сикке, ведь это я их всех привел в бешенство, пугая республикой. Гискон готов был рассчитать их, но я не дал возможности говорить переводчикам. Как у них высовывался язык изо рта! Помнишь? Я провел тебя в Карфаген, я украл заимф. Я провел тебя к ней. Я сделаю еще больше: ты увидишь.

Он расхохотался, как безумец.

Мато смотрел на него, широко раскрыв глаза. Ему было не по себе перед этим человеком, таким трусливым и вместе с тем таким страшным.

Грек снова заговорил веселым голосом, щелкая пальцами:

— Эвоэ! После дождика проглянет солнце. Я работал в каменоломнях и я же пил вино на корабле, который принадлежал мне, под золотым навесом, как Птоломей. Несчастье должно делать нас умнее. По мере того, как работаешь, смягчаешь судьбу... Она любит ловких людей. Она уступит!

Он снова подошел к Мато и взял его за руку:

— Господин, карфагеняне уверены теперь в своей победе. У тебя есть целая армия, которая еще не сражалась, и твои люди повинуются тебе во всем. Пусти их вперед; мои тоже пойдут, чтобы отомстить карфагенянам. У меня осталось три тысячи карийцев, тысяча двести пращемета-телей и целые когорты стрелков. Можно даже составить фалангу Возобновим бой.

Мато, ошеломленный поражением, пока не мог придумать, как выйти из создавшегося положения. Он слушал с раскрытым ртом, и бронзовые латы, которые сжимали ему бока, приподнимались при быстром биении его сердца. Он поднял копье, крича:

— Следуй за мной! Идем!

Но разведчики, вернувшись, сообщили, что трупы карфагенян убраны, что мост разрушен и Гамилькар исчез

ПОХОД.

Гамилькар полагал, что наемники будут ждать его в Утике или же опять направятся против него; считая свои силы недостаточными для того, чтобы напасть или встретить нападающих, он углубился на юг, пошел правым берегом реки, что его пока оберегало от внезапного нападения.

Он хотел, закрывая глаза на мятежи туземных племен, раз'единить их сперва с варварами; потом, когда они очутятся всеми покинутыми в провинциях, он мог на них напасть и всех их истребить.

В пятнадцать дней он умиротворил область между Тукабаром и Утикой, с городами Тигникаба, Тессура, Вакка и еще другими на западе. Зунгар, построенный в горах, Ассурас, знаменитый своим храмом, Джераадо, славившийся можжевельником, Тапит и Гагур послали ему послов. Жители деревень являлись, принося множество с'естных припасов и прося у него защиты, целовали ноги ему и его воинам и жаловались на варваров. Некоторые приносили ему в дар, в мешках, головы наемников, говоря, что это они их убили; на самом деле, они отрубали эти головы у мертвецов. Много наемников умирали во время бегства, и их находили в разных местах, под оливковыми деревьями и в виноградниках.

Чтобы ослепить народ своими подвигами, Гамилькар на следующий же день после победы, послал в Карфаген две тысячи пленных, которых он взял на поле битвы. Они шли длинными рядами по сто человек; у всех руки были привязаны сзади к бронзовой перекладине, которая давила им на шею, и раненые, покрытые кровью, тоже шли бегом; конница, ехавшая сзади, погоняла их бичами.

Карфаген ликовал. Говорили, что убито шесть тысяч варваров, что остальные не могут дольше держаться, что война кончена; все целовались на улицах и в храмах, натирали маслом и корицей лица богов-патеков, выражая, таким образом, благодарность им. Большеглазые, с толстыми животами и руками, поднятыми до плеч, они, казалось, оживали под свежей краской и принимали участие в радости народа. Богатые оставляли открытыми свои двери; город гудел от барабанного боя; храмы были освещены всю ночь, и служанки богов, спустившись в Мальку, соорудили на перекрестках подмостки из сикомора и там отдавались всем. Дарили земли победителям, назначали жертвоприношения Мелькарту, суффету назначили сто золотых венцов, и его сторонники предлагали воздать ему новые почести и предоставить новые льготы.

Он просил старейшин вступить в переговоры с Автаритом, предлагая ему, если нужно, всех варваров в обмен на старика Гискона и других карфагенян, попавших в плен. Ливийцы и номады, составлявшие войско Автарита, знали лишь очень смутно этих наемников, по происхождению италиотов или греков; им казалось поэтому, что если республика предлагает им столько варваров в обмен за такое малое количество карфагенян, то это значит, что варвары не имеют никакой цены, а карфагеняне, напротив того, представляют большую ценность. Они боялись ловушки. Автарит отказал.

Тогда старейшины велели казнить пленных, хотя суффет писал им, чтобы они их не убивали. Он намеревался включить лучших из них в свое войско и этим вызвать переход многих других в свои ряды. Но ненависть к врагам убила всякое благоразумие. Две тысячи пленных варваров приведены были в Маппалы, где их привязали к столбам гробниц; и торговцы, кухонная чернь, вышивальщики и даже женщины, вдовы погибших солдат, вместе со своими детьми,—все, кто только хотел, приходили побивать их стрелами. В них целились медленно, чтобы продлить пытку; лук сначала опускали, потом поднимали, и толпа с ревом толкалась вокруг них. Расслабленных приносили на носилках; многие предусмотри-

тельно запасались пищей и оставались на месте казни до вечера; другие проводили там всю ночь. Поставлены были палатки, в которых пили. Многие заработали большие деньги, отдавая на прокат луки.

Потом так и оставляли в стоячем положении эти распятые трупы, которые казались стоящими на могилах красными статуями. Возбуждение захватило даже население Мальки, принадлежавшее к коренным местным семьям и в обыкновенное время равнодушное к интересам родины. Из благодарности за предоставляемые им удовольствия они теперь стали выказывать участие к судьбам республики, почувствовали себя карфагенянами, и старейшины считали, что поступили очень мудро, слив весь народ в общем чувстве мести.

Благословение богов тоже не заставило себя ждать,— со всех сторон стали слетаться вороны. Они летели, кружась в воздухе с громким карканьем, образуя огромное облако, которое неустанно кружилось на одном месте. Оно видно было из Клипеи, из Радеса и с мыса Гермия. Временами облако разрывалось, расширяя свои черные спирали. Это случалось тогда, когда орел врезывался в него и потом снова улетал; на террасах, на куполах, на остриях обелисков и на фронтонах храмов виднелись разжиревшие птицы; они держали в покрасневших клювах куски человеческого мяса.

Усиливавшееся зловоние заставило, наконец, карфагенян отвязать трупы. Несколько их было сожжено, остальные бросили в море, и волны, гонимые северным ветром, снесли их на берег, в глубину залива, к лагерю Автарита.

Эта кара привела, очевидно, в ужас варваров: с высоты Эшмуна увидели, как они сложили палатки, собрали стада, навьючили поклажу на ослов, и к вечеру все войско сдвинулось с места.

Предполагалось, что войско это, расположившись между горой Теплых Вод и Гиппо-Заритом, заградит путь суффету к тирским городам, оставляя за собой возможность вернуться в Карфаген.

В это время два других войска постараются настигнуть его на юге, Спендий с востока, Мато с запада, так,

чтобы соединиться всем трем и оцепить его. Потом пришло подкрепление, на которое они даже не надеялись: вновь явился Нар-Гавас с тремя стами верблюдов, нагруженных смолой, с двадцатью пятью слонами и шестью тысячами конницы.

Суффет, чтобы ослабить наемников, счел благоразумным занять Нар-Гаваса вдали, в его собственных владениях. Он из Карфагена вошел в соглашение с гетульским разбойником Масгабой, который искал себе где-нибудь царства. С помощью карфагенских денег этот искатель приключений поднял нумидийцев, обещав им свободу. Но Нар-Гавас, предупрежденный сыном своей кормилицы, ворвался в Цирту, отравил победителей водою цистерн, снес несколько голов, восстановил порядок и после этого еще более варваров возненавидел суффета.

Начальники четырех войск условились относительно способов ведения войны. Она предполагалась очень долгой, и нужно было все предвидеть.

Прежде всего решили просить содействия римлян, и эту миссию предложили Спендию; как перебежчик, он не решился взять ее на себя. Двенадцать человек из греческих колоний отплыли из Аннабы на нумидийской ладье. Потом предводители потребовали от всех варваров клятвы в полном повиновении. Каждый день начальники осматривали одежду и обувь; часовым запрещено было иметь при себе щиты, потому что они часто подпирали их своими копьями и засыпали стоя. Тех, которые везли с собой поклажу, заставили бросить ее; все, по римскому образцу, полагалось носить на спине. В защиту против слонов Мато учредил отряд конных воинов, катафрактов; в этом отряде человек и лошадь исчезали под панцырем из гиппопотамовой шкуры, утыканной гвоздями; а чтобы защитить копыта лошадей, для них изготовили плетеные башмаки.

Запрещено было грабить города, мучить народы, не принадлежавшие к пунической расе. Но так как истощались съестные припасы, то Мато приказал раздавать порции воинам, не заботясь о женщинах. Сначала воины делили пищу с женщинами. Но недостаток пищи изнурял

многих. Это было постоянным поводом к ссорам и взаимным попрекам; некоторые сманивали чужих жен обещанием разделить с ними свою порцию. Мато приказал прогнать всех женщин. Они укрылись в лагере Автарита; но галльские женщины и ливийки выгнали их оттуда оскорблениями.

Наконец, они пришли к стенам Карфагена молить покровительства Цереры и Прозерпины, ибо в Бирсе существовал храм, посвященный этим богиням, в искупление ужасов, совершенных некогда при осаде Сиракуз. Сисситы, предъявляя свои права на военную добычу, потребовали самых молодых, чтобы продавать их; и новые карфагенские граждане взяли себе в жены лакедемонянок со светлыми волосами.

Некоторые из женщин упрямо продолжали следовать за войском. Они бежали сбоку синтагм, рядом с начальниками. Они звали своих мужей, тянули их к себе за край плаща, били себя в грудь, проклиная их и протягивая к ним своих плачущих голых детей. Это зрелище размягчало души варваров, и поэтому женщины представляли из себя опасность. Несколько раз их отгоняли, но они опять возвращались; Мато приказал обратить против них копья, поручив это коннице Нар-Гаваса. Балеары кричали ему, что им нужны женщины:

— У меня их нет,—отвечал он.

Мато овладел теперь дух Молоха. Не взирая на укоры совести, он свершал ужасные деяния, воображая, что повинуется велениям своего бога. Когда ему не удавалось опустошить какие-нибудь поля, Мато бросал в них камни, чтобы сделать их бесплодными.

Он постоянно посылал вестников к Автариту и Спендию, торопя их. Но действия суффета были непостижимы. Он располагался лагерем поочередно в Эйдусе, Монтаре, Тегенте; лазутчики говорили, что видели его в окрестностях Ишиила, вблизи границ Нар-Гаваса, и вскоре стало известным, что он переправился через реку к северу от Тебурбы. Едва прибыв в одно место, он быстро переходил в другое. Пути, по которым он шел, оставались всегда неизвестными. Не давая сражения, суффет

оставался все же в выгодном положении; преследуемый варварами, он как-будто вел их за собой.

Эти переходы и возвращения назад еще более утомляли карфагенян, и силы Гамилькара, перестав пополняться, уменьшались со дня на день. Население деревень приносило им теперь с'естные припасы не так охотно, как сначала. Он всюду встречал неуверенность, затаенную ненависть; и, несмотря на все его мольбы, обращенные к Великому Совету, из Карфагена не являлось никакой подмоги.

Говорили,—может быть, действительно думая это,—что он не нуждается в помощи, что его жалобы напрасны или что он жалуется из хитрости; и сторонники Ганнона, чтобы оказать ему плохую услугу, преувеличивали значение его победы. Войска, которыми он командовал, считались принесенными в жертву, но исполнять дальше все его требования уже считалось лишним. Война была и так достаточно тяжела. Она слишком много стоила, и патриции его партии поддерживали ее неохотно.

Тогда, отчаявшись в республике, Гамилькар насильно собрал со всех племен то, что ему нужно было для войны: зерно, масло, лес, скот и людей. Но жители разбегались. Города, через которые проходило войско, оказывались пустыми; обыскивая дома, ничего в них не находили; вскоре страшное одиночество настигло карфагенское войско.

Карфагеняне, придя в бешенство, стали громить провинции; они зарывали колодцы, жгли дома. Горящие головни, уносимые ветром, разносили огонь далеко вокруг, и на горах горели леса, окружая долины венцом пламени, и, чтобы идти дальше, приходилось ждать. Потом они опять пускались в путь на солнцепеке и шли по горячему пеплу.

Иногда, на краю дороги, сверкали где-нибудь в кустах зоркие, как у тигра, глаза. То был варвар, присевший на корточки и выпачкавшийся в пыли, чтобы не выделяться среди пыльных кустов; или же, проходя вдоль рытвины, те, которые шли во флангах, слышали вдруг грохот катящихся камней; поднимая глаза, они видели выскакивавшего изо рва босоногого человека.

Утика и Гиппо-Зарит были, однако, свободны, так как наемники сняли осаду с них. Гамилькар приказал им придти к нему на помощь. Но, боясь нанести себе ущерб, если они окажут ему эту помощь, оба города ответили ему неопределенными извинениями и любезностями.

Он вдруг повернул на север, решив открыть себе один из тирских городов, даже если бы для этого понадобилось осадить его. Ему нужна была точка опоры на морском берегу для того, чтобы доставать с островов или из Кирены продовольствие и солдат; более всего ему хотелось овладеть Утикой, которая была ближе других к Карфагену.

Суффет отправился из Зутина и осторожно обогнул Гиппо-Заритское озеро. Но вскоре ему пришлось выстроить свои полки колонной, чтобы подняться на гору, разделявшую две долины. На закате солнца они спускались с воронкообразной вершины горы, как вдруг заметили перед собой, на самой земле, как бы бронзовых волчиц, бегавших по траве.

Вдруг показались высокие султаны и раздалось грозное пение под аккомпанимент флейт. То было войско Спендия; кампанийцы и греки, из ненависти к Карфагену, ввели у себя римские военные атрибуты. В то же время слева показались длинные копья, щиты из леопардовых шкур, льняные панцыри, оголенные плечи. То были иберийцы Мато, лузитанцы, балеары, гетулы. Раздалось ржание лошадей Нар-Гаваса. Они рассыпались вокруг холма; потом пришло беспорядочное войско под начальством Автарита. Оно состояло из галлов, ливийцев и номадов; и среди них можно было узнать пожирателей нечистой пищи, по рыбьим костям, которые они носили в волосах.

Таким образом, варвары, точно рассчитав свои движения, действительно соединились. Сами дивясь этому, они несколько времени простояли неподвижно, ведя между собой переговоры.

Суффет построил свое войско кругообразно, чтобы давать со всех сторон одинаковый отпор. Высокие заостренные щиты, укрепленные на траве один подле другого, окружали пехоту. Клинабары стояли вне круга,

а дальше расположены были в разных расстояниях слоны. Наемники были страшно утомлены, и решено было ждать следующего дня. Уверенные в своей победе, варвары провели всю ночь в еде.

Они зажгли большие яркие огни, которые, ослепляя их своим светом, погружали в тень пуническое войско, расположенное внизу. Гамилькар, наподобие римлян, окопал свой лагерь кружным рвом, шириной в пятнадцать шагов, глубиной в десять локтей; внутри устроили насыпь, на которой укрепили острые шесты, переплетенные между собой. При восходе солнца наемники были поражены, увидав, что карфагеняне засели как бы в крепости.

Они увидели Гамилькара, который прохаживался среди палаток и раздавал приказания. На нем был темный чешуйчатый панцырь, за ним следовала его лошадь, и он от времени до времени останавливался, указывая что-то своей вытянутой правой рукой.

Многие вспомнили подобные же утра, когда при громких звуках труб он медленно проходил перед ними и взгляд его укреплял их, как чаша вина. Они были странно растроганы его видом. Те же, напротив того, которые не знали Гамилькара, были в упоении от того, что сейчас захватят его.

Однако, если бы все сразу напали на него, они бы мешали друг другу в этом слишком узком пространстве. Нумидийцы могли бы броситься наперерез, но клинабары, защищенные панцырями, раздавили бы их; кроме того, как перебраться через ограды? Что касается слонов, то они не были еще достаточно обучены.

— Все вы трусы!—воскликнул Мато.

Взяв с собой наиболее отважных, он двинулся на укрепление. Град камней отразил их, ибо суффет взял на мосту оставленные ими катапульты.

Эта неудача быстро переменила нетвердое настроение варваров. Чрезмерная храбрость, воодушевлявшая их вначале, исчезла; они хотели победить, но как можно меньше рискуя. По мнению Спендия, нужно было старательно сохранять свое выгодное положение и изморить

голодом пуническое войско. Но карфагеняне стали рыть колодцы, и так как вокруг были горы, то они нашли воду.

С высоты своих оград они метали стрелы, бросали комья земли, навоза, камни, которые вырывали из земли, в то время как шесть катапульт неустанно работали вдоль террасы.

Но источники могли сами собой иссякнуть, продовольствие должно было истощиться, катапульты могли испортиться. Наемники, в десять раз превосходившие своей численностью карфагенян, в конце концов добились бы победы. Чтобы выиграть время, суффет сделал вид, что хочет начать переговоры; однажды утром варвары нашли в своих рядах баранью шкуру с письменами на ней. Гамилькар оправдывался в своей победе: он говорил, что его принудили к войне старейшины, и, чтобы показать, что он держит слово, он предложил им разграбить Утику или Гиппо-Зарит по их выбору. Заканчивая свое послание, Гамилькар заявил, что он совершенно не боится их, потому что имеет на своей стороне предателей и, благодаря им, легко овладеет всеми другими.

Варвары были смущены. Предложение немедленной добычи прельщало их; они поверили в чье-то предательство, не подозревая, что суффет своим хвастовством устраивает им западню, и стали с недоверием глядеть друг на друга. Все начали следить за словами и действиями других; они от страха не могли спать ночью. Многие уходили от своих товарищей, выбирали каждый войско по своему желанию, и галлы с Автаритом присоединились к цизальпинским воинам, язык которых они понимали.

Четыре начальника собирались по вечерам в палатке Мато и, усевшись вокруг щита, внимательно придвигали и отодвигали маленькие деревянные фигурки, придуманные Пирром для воспроизведения маневров. Спендий говорил о силах и средствах Гамилькара и молил, клянясь всеми богами, не упускать удобного случая. Мато раздраженно ходил, размахивая руками. Война против Карфагена была для него личным делом; он возмущался, что другие вмешиваются в нее, не повинуясь ему. Автарит, угадывая его слова по его лицу, приветствовал их. Нар-

Гавас поднимал подбородок в знак презрения. Все принятые меры он считал пагубными и перестал улыбаться. У него вырывались вздохи, точно он старался подавить скорбь об утраченной мечте и отчаяние, вызванное неудачным предприятием.

В то время, как варвары обсуждали предложение, ни на что не решаясь, суффет все более укреплялся. Он приказал вырыть за частоколом второй ров, построить вторую стену, возвести в углах деревянные башни, и рабы его доходили до середины аванпостов, чтобы расставлять там западни. Но слоны, которым уменьшали корм, метались на привязи. Чтобы тратить меньше сена, он велел клинабарам убить наименее сильных жеребцов. Некоторые отказались; он снес им головы. Стали есть лошадей. Воспоминание об этом свежем мясе усилило печаль следующих дней.

Из глубины амфитеатра, в котором они были замкнуты, они видели четыре лагеря варваров, охваченных сильным возбуждением. Женщины ходили, нося на головах меха с вином и маслом, козы прыгали под пучками копий, сменялись часовые; воины садились за еду вокруг треножников. Племена доставляли им достаточно продовольствия, и наемники совершенно не знали, до чего их бездействие пугает пуническое войско.

Со второго же дня карфагеняне заметили в лагере номадов отряд в триста человек, отделенный от других. Это были богатые, содержавшиеся в плену с начала войны. Ливийцы расставляли их на краю рва и метали копья из-за их спин, пользуясь их телами, как укреплением. Несчастных нельзя было узнать: до того лица их были скрыты под грязью и насекомыми. Вырванные местами волосы обнажали гноившиеся нарывы на голове, и все они были столь худы и страшны на вид, что походили на мумий в дырявых саванах. Некоторые из них, дрожа всем телом, рыдали с бессмысленным выражением лица. Другие кричали друзьям, чтобы они стреляли в варваров. Один из них, неподвижный, с опущенной головой, не говорил ни слова. Его большая белая борода падала до рук, закованных в цепи; и карфагеняне, точно ощущая в сердце гибель республики, узнали Гискона. Хотя

опасно было приближаться к месту, где он стоял, все же они проталкивались вперед, чтобы увидеть его. На него надели карикатурный венец из гиппопотамовой кожи со вставленными в него камешками. Это была фантазия Автарита, которая не нравилась Мато.

Гамилькар, выведенный из себя, велел раскрыть ограды, решив какими бы то ни было средствами вырваться наружу. Карфагеняне бешеным галопом поднялись до половины горы, пробежав около трехсот шагов. Навстречу им ринулся такой поток варваров, что они были откинуты на свои же ряды. Один из легионеров, оставшись позади, споткнулся о камень. Прибежал Заркасс и, напав на него, вонзил ему в горло кинжал; потом он вынул клинок и, прильнув к ране, с радостным воем, вздрагивая от головы до пят, стал сосать кровь. Затем он спокойно сел на труп, поднял лицо, откинув шею, чтобы лучше вдыхать воздух, как это делает серна, напившись из потока. Он пронзительным голосом запел при этом песню балеаров; неопределенная мелодия была полна длинных модуляций, прерывавшихся и чередовавшихся, как эхо в горах. Он призывал своих убитых братьев, приглашая их на пир; потом он опустил руки меж ног, понурил голову и заплакал. Это ужасное зрелище привело в трепет варваров и в особенности греков.

Карфагеняне с этой минуты не решались более на вылазку; но они не думали сдаваться, уверенные, что, сдавшись, они погибнут в муках.

Жизненные припасы между тем, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более, чем по десяти коммеров хлеба, по три гина другого зерна и по двенадцати бетцов сушеных плодов. Не оставалось ни мяса, ни прованского масла, ни солений, ни овса для лошадей; опуская исхудалые шеи, лошади искали в пыли стоптанные соломинки. Часто сторожевые на террасе замечали при лунном свете какую-нибудь собаку варваров, бродившую под траншеями среди куч грязных отбросов; собаку убивали камнем, спускались при помощи ремней от щитов вдоль оград и, не говоря ни слова, с'едали. Иногда поднимался

страшный лай, и человек уже не возвращался. В четвертой дилохии двенадцатой синтагмы три воина, подравшись из-за крысы, заревали друг друга ножами.

Все тосковали о своих семьях, о своих домах; бедные думали о своих хижинах в виде улья с раковинами у порога, с развешенными сетями, а патриции вспоминали свои огромные залы, окутанные синеватыми сумерками, где в самые томные часы дня они покоились, внимая смутному гулу улиц, примешивающемуся к трепету листьев в садах. Чтобы глубже погрузиться в эти воспоминания и полнее ими насладиться, они полузакрывали веки; боль от раны выводила их из забытья. Каждую минуту происходило столкновение или какая-нибудь новая тревога; горели башни; пожиратели нечистой пищи вскакивали на ограды; им отрубали руки топорами; прибегали другие; железный дождь падал на палатки. Возвели галлереи из камыша для защиты от метательных снарядов. Карфагеняне заперлись в них и не двигались с места.

Каждый день солнце, обходя холм, с первых же часов после восхода покидало дно ущелья и оставляло их в тени. Спереди и сзади поднимались серые скаты, усеянные камнями, местами обросшими мхом, а над их головами расстилалось небо, неизменно чистое, более холодное и блестящее, чем металлический купол. Гамилькар был так возмущен поведением Карфагена, что чувствовал желание перейти к варварам, чтобы повести их на Карфаген. Вскоре уже стали роптать носильщики, маркитанты и рабы, и народ и Великий Совет не присылали даже слова надежды. Положение становилось невыносимым, особенно при мысли, что оно должно было еще ухудшиться.

Узнав о поражении, Карфаген задрожал от ненависти и гнева; может быть, суффета менее ненавидели бы, если бы он дал разбить себя с самого начала.

Теперь не было ни времени, ни денег, чтобы набрать других наемников. Что касается до набора солдат в городе, то чем было их снарядить? Гамилькар забрал все оружие. И кому поручить командование? Лучшие вожди были там, у Гамилькара. Тем временем люди, посланные

суффетом, появились на улицах и оглашали их криками. Великий Совет обеспокоился и постарался их убрать.

Это была бесполезная предосторожность; все обвиняли Барку в чрезмерной мягкости. Следовало после его победы истребить наемников. Почему он ограбил союзников? Казалось бы, принесенные жертвы были достаточно велики. Патриции жалели об уплаченных ими четырнадцати шекелях, сисситы—о двухстах двадцати трех тысячах кикарах золота; а те, которые ничего не дали, жаловались не менее других. Народ злобствовал против новых карфагенян, которым он обещал полное право гражданства; и даже лигуров, которые так доблестно сражались, проклинали, как варваров, смешивая их с ними; принадлежность к их племени становилась преступлением, соучастием. Торговцы на порогах своих лавок, рабочие, которые проходили со свинцовой линейкой в руке, продавцы вина, банщики в банях и продавцы горячих напитков, все обсуждали военные действия. Рисовали пальцем на песке планы битв, и не было такого человека, который не умел бы на словах исправить ошибки Гамилькара.

Жрецы говорили, что это наказание за его безбожие. Он не приносил жертв, не освятил своих войск и даже отказался взять с собой авгуров. Обвинение в святотатстве еще более усиливало сдержанную злобу против него и бешенство, вызванное разбитыми надеждами. Вспоминали поражение в Сицилии и всю тяжесть его гордости, которую приходилось выносить так долго. Коллегия жрецов не могла простить ему то, что он овладел их деньгами, и требовала у Великого Совета торжественного обещания распять его, если он когда-нибудь вернется.

Другое бедствие заключалось в страшной жаре, наступившей в месяце элуле. С берегов озера распространялось зловоние, которое носилось по воздуху вместе с дымом благоуханий, поднимавшимся клубами на углах улиц. Неумолчно раздавалось пение гимнов. Целые толпы наполняли лестницы храмов; все стены покрыты были черными завесами; восковые свечи горели на лбу богов-патэков, и кровь верблюдов, убитых для жертвоприношения, текла вдоль перил, образуя красные потоки

на ступенях. Мрачное безумие овладело Карфагеном. Из глубины самых узких улиц, из самых мрачных притонов выходили бледные фигуры, люди со змеиными профилями и скрежетали зубами. Пронзительный вой женщин наполнял дома и, вырываясь за ограды, заставлял оборачиваться стоявших на площади и занятых разговором. Временами казалось, что варвары близко; их видели за горой Горячих Источников; они расположились лагерем в Тунисе; голоса возвышались, нарастали и смешивались в общем гуле. Затем наступало общее молчание; одни застывали на фронтонах зданий, прикрывая рукой глаза, в то время как другие, лежа на животах у подножия укреплений, внимательно прислушивались. Когда ужас проходил, его заменял гнев. Но сознание своей беспомощности погружало их снова в печаль.

Эта печаль усиливалась каждый вечер, когда все, поднимаясь на террасы, приветствовали громким криком солнце, кланяясь по девяти раз. Солнце медленно опускалось за лагуны, потом вдруг исчезало в горах в стороне, где находились варвары.

Приближался трижды священный праздник, когда с высоты костра взлетал к небу орел в знак воскресшего года, знаменуя привет народа своему верховному Ваалу и как бы союз с силой солнца. Впрочем, охваченный ненавистью, народ теперь наивно поклонялся Молоху, губителю людей, и все теперь отвернулись от Таниты. Лишенная своего покрывала, Раббетна теперь как бы утратила часть своего могущества. Она отказывала в своих благотворных водах, она покинула Карфаген, сделалась перебежчицей, всеобщим врагом. Некоторые бросали в нее камнями, чтобы оскорбить ее. Но, обвиняя богиню, многие ее жалели и любили, быть может, даже глубже, чем прежде.

Причиной всех несчастий была, таким образом, утрата заимфа. Саламбо была косвенной виновницей похищения покрывала, и общий гнев распространялся и на нее: ее нужно было подвергнуть наказанию. Вскоре в народе возникло смутное желание принести ее в жертву. Чтобы умиротворить богов, нужно было несомненно принести им в жертву нечто несчетно драгоценное: прекрасное,

юное, девственное существо старинного рода, происходящего от богов; нужно было заклать звезду человечества. Каждый день неизвестные люди вторгались в сады Мегары: рабы, дрожавшие за собственную жизнь, не решались бороться с ними. Люди эти, однако, не шли дальше лестницы, украшенной галерами. Они стояли у подножья лестницы, поднимая глаза к верхней террасе: они ждали Саламбо и в течение целых часов кричали, изливая свой гнев против нее, как собаки, лающие на луну.

ЗМЕЯ.

Крики черни не пугали дочь Гамилькара.

Ее терзало беспокойство более возвышенного свойства: занемогла ее большая змея, черный Пифон, а змея была для Карфагена общенародным и вместе с тем личным фетишем. Ее считали детищем земного ила, так как она выплывает из глубин земли, и ей не нужно ног, чтобы двигаться по земле: движения ее подобны течению рек, холод ее тела напоминает вязкий плодородный мрак подпочвы, а круги, которые она описывает, кусая свой хвост, подобны кругу планет, разуму Эшмуна.

Змея Саламбо уже несколько раз отклонила четырех живых воробьев, которых ей давали в пищу в каждое полнолуние и каждое новолуние. Ее красивая кожа, покрытая, подобно небесному своду, золотыми пятнами на черном фоне, пожелтела, сделалась дряблой, сморщенной и слишком широкой для ее тела; пушистая плесень окружила ее голову, а в углу век показались маленькие красные точки, которые как-будто двигались. От времени до времени Саламбо подходила к ее корзинке из серебряной проволоки. Она отодвигала пурпурный полог, листья лотоса, птичий пух; змея лежала, свернувшись, недвижная, как увядшая лиана. И, неотступно глядя на нее, Саламбо стала чувствовать, точно в ее сердце поднималась какая-то спираль, как бы другая змея, которая постепенно подступала ей к горлу и душила ее.

Саламбо была в отчаянии от того, что видела заимф; по вместе с тем она чувствовала радость и затаенную гордость. Из сверкавших складок вырывалась тайна; то было облако, окутывавшее богов, то была тайна мировой жизни, и Саламбо, ужасаясь себя самой, жалела, что не приподняла покрывала

Она почти все время сидела, прикурнув, в глубине своей комнаты, обняв руками поджатую левую ногу, с полуоткрытым ртом, с опущенным подбородком, с остановившимся взглядом. Она с ужасом думала о своем отце; ей хотелось уйти в финикийские горы, свершить паломничество в храм Афаки, куда Танита спустилась в виде звезды. Ее воображение рисовало манящие и вместе с тем пугающие картины, и с каждым днем ее одиночество увеличивалось. Она даже не знала ничего о судьбе Гамилькара.

Утомленная своими мыслями, она поднималась и, едва передвигая маленькими сандалиями, подошва которых стукалась об ее пятки при каждом шаге, бродила по большой комнате, окутанной тишиной. Золотистые пятна аметистов и топазов дрожали местами на украшенном ими потолке, и Саламбо, продолжая ходить, слегка поворачивала голову, чтобы глядеть на них. Она брала за горлышко свисавшие с потолка амфоры, подходила к большим опахалам, освежая грудь навеваемой ими прохладой, или же жгла кинамон в выдолбленных жемчужинах. В час заката Таанах вынимала черный войлок, закрывавший отверстия в стене; тогда в комнату влетали голуби, натертые мускусом, подобно голубям Таниты; их розовые лапки скользили по стеклянным плитам среди зерен овса, которые Саламбо бросала им полными пригоршнями, как сеятель в поле. Но иногда она вдруг разражалась рыданиями и недвижно лежала на широком ложе из кожаных ремней, неустанно повторяя одно и то же слово, бледная, как покойница, с широко раскрытыми глазами, бесчувственная, холодная. И все же она слышала в это время крики обезьян в пальмовых кущах и непрерывный скрип большого колеса, которое поднимало снизу струю чистой воды, изливавшейся в порфировый бассейн.

Иногда в течение нескольких дней она отказывалась от пищи. Ей снились помутневшие звезды, скользившие под ее ногами. Она призывала Шагабарима, но, когда он приходил, ей нечего было ему сказать.

Она не могла жить без него, и его присутствие утешало ее. Но она внутренно возмущалась его властью над ней: в ее чувстве к жрецу был ужас, соединявшийся с

ревностью, с ненавистью и вместе с тем с какою-то любовью, внушенною благодарностью за странное сладострастие, испытываемое ею в его присутствии.

Он признал влияние Раббетны, так как умел искусно распознавать, какие боги посылали болезни. Чтобы исцелить Саламбо, он приказывал кропить ее покои водою, настоенной на вервене и руте; она ела по утрам мандрагоры, спала на подушке, пропитанной ароматами, которые приготовляли жрецы; он даже примешивал к ним баарас—огненного цвета корень, который прогоняет на север злых духов. Наконец, обращаясь к полярной звезде, он трижды произносил шопотом таинственное имя Таниты; но все же Саламбо продолжала страдать, и ужас ее становился все более глубоким.

Шагабарим был самый ученый человек в Карфагене. В молодости он учился в школе Могбедов, в Борзиппе, близ Вавилона; потом он побывал в Самофракии, в Пессинунте, в Эфесе, в Фессалии, в Иудее, посетил храмы набатийцев, затерянные в песках, и пешком прошел вдоль берегов Нила, от водопадов до моря. Закутав лицо покрывалом и потрясая факелами, он бросил черного петуха на костер из сандарака перед грудью сфинкса, отца ужасов. Он спустился в пещеры Прозерпины, он видел вертящиеся пятьсот колонн лемносского лабиринта, сверкающий светильник в Таренте, на стержне которого укреплено столько ламп, сколько дней в году; по ночам он иногда принимал у себя греков и расспрашивал их. Строение мира занимало его не менее, чем природа богов; при помощи сооружений, устроенных в портике Александрии, он наблюдал равноденствия и сопровождал до Кирен бематистов из Эвергета, которые измеряют небо, считая свои шаги; и вследствие всего этого в мыслях его возникла особая религия, без определенных догматов, и именно вследствие этого головокружительная и пламенная. Он перестал верить, что земля имеет вид сосновой шишки; он считал ее круглой и вечно падающей в пространство с такою непостижимой быстротой, что ее падение незаметно.

По положению солнца над луной он убеждался в верховном могуществе Ваала, считая, что солнце лишь от-

ражение и облик его; и все его наблюдения над жизнью земли приводили его к признанию верховной власти истребительного мужского начала. Затем он втайне обвинял Раббетну в несчастии своей жизни. Не для нее ли некогда великий жрец, шествуя среди бряцания кимвал, лишил его будущей мужественности. И он следил печальным взглядом за теми, которые прятались вместе с жрицами в тени фистащковых деревьев.

Дни его проходили в осмотре кадильниц, золотых сосудов, щипцов и лопаток для алтарного пепла и всех одежд, приготовленных для статуй до бронзовой иглы, которой завивали волосы на статуе старой Таниты в третьей храмовой пристройке, вблизи изумрудного виноградника. В одни и те же часы он поднимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их; стоя в той же позе, с воздетыми руками, он молился, распростершись на тех же плитах, в то время как вокруг него целое племя жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком.

В пустыне его жизни Саламбо явилась, как цветок в расщелине гробницы. Он все же был суров с нею и не щадил ее, назначая ей покаяния и говоря ей горькие слова. Его жреческий сан устанавливал между ними как бы равенство пола, и ему было не столько тяжело то, что он не мог ею обладать, как то, что она была так прекрасна, в особенности, так чиста. Он часто замечал, что ей было утомительно следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой.

Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбо, как молнии, озаряющие пропасти. Так это было однажды ночью, на террасе, когда, оставшись вдвоем, они смотрели на звезды, а Карфаген расстилался внизу, у их ног, со своим заливом и морем, смутно сливающимися с окружающим мраком.

Он говорил ей о душах, спускающихся на землю тем же самым путем, каким проходит солнце среди знаков зодиака. Протянув руку, он указывал ей в созвездии Овна врата рождения человеческого, а в созвездии Козеро-

га—врата возвращения к богам. Саламбо старалась узреть их, ибо принимала его представления за действительность; ей казались реальными все чистые символы и даже обороты его речи, при чем и для самого жреца различие между символом и действительностью не было вполне определенным.

— Души мертвых,—говорил он,—растворяются в луне, как трупы в земле. Их слезы образуют влагу луны; там жизнь их проходит в темноте, в грязи, среди останков и бурь.

Она спросила, что с нею станется там

— Сначала ты будешь томиться, легкая, как пар, который качается над водами; а после испытаний и более длительных страданий ты пройдешь к очагу солнца, к самому источнику разума.

Однако, он не говорил о Раббетне. Саламбо думала, что он умалчивает о ней из стыда за ее побежденную богиню, и, называя ее общим именем, обозначающим луну, она стала восхвалять нежное, покровительствующее плодородию светило. Наконец, он воскликнул:

— Нет, нет! Свое плодородие земля получает от другого светила! Разве ты не видишь, что она бродит вокруг него, как влюбленная женщина, которая гонится по полю за тем, кого любит?

И он стал превозносить благостность солнечного света.

Он не только не убивал в ней ее мистических порывов, а, напротив того, поощрял их и с каким-то наслаждением мучил ее откровениями своего безжалостного учения. Саламбо, несмотря на страдания любви, страстно внимала этим откровениям.

Но чем более Шагабарим внутренно сомневался в Таните, тем более он жаждал верить в нее. В глубине души его останавливали как бы угрызения совести. Он нуждался в подтверждении, в каком-нибудь знамении, посланном богами, и, в надежде на него, жрец придумал нечто, что должно было одновременно спасти и его родину, и его веру.

Он стал в присутствии Саламбо сокрушаться о совершенном святотатстве и о несчастиях, которые оно вызывает даже в небесах. Потом он вдруг сообщил ей о том,

в какой опасности находился суффет, осажденный тремя войсками, которыми предводительствует Мато: Мато в глазах карфагенянина был как бы царем варваров, вследствие того, что он похитил покрывало. И Шагабарим прибавил, что спасение республики и ее отца зависят от нее одной.

— От меня?—воскликнула она.—Как я могу?..

Но жрец презрительно улыбнулся:

— Ты никогда не согласишься!

Она стала умолять его, и Шагабарим, наконец, сказал:

— Ты должна пойти к варварам и принести оттуда заимф!

Она опустилась на табуретку из черного дерева и сидела, вытянув руки между коленами, вся дрожа, как жертва у подножья алтаря, когда она ждет, что на нее опустится удар молота. У нее стучало в висках, в глазах пошли огненные круги, и в своем ужасе она понимала только одно,—что она обречена на скорую смерть.

Но если действительно Раббетна восторжествует, если заимф будет возвращен и Карфаген спасен, то не все ли равно, если это и будет стоить жизни одной женщине, думал Шагабарим. К тому же, быть может, она добудет покрывало и не погибнет.

В течение трех дней он не приходил к ней. Вечером четвертого дня она за ним послала.

Чтобы еще больше воспламенить ее сердце, он рассказывал ей о всех обвинениях, которые возводились на Гамилькара в Совете; он говорил ей, что так как она виновна в свершившемся, то и должна искупить свое преступление, и что Раббетна требует от нее этой жертвы.

Часто громкие крики, разносившиеся в Маппалах, доходили до Мегары. Шагабарим и Саламбо быстро выходили из комнат и, стоя на лестнице, украшенной галерами, смотрели на то, что происходило перед ними.

На Камонской площади толпа кричала, требуя оружия. Старейшины отказывались снабдить их оружием, считая всякое усилие бесполезным. Другие отряды, не имевшие предводителя, были разбиты и уничтожены. Наконец, им позволили уйти, и, как бы отдавая дань Молоху или про-

сто испытывая смутное желание разрушать что бы то ни было, они стали вырывать в рощах храмов большие кипарисы, зажигали их о факелы кабиров и с песнями носили их по улицам. Чудовищные факелы приближались, медленно раскачиваясь и бросая свет на стеклянные шары на верхушке храмов, на украшения колосса, на водорезы судов, перекидывались через террасы и казались солнцами, катящимися по городу. Пламя факелов спустилось с акрополя. Раскрылись ворота Мальки.

— Ты готова?—спросил Шагабарим.—Или ты поручила им сказать отцу, что покидаешь его?

Она закутала лицо в покрывало, и свет факелов удалился, постепенно спускаясь к краю вод.

Ее удерживал неопределенный ужас; она боялась Молоха, боялась Мато. Этот человек исполинского роста, владевший заимфом, превышал теперь своей властью Раббетну так же, как и Ваала, и представлялся ей окруженным такими же, как они, молниями; ведь души богов вселялись иногда в тела людей. И не сказал ли ей Шагабарим, говоря о нем, что она должна побороть Молоха? Мато смешался с Молохом, и она соединяла их в одном образе; они оба преследовали ее.

Ей захотелось вопросить о будущем, и она подошла к змее, ибо будущее можно было угадывать, наблюдая за положениями, которые принимали змеи. Но корзина была пуста, и это встревожило Саламбо.

Змея обернулась хвостом вокруг серебряных перил у подвешенной постели и терлась о колонку, чтобы высвободиться из старой пожелтевшей кожи; ее светлое сверкающее тело вытягивалось, как меч, наполовину вынутый из ножен.

В следующие дни, по мере того, как она давала убедить себя, что она все более готова придти на помощь Таните, Пифон исцелялся, утолщался и видимо оживал.

В душе она была теперь уверена, что Шагабарим выражал волю богов. Однажды утром, проснувшись с твердой решимостью совершить то, что от нее требовали, она спросила, что нужно ей сделать для того, чтобы Мато вернул покрывало.

— Потребовать его,—сказал Шагабарим.

— А если он откажет?—спросила она.

Жрец пристально взглянул на нее с такой улыбкой, какой она никогда не видела на его лице.

— Что же тогда?—повторила Саламбо.

Он вертел в пальцах концы повязки, которая спускалась на плечи с его тиары. Наконец, видя, что она не понимает, он сказал:

— Ты останешься с ним наедине.

— И что же?—сказала она.

— Наедине в его палатке.

— И что же?

Шагабарим закусил губы. Он придумывал, что сказать, чтобы обойти вопрос.

— Если тебе суждено умереть, то только потом,—сказал он.—Потом! Не бойся! И что бы он ни предпринял, не зови на помощь, не пугайся. Ты должна быть смиренной, понимаешь? Ты должна подчиниться его желаниям, в которых выражается воля неба.

— А покрывало?

— Об этом позаботятся боги,—ответил Шагабарим.

Она прибавила:

— Не пойдешь ли ты со мной, отец?

— Нет.

Он велел ей стать на колени и, держа левую руку поднятой и вытянув правую, поклялся за нее, что она принесет обратно в Карфаген плащ Таниты. Со страшными заклинаниями она посвящала себя богам и повторяла, обессиленная, каждое слово, которое произносил Шагабарим.

Он сказал ей, какие она должна произвести очищения, какие должна соблюдать посты, и затем рассказал ей, как пробраться к Мато. К тому же с ней должен был пойти человек, который знал дорогу.

Она почувствовала себя точно освобожденной от тяжести. Она думала только о радости, с которой увидит вновь заимф, и благословляла Шагабарима за его увещания.

То была пора, когда карфагенские голуби перелетали в Сицилию на гору Эрикс, к храму Венеры. Перед отлетом они в течение нескольких дней искали и звали друг

дружку, чтобы собраться вместе; наконец, в один вечер они улетели; их гнал ветер, и большое белое облако их скользило высоко на небе, над морем.

Горизонт залит был кровавым светом. Голуби мало-по-малу спускались к водам, затем исчезли, точно поглощенные морем и добровольно падая в пасть солнца. Саламбо, которая следила за их полетом, опустила голову, и Таанах, думая, что угадывает причину ее печали, тихо сказал ей:

— Ведь они вернутся, госпожа.

— Да, я знаю.

— И ты вновь увидишь их.

— Может быть,—сказала она со вздохом.

Она никому не сказала о своем решении; чтобы устроить все в тайне, она послала Таанах купить в предместьи Киниздо (вместо того, чтобы потребовать у дворцовых управителей) все, что ей нужно было: киноварь, ароматы, льняной пояс и новые одежды. Старая рабыня удивлялась этим приготовлениям, но не осмеливалась предлагать вопросов госпоже; и, наконец, наступил день, назначенный Шагабаримом для отъезда Саламбо.

В двенадцатом часу она увидела в глубине аллеи смоковниц слепого старца, который приближался, опираясь рукой на плечо шедшего перед ним ребенка; другой рукой он прижимал к бедру род цитры из черного дерева. Евнухи, рабы и женщины были тщательно удалены, и никто не мог знать о том, что тайно подготовлялось.

Таанах зажгла в углах своего покоя на четырех треножниках огонь из стробуса и кардамона; потом она развернула большие вавилонские ковры и натянула их на веревки вокруг комнаты; Саламбо не хотела, чтобы даже стены видели ее. За дверью сидел музыкант, играя на кинноре, между тем как мальчик, стоя, приложил к губам камышевую флейту. Вдали утихал гул улиц, лиловые тени ложились у колоннады храма, а с другой стороны залива подножье гор, поля, усаженные оливковыми деревьями, и невозделанные земли, уходившие волнами в бесконечную даль, сливались в голубоватой дымке; не слышно было ни звука, и несказанное уныние тяжело висело в воздухе.

Саламбо спустилась на ониксовую ступеньку на краю бассейна; она подняла широкие рукава, укрепила их за плечами и принялась медленно свершать омовения по священному ритуалу.

Затем Таанах принесла ей в алебастровом сосуде какую-то свернувшуюся жидкость; то была кровь черной собаки, зарезанной бесплодными женщинами в зимнюю ночь на развалинах гробницы. Саламбо натерла себе ею уши, пятки, большой палец правой руки; даже ноготь сделался красноватым, точно она раздавила какой-то плод.

Поднялась луна, и раздались сразу звуки цитры и флейты.

Саламбо сняла серьги, ожерелье, браслеты и свою длинную белую одежду. Она сняла также повязку с волос и в течение нескольких минут сотрясала волосы на плечах, медленно, чтобы освежиться, распуская их. Музыка за дверьми продолжалась; она состояла из одних и тех же трех нот, быстрых и бешеных; струны звенели, заливалась флейта; Таанах ударяла в такт в ладоши. Саламбо, покачиваясь всем телом, шептала молитвы, и ее одежды падали одна за другой к ее ногам.

Тяжелый ковер задвигался, и над веревкой, поддерживавшей его, показалась голова Пифона. Он медленно спустился подобно капле воды, стекающей вдоль стены, прополз между разостланными тканями, потом, упираясь хвостом в пол, выпрямился; глаза его, сверкавшие ярче карбункула, устремились на Саламбо.

Боязнь холода или, быть может, чувство стыдливости заставило ее остановиться в нерешительности. Но она вспомнила приказания Шагабарима и сделала шаг вперед. Пифон, опустившись на землю, приблизился к ней и, прижавшись срединой тела к ее затылку, опустил голову и хвост, подобно сломанному ожерелью, концы которого падают до земли. Саламбо обернула его вокруг бедер, под мышками и между колен; потом, взяв его за челюсти, приблизила его маленькую треугольную пасть к краю своих зубов и, полузакрыв глаза, откинулась назад под лучами луны. Белый свет точно обволакивал ее серебристым туманом, следы ее влажных ног сверкали

на плитах, звезды дрожали в глубине воды; Пифон прижимал к ней свои черные кольца, усеянные золотыми пятнами. Саламбо вадыхалась под его чрезмерной тяжестью, ноги ее подкашивались; ей казалось, что она умирает. А змея мягко ударяла ее кончиком хвоста о бедра; потом, когда музыка смолкла, она разжала свои об'ятья и упала на пол.

Таанах снова подошла к Саламбо; установив два светильника, пламя которых горело в стеклянных шарах, полных воды, она выкрасила лавзонией ладони рук Саламбо, нарумянила ее щеки киноварью, насурмила ей брови и удлинила их составом из камеди, мускуса, черного янтаря и лапок раздавленных мух

Саламбо, сидя на стуле с ножками из слоновой кости, отдалась заботам рабыни. Но касающиеся ее руки Таанах, а также запах ароматов и слабость, вызванная постами, лишили ее сил. Она так побледнела, что Таанах остановилась

— Продолжай!—сказала Саламбо и, не поддаваясь своей слабости, оживилась. Ею овладело нетерпение; она стала торопить Таанах, и старая рабыня сказала ворчливым голосом:

— Хорошо, хорошо, госпожа... Тебя ведь никто не ждет...

— Нет,—сказала Саламбо,—меня кто-то ждет.

Таанах отшатнулась с удивлением и сказала, стараясь что-нибудь выведать:

— Что же ты прикажешь мне, госпожа; ведь, если ты уйдешь...

Саламбо зарыдала, и рабыня воскликнула:

— Тебе тяжело? Что с тобой? Не уходи или возьми меня с собой! Когда ты была совсем маленькой и начинала плакать, я прижимала тебя к сердцу и забавляла тебя, давая тебе трогать мои сосцы. Ты их иссушила, госпожа!—Она ударяла себя в иссохшую грудь.—Теперь я старая. Я не могу утешить тебя. Ты меня не любишь. Ты скрываешь от меня свою печаль, ты отвергла свою кормилицу!

Слезы нежности и обиды текли по ее щекам, по бороздам ее татуировки.

— Нет, — сказала Саламбо, — нет, я люблю тебя. Утешься.

Таанах снова взялась за работу, улыбаясь улыбкой, похожей на гримасу старой обезьяны. Следуя советам Шагабарима, Саламбо приказала одеть себя с большой пышностью, и Таанах наряжала ее в варварском вкусе с большой изысканностью и вместе с тем с некоторой наивностью.

На первую тонкую тунику винного цвета она надела на Саламбо вторую, расшитую птичьими перьями. Золотая чешуя прилеплялась к бедрам, и из-под этого широкого пояса спускались широким потоком ее голубые шаровары, расшитые серебряными звездами. Затем Таанах надела на нее широкое платье из полотна, изготовленного в Сересе, белое, расшитое зелеными полосами. К плечу ее она прикрепила пурпурный четырехугольник, отягощенный внизу зернами сандраста; и поверх этих одежд она накинула черный плащ с длинным шлейфом. После того она стала оглядывать ее и, гордясь своей работой, не могла удержаться, чтобы сказать:

— Ты не будешь наряднее и в день своей свадьбы!

— Моей свадьбы,—повторила Саламбо, опираясь локтем о ручку кресла из слоновой кости.

Таанах установила перед ней медное зеркало, такое широкое и высокое, что она увидела себя в нем во весь рост. Тогда она поднялась и легким движением пальцев приподняла слишком низко спустившийся локон волос.

Волосы ее, усыпанные золотой пудрой, взбитые на лбу, спускались на спину длинными волнами и были убраны внизу жемчугом. Пламя светильников оживляло румяна на ее щеках, золото ее одежд и белизну ее кожи; вокруг талии, на плечах, на руках и на пальцах ног сверкало столько драгоценностей, что зеркало, подобно солнцу, бросало на нее отсветы лучей. И Саламбо, стоя рядом с Таанах, наклонившейся, чтобы глядеть на нее, улыбалась среди этого ослепительного сверкания.

Потом она стала ходить по комнате, не зная, куда девать оставшееся у нее время.

Вдруг раздалось пение петуха. Она быстро прикрепила к волосам длинную желтую вуаль, обвернула шею шарфом, всунула ноги в ботинки из синей кожи и сказала Таанах:

— Пойди посмотри, не стоит ли в миртовой роще человек с двумя лошадьми.

Когда Таанах вернулась, она уже спускалась по лестнице, украшенной галерами.

— Госпожа,—сказала кормилица.

Саламбо обернулась и приложила палец к губам в знак безмолвия и неподвижности.

Таанах тихо соскользнула вдоль галер до самого низа террасы; издали, при свете луны, она увидела в аллее кипарисов огромную тень, двигавшуюся вкось, слева от Саламбо; это предвещало смерть.

Таанах поднялась в комнату Саламбо. Она бросилась на пол, разрывая лицо ногтями, вырывая себе волосы и испуская пронзительные крики.

Но она вспомнила, что ее могут услышать, и замолчала. Она продолжала рыдать совсем тихо, закрывая лицо руками и прижимаясь к плитам.

В ПАЛАТКЕ.

Человек, который сопровождал Саламбо, провел ее за маяк, по направлению к катакомбам, потом спустился с нею вдоль длинного предместья Молуи с его крутыми маленькими улицами. Небо начинало бледнеть. В нескольких местах выступающие из стен пальмовые балки принуждали их опускать голову. Две лошади, ступая шагом, скользили по земле; так они доехали до тевестских ворот.

Тяжелые половинки ворот были полуоткрыты; они проехали, и ворота закрылись за ними.

Сначала они следовали вдоль подножья укреплений и на высоте Цистерн направились вдоль Тении—узкой полосы желтой земли, которая, отделяя залив от озера, тянется до Радеса.

Никого не было видно ни вокруг Карфагена, ни на море, ни в окрестностях. Воды, цвета аспидной доски, мягко бурлили, и легкий ветер, разгоняя их пену, рябил поверхность белыми полосами. Саламбо дрожала от утренней прохлады, хотя и была закутана в плащ и покрывало; движение и воздух опьянили ее. Потом взошло солнце; оно грело ей затылок, и она стала невольно дремать. Лошади шли рядом, ступая по влажному песку.

Миновав гору Горячих Вод, они поехали быстрее, так как почва сделалась более твердой.

Но поля, хотя это и было в пору посева и работ, были пустынны на всем пространстве, открытом глазу. Местами виднелись разбросанные полосы ржи; в других местах осыпался рыжеватый овес. На светлом горизонте деревни выступали черными, разбросанными, беспорядочными пятнами.

От времени до времени на краю дороги выступал кусок обгоревшей стены. Крыши хижин провалились, и внутри домов виднелись осколки глиняной посуды, одежда в лохмотьях, всевозможные предметы домашнего обихода и разбитые, утратившие всякую форму вещи. Часто из этих развалин выходил какой-нибудь человек в лохмотьях с землистым лицом и горящим взором. Но он быстро убегал или исчезал в какой-нибудь дыре. Саламбо и ее проводник не останавливались.

Заброшенные людьми равнины тянулись одна за другой. На светлой земле лежала неровным слоем угольная пыль, которую вздымал за ними бег их лошадей. Иногда они попадали в мирные места, где протекал ручеек среди длинных трав; переходя на другой берег, Саламбо, чтобы освежить руки, срывала влажные листья. Проезжая через рощу олеандров, лошадь ее отшатнулась перед лежавшим на земле трупом.

Невольник тотчас же снова усадил Саламбо на подушки. Он был один из служителей храма, и Шагабарим всегда поручал опасные предприятия ему.

Из чрезмерной осторожности он теперь шел пешком рядом с нею, между лошадьми, и хлестал их кожаным ремнем, обвернутым вокруг руки. Иногда он вынимал из корзинки, привешенной у него на груди, шарики пшеничного теста, финики и яичные желтки, завернутые в листья лотоса, и безмолвно предлагал их Саламбо, продолжая сам бежать.

Днем им встретились на дороге три варвара, одетых в звериные шкуры. Потом мало-по-малу стали появляться другие, бродившие кучками в десять, двенадцать, двадцать пять человек; некоторые из них гнали перед собой ков или хромую корову. Их толстые палки снабжены были железными остриями; на грязной одежде сверкали кортики, и вид их был изумленный и угрожающий. Некоторые проходили, произнося обычные благословения, другие посылали вслед проезжающим грубые шутки; раб Шагабарима отвечал им каждый раз на их собственном наречии. Он говорил им, что сопровождает больного мальчика, который едет искать исцеления в далеком храме.

День догорал. Раздался лай собак, и они поехали по его направлению.

При свете заходящего солнца они увидели ограду из сухих камней, за которой находилось здание неопределенной формы. Вдоль стены бежала собака. Невольник бросил в нее камень, и они вошли в высокий зал со сводами.

Посредине зала сидела на корточках женщина и грелась у огня из хвороста, дым которого выходил в отверстия на потолке. Седые волосы, которые падали ей до колен, наполовину закрывали ее; не желая им отвечать, она с бессмысленным видом бормотала что-то о мести варварам и карфагенянам.

Невольник стал шарить по комнате, потом снова подошел к ней и потребовал пищи. Старуха качала головой и, не отводя глаз от пылающих углей, пробормотала:

— Я была рукой. Десять пальцев отрезали. Рот перестал есть.

Невольник показал ей пригоршню золота. Она бросилась было на деньги, потом снова приняла неподвижную позу.

Наконец, он поднес к ее горлу кинжал, который вынул из-за пояса. Тогда она встала, дрожа, подняла большой камень и принесла амфору с вином и рыб из Гиппо-Зарита, сваренных в меду.

Саламбо отвернулась от этой противной пищи и легла спать на лошадиных попонах, разложенных в углу комнаты.

Еще не занялся день, когда ее разбудил ее спутник.

Собака завыла. Раб тихонько подкрался к ней и одним ударом кинжала срубил ей голову. Потом он натер кровью ноздри лошадей, чтобы оживить их. Старуха послала ему вслед проклятье. Саламбо это услышала и сжала амулет, который носила на груди

Они снова отправились в путь.

От времени до времени она спрашивала, скоро ли они, наконец, приедут. Дорога извивалась по маленьким холмам. Слышалось только стрекотанье стрекоз. Солнце грело пожелтевшую траву; земля вся растрескалась, образуя как бы чудовищные плиты. Иногда проползала га-

дюка, пролетал орел. Невольник продолжал бежать; Саламбо задумалась под своими покрывалами и, несмотря на жару, не снимала их, боясь загрязнить свой пышный наряд.

На разных расстояниях возвышались башни, выстроенные карфагенянами для наблюдения за варварами. Они входили в них, чтобы отдохнуть в тени, потом снова пускались в путь.

Накануне они из осторожности сделали большой об'езд. Но теперь им больше никто не встречался, вся местность была бесплодная, и варвары не проходили по ней.

Но мало-по-малу опять стали появляться следы опустошения. Иногда среди поля видна была мозаика, одна только уцелевшая от разрушенного замка; оливковые деревья, лишенные листьев, казались издали большими кустами терновника. Они проезжали через город, все дома которого были сожжены до уровня земли. Вдоль стен лежали человеческие остовы; попадались также дромадеры и мулы. Из'еденная падаль заграждала улицы.

Спускалась ночь. Небо было низкое и покрытое тучами.

Они поднимались вверх еще два часа по направлению к западу и вдруг увидели перед собой множество маленьких огней.

Они светились в глубине амфитеатра. Местами сверкали золотые бляхи, передвигавшиеся с места на место. То были панцыри клинобаров в карфагенском лагере; потом они увидели вокруг лагеря другие, еще более многочисленные огни, так как войска наемников, сливщиеся теперь воедино, расположились на большом пространстве.

Саламбо сделала движение по направлению к лагерю. Но невольник Шагабарима увлек ее дальше, и они проехали вдоль террасы, замыкавшей лагерь варваров. Показалась брешь, и невольник исчез в ней.

На вершине окопа ходил часовой с пикой за плечом, с луком в руке.

Саламбо под'езжала все ближе; варвар опустился на колени, и длинная стрела пронзила край ее плаща. По-

том, так как она не двигалась и что-то кричала, он спросил ее, что ей нужно.

— Мне нужно видеть Мато,—сказала она:—я перебежчик из Карфагена.

Он свиснул, и свист его повторился вдали.

Саламбо ждала. Лошадь ее, испуганная свистом, кружилась, с громким фырканьем.

Когда появился Мато, за нею поднималась луна. Но лицо ее было скрыто под желтой вуалью с черными разводами, и она была так закутана покрывалами, что не было возможности разглядеть ее. С высоты террасы Мато смотрел на ее закутанную фигуру, выступавшую точно призрак в предвечернем свете.

Наконец, она сказала ему:

— Поведи меня в твою палатку. Я так хочу!

Смутное воспоминание, которого он не мог определить, проснулось в его памяти. У него забилось сердце. Ее властный вид смущал его.

— Следуй за мной!—сказал он.

Барьер опустился, и она очутилась в лагере варваров.

Его наполнял шум густой толпы. Светлые огни горели под висящими котлами, и их багровые отсветы освещали одни места, оставляя другие в полном мраке. Раздавались крики, призывы; лошади, привязанные к перекладинам, стояли длинными прямыми рядами среди палаток; палатки были круглые или четырехугольные, кожаные или полотняные; местами выстроены были хижины из камышей, и в песке зияли дыры, какие вырывают собаки. Воины таскали фашины, облокачивались на землю или обворачивали себя цыновками, ложась спать; лошадь Саламбо должна была временами перепрыгивать через них.

Саламбо вспоминала, что видела уже этих людей; но теперь бороды их отросли, лица еще более почернели, и голоса сделались еще более хриплыми. Мато, который шел впереди нее, отстранял их рукой, от чего приподнимался его красный плащ. Некоторые из воинов целовали его руки, другие, низко сгибаясь перед ним, спрашивали, что он им прикажет. Он был теперь настоящим, единственным предводителем варваров; Спендий, Афтарит и

Нар-Гавас пали духом, а он обнаружил столько отваги и упрямства, что все ему покорялись.

Следуя за ним, Саламбо прошла через весь лагерь. Его палатка была в конце лагеря, в трехстах шагах от окопа Гамилькара.

Она увидела справа большой ров, и ей казалось, что у края его, на уровне земли, виднелись лица наподобие отрубленных голов. Но глаза их двигались, и из их полуоткрытых ртов исходили стенания на карфагенском языке.

Два негра со смоляными факелами в руках стояли по обе стороны двери. Мато быстро раздвинул полотняную завесу. Она последовала за ним.

Палатка была глубокая, с мачтой посредине. Большой светильник в форме лотоса освещал ее, наполненный желтоватым растительным маслом, в котором плавали куски пакли; в полумраке виднелось сверкающее оружие. Обнаженный меч стоял, прислоненный к табурету, рядом со щитом; бичи из гиппопотамовой кожи, кимвалы, бубенцы, ожерелья лежали в беспорядке в плетеных корзинах; войлочное одеяло загрязнено было рассыпанными по нем крошками черного хлеба; в углу, на круглом камне, лежали кучей небрежно брошенные медные монеты, а сквозь отверстие разорванного полотна ветер доносил пыль лагеря и запах слонов, которые громко жевали пищу, бряцая своими цепями.

— Кто ты?—спросил Мато.

Не отвечая ему, она медленно оглядывалась вокруг себя; потом взор ее остановился в глубине, где на постели из пальмовых ветвей лежало, спускаясь на пол, что-то синее и сверкающее.

Она быстро направилась туда, невольно испуская крик; Мато, стоявший за ней, топнул ногой.

— Кто тебя привел? Что тебе нужно?

Она ответила, указывая на заимф:

— Я пришла за ним!

Она быстро сорвала покрывало с головы. Он отступил, делая движение локтями назад, раскрыв рот, охваченный ужасом.

Она чувствовала себя сильной помощью богов; глядя ему в лицо, она потребовала у него заимф, гордыми и обильными речами убеждая его исполнить ее требование.

Мато не слушал; он глядел на нее, и одежды ее, казалось ему, сливались с ее телом. Переливающийся свет тканей был, как и блеск ее кожи, чем-то особым, ей одной принадлежащим. Ее глаза сверкали вместе с драгоценными камнями; блеск ее ногтей продолжал игру камней на ее пальцах; две пряжки туники, слегка приподнимая ее груди, приближали их одну к другой, и мысли его устремлены были на узкое пространство между ними, куда спускалась цепочка, держа изумрудную звезду, видневшуюся ниже, под фиолетовым газом. К ушам ее были привешены маленькие сапфировые весы, поддерживавшие выдолбленные жемчужины, которые были наполнены ароматной влагой. Сквозь отверстия жемчужины падали временами маленькие капли, смачивая ее обнаженное плечо, Мато следил за их падением.

Неудержимое любопытство влеко его к ней; как дитя, касающееся запрещенного плода, он, дрожа, коснулся кончиком пальца ее груди; ее холодное тело упруго уступило давлению.

Это прикосновение, хотя оно было едва ощутимым, потрясло Мато до глубины его существа. Ему хотелось охватить ее, поглотить, выпить всю ее. Грудь его тяжело вздымалась, зубы стучали. Взяв ее за обе руки, он мягко потянул ее и сел на панцырь у постели из пальмовых ветвей, покрытой львиной шкурой. Она стояла. Он глядел на нее снизу вверх и, держа ее между ногами, повторял:

— Как ты прекрасна! Как ты прекрасна!

Ей было трудно выносить его взгляд, устремленный на нее; отвращение, которое он ей внушал, так обострилось, что она едва могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. Но она вспомнила слова Шагабарима и решилась покориться.

Мато продолжал держать ее маленькие руки в своих, и она от времени до времени, вопреки приказаниям жреца, отворачивая лицо, пыталась отстранить его движением рук. Он широко раскрывал ноздри, чтобы

сильнее вдыхать благоухание, исходившее от нее. То был неописуемый аромат, свежий и вместе с тем отуманивавший его, как дым курений. От нее шел запах меда, перца, ладана, роз и еще чего-то другого.

Но каким образом она очутилась у него, в его палатке, в его власти? Кто-нибудь, наверное, направил ее сюда! Неужели она пришла за заимфом? Руки его опустились, и он наклонил голову в глубоком раздумьи.

Саламбо, чтобы растрогать его, сказала жалобным голосом:

— Что я тебе сделала? Почему ты хочешь моей смерти?

— Твоей смерти?

Она продолжала:

— Я увидела тебя однажды вечером, при свете моих горящих садов, среди дымящихся кубков и моих зарезанных рабов, и твой гнев был так велик, что ты кинулся ко мне, и я должна была бежать! Потом ужас овладел Карфагеном. Всюду раздавались крики об опустошенных городах, сожженных деревнях и резне, учиняемой варварами; это ты их всех погубил, ты их всех убивал! Я ненавижу тебя. Самое твое имя терзает меня, как угрызение совести. Ты хуже чумы и войны с римлянами! Все провинции сотрясены твоим гневом, все поля усеяны трупами. Я шла по следам твоих пожаров, точно по следам Молоха!

Мато вскочил; сердце его расширялось от гордости; он чувствовал себя поднятым на высоту бога.

С раздувающимися ноздрями, стиснув зубы, она продолжала:

— Как-будто мало было свершить святотатство, ты еще явился ко мне, когда я спала, закутанный в заимф! Я не различала твоих слов, но я ясно видела, что ты хотел увлечь меня на что-то страшное, в какую-то пропасть.

Мато воскликнул, заламывая руки:

— Нет, нет! Я пришел, чтобы отдать тебе его. Мне казалось, что богиня сняла свою одежду для тебя, и что плащ ее принадлежит тебе. В ее храме или в твоем

доме, не все ли равно? Разве ты не всемогущественна, не безгрешна и не лучезарно прекрасна, как Танита?

И он прибавил, глядя на нее с беспредельным обожанием:

— Если только ты не сама Танита?

— Я—Танита!—сказала себе Саламбо.

Они перестали говорить. Вдали грохотал гром. Раздалось блеяние овец, испуганных грозой.

— О, подойди ко мне,—снова сказал он.—Подойди и не бойся! Прежде я был простым воином в толпе наемников, и таким смиренным, что таскал на спине дрова за других. Что мне за дело до Карфагена. Толпа людей теряется для меня в пыли твоих сандалий, и все сокровища, все провинции, флоты и острова привлекают меня гораздо меньше, чем свежесть твоих губ и наклон твоих плеч. Я хотел снести стены Карфагена только для того, чтобы дойти до тебя, чтобы обладать тобой! Но в ожидании тебя я предавался мести. Теперь я давлю людей, как скорлупу, я бросаюсь на палатки, я рукой отстраняю копья, я останавливаю коней, хватая их за ноздри; меня не может убить катапульт. О, если бы ты знала, как я думаю о тебе среди боя! Иногда меня вдруг охватывает воспоминание о каком-нибудь твоем движении, о складке твоей одежды, окутывая меня, точно сетью! Я вижу твои глаза в сверкании огненных стрел и на позолоте щитов. Я слышу твой голос в звуке кимвал. Я тогда оборачиваюсь, но не вижу тебя и вновь бросаюсь в бой!

Он поднял руки, на которых вены переплетались, как плющ на ветвях дерева. Пот стекал на его грудь между широкими мускулами; тяжелое дыхание вздымало его бока, опоясанные бронзовым поясом с длинными ремнями, свисавшими к коленям, которые были тверже мрамора. Саламбо, привыкшая к виду евнухов, почувствовала восторг перед его силой. То было наказание богини или влияние Молоха, реявшего вокруг нее в пяти войсках. Она изнывала от слабости и внимала с изумлением крикам перекликающихся часовых.

Пламя светильника колебалось под напором теплого воздуха. Временами все освещалось яркими молниями,

потом мрак усиливался, и она видела перед собой только глаза Мато, сверкавшие, как два угля в темноте. Но она ясно чувствовала, что на нее спустилась роковая сила, что она близка к непоправимому и, делая усилие над собою, она опять направилась к заимфу и подняла руки, чтобы охватить его.

— Что ты делаешь?—воскликнул Мато.

Она ответила спокойным голосом:

— Я возвращаюсь в Карфаген.

Он подошел к ней, скрестив руки и с таким страшным видом, что она остановилась, как вкопанная.

— Ты возвращаешься в Карфаген!—Он едва мог говорить и повторил, скрежеща зубами:

— Ты возвращаешься в Карфаген! Ты пришла сюда, чтобы взять заимф, победить меня и потом исчезнуть. Нет, нет, ты принадлежишь мне, и никто не отнимет тебя у меня! Я не забыл дерзкий взгляд твоих больших спокойных глаз, не забыл, как ты уничтожала меня величием твоей красоты. Теперь моя очередь! Ты моя пленница, моя рабыня, моя служанка. Призови, если желаешь, твоего отца с его войском, старейшин, богатых и весь твой проклятый народ! Я начальник трехсот тысяч солдат. Я выведу войска из Лузитании, из Галлии, из глубины пустынь и разрушу твой город, сожгу все его храмы; триремы будут носиться по волнам крови. Я не оставлю ни одного дома, ни одного камня, ни одной пальмы. А если не хватит людей, я приведу медведей из гор, пригоню львов. Не пытайся убежать, я тебя убью!

Бледный, с сжатыми кулаками, он дрожал, как арфа, у которой лопаются струны. Потом вдруг его стали душить рыдания, и ноги его подкосились:

— О, прости меня! Я негодяй, я презреннее скорпионов, грязи и пыли. Вот теперь, когда ты говорила, дыхание твое пронеслось по моему лицу, и я упивался им, как умирающий, который пьет воду, подползши на животе к краю ручья. Раздави меня, лишь бы только я чувствовал на себе твои ноги! Проклинай меня, лишь бы я слышал твой голос! Не уходи. Сжалься надо мной. Я люблю тебя, я люблю тебя!

Он опустился перед ней на колени, охватив ее стан обеими руками, откинув голову; руки его блуждали по ее телу. Золотые кольца, продетые в его уши, сверкали на шее бронзового цвета. Крупные слезы стояли в его глазах, подобно стеклянным шарам. Он нежно вздыхал и бормотал неясные слова, более легкие, чем ветерок, и сладостные, как поцелуй.

Саламбо была охвачена истомой, теряя сознание самой себя. Что-то нежное и вместе с тем властное, казавшееся волей богов, принуждало ее отдаться этой истоме; облака поднимали ее, и, обессиленная, она упала на ложе, на львиную шкуру. Мато схватил ее ноги, золотая цепочка треснула, и оба конца ее, отлетая, стукнули о полотно палатки, как две подскочившие змеи. Заимф упал и окутал его; она увидела лицо Мато, склонившееся к ее груди.

— Молох, ты жжешь меня!—воскликнула она. Поцелуи воина, пожиравшие ее сильнее пламени, покрыли всю ее. Ее точно поднял на воздух вихрь, покорила сила солнца.

Он целовал все пальцы ее рук, ее плечи, ее ноги и длинные косы ее волос.

— Унеси его!—сказал он.—На что мне он! Возьми меня вместе с ним. Я покину войско, я откажусь от всего. За Гадесом, в двадцати днях пути, среди моря, лежит остров, покрытый золотой пылью и зеленью, населенный птицами. На горах цветут большие цветы, полные дымящихся благоуханий; они качаются, как вечные кадильницы. С лимонных деревьев, более высоких, чем кедры, змеи молочного цвета стряхивают на траву плоды алмазами своих пастей; воздух там такой мягкий, что не дает умереть. О, я найду этот остров, ты увидишь. Мы будем жить в хрустальных гротах, высеченных у подножия холмов. На острове нет еще обитателей, и я сделаюсь там царем.

Он очищал пыль с ее котурнов; он просил ее положить в рот кусочек гранатового яблока; он устроил за ее головой подушки из свернутых одежд. Он всячески старался услужить ей, унизиться перед нею и накрыл ее ноги заимфом, точно это было простое покрывало.

— Есть у тебя еще,—спросил он,—маленькие рога газели, на которые ты вешаешь свои ожерелья? Подари мне их, я их люблю!

Он говорил так, как-будто война уже кончилась, и все время радостно смеялся; наемники, Гамилькар, все препятствия исчезли теперь для него. Луна выплывала между двумя облаками. Они видели ее через отверстие палатки.

— О, сколько ночей я провел, глядя на нее! Она мне казалась покрывалом, закрывшим твое лицо; ты глядела на меня сквозь него; память о тебе смешивалась с ее лучами, и я уже не различал тебя от луны.

Опустив голову к ней на грудь, он плакал горячими слезами.

— Так вот,—подумала она,—каков этот страшный человек, наводящий ужас на карфагенян!

Он заснул. Тогда, высвободившись из его об'ятий, она опустила ногу на землю и заметила, что цепочка ее оборвана.

Девушек знатных домов приучали считать эти ножные путы почти священными, и Саламбо поэтому покраснела, обвивая вокруг ног обрывки золотой цепочки.

Карфаген, Мегара, ее дом, ее комната и путь, по которому она проехала, закружились перед ее глазами смутными и в то же время отчетливыми картинами. Теперь ее бесконечно отделяла от них бездна всего, что произошло.

Гроза прошла; редкие капли дождя падали с шумом, колебля кровлю палатки.

Мато спал, как пьяный, вытянувшись на боку, и одна рука его спустилась с края постели. Его жемчужная повязка слегка поддалась вверх и обнажала его лоб. Улыбка раздвинула его зубы. Они сверкали, оттененные черной бородой, и полуоткрытые глаза выражали тихую, почти оскорбительную радость.

Саламбо глядела на него, не двигаясь, опустив голову и скрестив руки.

У изголовья, на кипарисовом столе лежал кинжал; вид сверкающего лезвия вызвал в ней жажду крови. Чьи-то жалобные голоса слышались вдали, в тени, и звали ее,

как хор духов. Она подошла к столу и взяла кинжал за рукоятку. Шорох ее платья пробудил Мато; он полуоткрыл глаза, и губы его приблизились к ее рукам; кинжал выпал из них.

Раздались крики, и сильный свет вспыхнул за полотном. Мато приподнял его, и они увидели пламя, окутавшее лагерь ливийцев.

Их тростниковые хижины горели, и шесты, поддерживавшие их, извиваясь, трескались в дыму и отлетали, как стрелы; на красном горизонте виднелись бежавшие в ужасе черные тени. Слышен был вой людей, которые оставались в хижинах; слоны, быки и лошади прыгали среди толпы, давя ее вместе с поклажей и с провиантом, который вытаскивали из пожара. Раздались звуки труб и крики:

— Мато! Мато!

К дверям палатки прибежали люди, которые хотели ворваться в нее:

— Выходи! Гамилькар поджег лагерь Автарита.

Он выскочил одним прыжком, и Саламбо осталась одна.

Тогда она стала рассматривать заимф и удивлялась, созерцая его, что не чувствует того блаженства, которое она себе прежде воображала от его созерцания. Исполнение мечты вызывало в ней только печаль.

Низ палатки поднялся, и в отверстии показалось какое-то чудовище. Саламбо различала сначала только два глаза и длинную белую бороду, свисавшую до земли; остальное тело, опутанное лохмотьями рыжей одежды, ползало на земле; и при каждом движении вперед, обе руки вцеплялись в бороду и потом опускались. Таким образом, чудовище доползло до ее ног, и Саламбо узнала старика Гискона.

Наемники, чтобы помешать прежним пленникам бежать, переламывали им ноги железными палками, и они гнили, сбившись в кучу во рву, среди нечистот. Наиболее сильные приподнимались с криком, когда слышали звон посуды, в которой им приносили еду: так, приподнявшись, Гискон увидел Саламбо. Он угадал в ней карфагенянку по маленьким шарикам из сандастра, которые

ударялись об ее котурны; поняв, что тут скрывается какая-то важная тайна, он при помощи своих товарищей вылез из рва и потом, двигая руками и локтями, пополз двадцать шагов и добрался до палатки Мато. Оттуда раздавались два голоса. Он стал прислушиваться и все услышал.

— Это ты!—сказала она, наконец, охваченная ужасом.

Приподнимаясь на руках, он ответил:

— Да, это я. Думают, что я умер, не правда ли?

Она опустила голову. Он продолжал:

— О, почему ваалы не посылают мне избавления!

Приблизившись к ней так близко, что он касался ее, он продолжал:

— Они бы избавили меня от труда проклинать тебя.

Саламбо быстро откинулась назад, до того ей страшно было перед этим нечистым существом, отвратительным и грозным, как привpак.

—Мне скоро исполнится сто лет,—сказал он—Я видел Агафокла; я видел Регула, видел, как римские орлы проносились по жатвам карфагенских полей. Я видел все ужасы битв и море, запруженное обломками нашего флота. Варвары, которыми я предводительствовал, заковали мне руки и ноги, как рабу, свершившему убийство. Мои товарищи один за другим умирают вокруг меня, зловоние их трупов не дает мне спать; я отгоняю птиц, которые прилетают выклевывать им глаза; и все же я никогда не отчаиваюсь в торжестве Карфагена. Даже если бы я видел направленными против него все войска мира, если бы пламя осады поднималось выше карфагенских храмов, я бы продолжал верить в вечность Карфагена. Но теперь все кончено, все потеряно. Боги ненавидят его. Проклятье тебе, ускорившей его падение твоим позором.

Она раскрыла губы.

— Я был тут, около палатки, — воскликнул он. — Я слышал, как ты задыхалась от любви, как блудница; потом он говорил тебе о своих желаниях, и ты позволяла целовать себе руки. Но уж если тобой овладела бесстыдная страсть, ты бы должна была брать пример с диких зверей,

которые совокупляются втайне, а не выставлять свой позор на глазах твоего отца.

— Моего отца?—спросила она.

— Ты не знала, что два окопа отстоят один от другого всего на шестьдесят локтей, и что твой Мато по чрезмерной своей гордости расположился прямо против Гамилькара. Твой отец тут, за тобой. Если бы я мог подняться по тропинке, которая ведет на площадку, я бы крикнул ему: «Пойди, посмотри на твою дочь в об'ятиях варвара! Она надела, чтобы понравиться ему, одежду богини; отдавая свое тело, она отдает на поругание славу твоего имени, величие богов и жертвует честью родины и спасением Карфагена!»

Движения его беззубого рта сотрясали его бороду во всю длину; глаза его, устремленные на нее, пожирали ее; и он повторял, задыхаясь в пыли:

— Богохульница, будь ты проклята, проклята, проклята!

Саламбо отодвинула холст и, держа край его высоко в руке, смотрела, не отвечая, в сторону лагеря Гамилькара.

— Это там, да?—спросила она.

— Что тебе за дело? Отвернись, уходи! Прижмись лицом к земле. То место священное, и твой вид оскорбил бы его.

Она накинула на себя заимф, быстро подняла свое покрывало, свой шарф и свой плащ.

— Я бегу туда!—воскликнула она и быстро выбежала из палатки.

Сначала она шла в темноте, никого не встречая, ибо все устремились на пожар; крики усиливались, и пламя обагряло небо сзади; ее остановила длинная насыпь.

Она обернулась направо и налево, ища лестницы, веревки, камня, чего-нибудь, что помогло бы ей взобраться на насыпь. Она боялась Гискона, и ей казалось, что ее преследуют крики и шаги.

Начинало светать. Она увидела дорожку вдоль насыпи, ухватилась зубами за край мешавшего ей платья и в три прыжка очутилась на верхней площадке.

У ее ног раздался в темноте громкий крик, тот самый, который она слышала, спустившись с лестницы с галерами; наклонившись, она узнала невольника Шагабарима с его спутанными двумя лошадьми.

Он пробродил всю ночь между двумя окопами; потом, встревоженный пожаром, он вернулся, стараясь разглядеть, что происходило в лагере Мато; и так как он знал, что место, где он стоял, было наиболее близкое к его палатке, то не двигался с места, покорный приказам жреца.

Он встал на одну из лошадей. Саламбо спустилась к нему, и они умчались галопом, об'езжая карфагенский лагерь, чтобы найти где-нибудь ворота.

Мато вернулся в свою палатку. Дымящийся светильник слабо озарял ее, и он даже подумал, что Саламбо спит. Он нежно ощупал львиную шкуру на ложе из пальмовых ветвей. Он окликнул Саламбо, но ответа не было; тогда он быстро оторвал кусок полотна, чтобы впустить свет; заимф исчез.

Земля дрожала под множеством шагов. Раздавались громкие крики, ржание и лязг оружия; трубили трубы. Мато точно окружил ураган. Смятенный бешеный гул заставил его схватить оружие и броситься из палатки.

Длинные ряды варваров бегом спускались с горы, карфагенские войска наступали на них, тяжело и правильно колеблясь. Туман, разорванный лучами солнца, образовал маленькие качающиеся облачка, которые, медленно поднимаясь, обнажили вид знамен, шлемов и острия копий. Вследствие быстроты движения казалось, что сама земля, еще окутанная мраком, бежит и движется; местами как бы сталкивались встречающиеся потоки, а между ними виднелись недвижные ощетинившиеся массы. Мато различал начальников, воинов, глашатаев и даже шествующих позади слуг верхом на ослах. Но вместо того, чтобы сохранить свое положение, прикрывая пехоту, Нар-Гавас резко повернул направо, точно давая смять себя Гамилькару.

Его конница опередила слонов, которые замедлили ход, и все лошади, вытягивая головы, не обремененные поводами, мчались так бешено, что, казалось, касались земли жи-

вотами. Потом вдруг Нар-Гавас решительно направился к одному из часовых. Он бросил свой меч, свое копье, свои дротики и исчез в толпе карфагенян.

Король нумидийцев вошел в палатку Гамилькара и сказал ему, указывая на своих людей, остановившихся вдали.

— Барка, я привел тебе их. Они теперь твои.

Он простерся перед Гамилькаром в знак рабства и в доказательство своей верности напомнил о своем поведении с начала войны.

Прежде всего он воспрепятствовал осаде Карфагена и избиению пленных; затем он не воспользовался победой над Ганноном после поражения при Утике. Что же касается тирийских городов, то ведь они расположены были на границе его владений. Наконец, он не участвовал в битве при Макаре и даже нарочно не явился туда, чтобы избежать необходимости сражаться с суффетом.

На самом деле Нар-Гавас хотел увеличить свои владения захватом карфагенских провинций и, следуя переменам военного счастья, попеременно или помогал наемникам, или изменял им. Видя же, что победа остается за Гамилькаром, он перешел на его сторону; предательство его, быть может, вызвано было также ненавистью к Мато из-за его начальствования над войсками, или ...е из-за его прежней любви к Саламбо.

Суффет слушал его, не прерывая. Тот, кто передался ему среди войска, имевшего право на месть, был союзником, которым не следовало пренебречь. Гамилькар тотчас же сообразил пользу такого союза для своих больших замыслов. В союзе с нумидийцами он сможет избавиться от ливийцев. Потом он сможет увлечь за собой запад и завоевать Иберию. Не спрашивая Нар-Гаваса, почему он не явился раньше, и не уличая его ни в одной его лжи, он поцеловал его и три раза стукнулся своей грудью о его грудь.

Он зажег лагерь ливийцев только из отчаяния и чтобы положить конец всему. Войско Нар-Гаваса было для него как бы помощью, посланной богами; скрывая свою радость, он сказал:

— Да покровительствуют тебе ваалы! Я не знаю, что тебе даст республика, но Гамилькар не выкажет неблагодарности.

Гул усиливался; входили военачальники. Гамилькар стал надевать оружие, продолжая говорить:

— Теперь вернись. С твоей конницей ты отбросишь их пехоту в пространство между твоими слонами и моими. Мужайся! Сомни их!

Нар-Гавас быстро бросился вперед, но в это время появилась Саламбо.

Она быстро соскочила с лошади, раскрыла свой широкий плащ и, вытягивая руки, развернула заимф.

Кожаная палатка, приподнятая в углах, открывала вид на окружные горы, занятые воинами, и так как она стояла по середине палатки, то ее видно было со всех сторон Поднялся громкий гул, крик победы и надежды. Те, которые были на ходу, остановились; умирающие, приподнимаясь на локтях, оборачивались, чтобы благословить ее. Все варвары убедились в том, что она унесла заимф, и видели ее издали или думали, что видят; раздавались и другие крики—бешенства и мщения—вместе с приветственным гулом карфагенян; пять войск, расположенных на горе, топали ногами и кричали, окружая Саламбо.

Гамилькар был не в состоянии говорить и только знаками головы благодарил ее. Глаза его останавливались то на заимфе, то на ней, и он заметил, что цепочка на ее ногах была порвана. Он вздрогнул, охваченный страшным подозрением; но, быстро овладев собой, он искоса посмотрел на Нар-Гаваса, не поворачивая головы.

Король нумидийцев скромно стоял в стороне; на лбу его были следы пыли, которой он коснулся, простершись перед Гамилькаром. Наконец, суффет подошел к нему и сказал внушительным голосом:

— В награду за услуги, которые ты мне оказал, я даю тебе мою дочь, Нар-Гавас.

Он прибавил:

— Будь моим сыном и защити твоего отца!

Нар-Гавас изумленно взглянул на него, потом бросился целовать его руки.

Саламбо, спокойная, как статуя, как-будто не понимала; она слегка покраснела, опустив глаза; ее длинные, загнутые кверху ресницы бросали тень на ее щеки.

Гамилькар пожелал тотчас же ненарушимо обручить их. Он дал Саламбо копье, которое она поднесла в дар Нар-Гавасу; им связали вместе большие пальцы ремнем из бычачьей кожи, потом стали сыпать зерна на их головы, и, падая вокруг них, зерна подпрыгивали, производя шум града.

АКВЕДУК.

Двенадцать часов спустя от наемников осталась только груда раненых, мертвых и умирающих.

Гамилькар, быстро выступив из глубины ущелья, вновь спустился по западному скату, обращенному к Гиппо-Зариту; и так как место там было более широкое, то он постарался завлечь туда варваров. Нар-Гавас окружил их своей конницей, а суффет в это время гнал их назад и истреблял. Они заранее уверены были в своем поражении, вследствие потери заимфа, и даже те, которые не придавали этому значения, охвачены были тревогой и ослабели. Гамилькар не стремился овладеть полем битвы и потому отошел дальше влево на высоты, откуда мог охватить взглядом неприятельский лагерь.

Очертание лагеря угадывалось по наклоненным частоколам. Длинная полоса черного пепла дымилась там, где были расположены ливийцы; взрытая почва вздымалась, как морские волны, а палатки с разодранным на клочья холстом казались подобиями кораблей, полуразбившихся о подводные камни. Панцыри, вилы, военные трубы, куски дерева, железа и меди валялись среди трупов; местами догорающие огненные стрелы тлели среди поклажи; земля в некоторых местах исчезала под наваленными щитами; околевшие лошади лежали рядами, как цепь бугров. Виднелись ноги, сандалии, руки, кольчуги и головы в касках, поддерживаемых наборотниками; они катались, как шары; пряди волос свисали с шипов; в лужах крови лежали хрипящие слоны с распоротыми животами, упавшие вместе со своими башнями; нога ступала все время по чему-то липкому, и всюду виднелись большие лужи, хотя и не было дождя.

Груды трупов лежали снизу до верху по всей горе.

Те, которые остались в живых, недвижно застыли, как и мертвецы. Сидя на корточках неровными кучками, они растерянно глядели вдаль, ничего не говоря.

В конце длинного луга озеро Гиппо-Зарита сверкало под лучами заходящего солнца. Справа кучка белых домов поднималась над поясом стен; за ними было море, которое расстилалось до бесконечности. Подпирая рукой подбородки, варвары вздыхали, вспоминая свою отчизну. В воздухе носилось облако серой пыли.

Поднялся вечерний ветер, и все груди облегченно вздохнули; по мере того, как увеличивалась свежесть, черви отползали от холодеющих трупов, переползая на горячий песок. На верхушках высоких камней недвижные вороны обращены были попрежнему к умирающим.

Когда спустилась ночь, желтые собаки, которые всегда следуют за войском, медленно приблизились к варварам; сначала они стали лизать запекшуюся кровь на еще теплых искалеченных телах, а потом принялись пожирать трупы, начиная с живота.

Беглецы стали возвращаться один за другим, подобно теням; возвращались и женщины; их еще осталось много, особенно у ливийцев, несмотря на страшную резню, устроенную нумидийцами.

Некоторые брали концы веревок и зажигали их вместо факела; другие скрещивали копья, клали на эти носилки трупы и уносили в сторону.

Трупы вытянулись длинными рядами, лежа на спине, с раскрытыми ртами, и копья их находились тут же рядом; местами они лежали кучей, так что часто, отыскивая тех, которых недоставало, приходилось разрывать целую груду. Потом по их лицам медленно проводили факелами. Страшное оружие врагов нанесло им сложные раны. Зеленоватые лоскуты кожи свисали с их лбов; они были разрезаны на куски, раздавлены до мозга костей, посинели от удушья или были распороты клыками слонов. Хотя смерть их настигла почти всех в одно и то же время, все же трупы их разлагались по-разному. Люди с севера вздулись бледной опухолью, в то время как африканцы, более мускулистого сложения, имели прокопченный вид

и уже высыхали. Наемников можно было узнать по татуировке на руках: у старых солдат Антиоха были вытатуированы ястребы; у тех, которые служили в Египте—обезьяньи головы; у азиатских принцев—топор, гранатовое яблоко или молоток; у воинов из греческих республик—профиль крепости или имя какого-нибудь архонта; у некоторых руки были покрыты сплошь множеством знаков, которые смешивались со старыми рубцами и свежими ранами.

Для воинов латинской расы, для самнитов, этрусков, жителей Кампании и Бруциума разложены были четыре больших костра.

Греки вырыли рвы остриями своих мечей. Спартиаты, сняв свои красные плащи, закутали в них мертвецов; афиняне клали их лицом к востоку; кантабры зарывали их под грудой камней; назамоны сгибали их надвое ремнями из бычачьей кожи, а гарамманды зарывали их на берегу, для того, чтобы их неустанно обливали волны. Латиняне же были в отчаянии от того, что не могли собрать пепел своих мертвецов в урны; кочевники жалели о том, что тут не было горячего песка, в котором тела превращаются в мумии, а кельты о том, что не было трех неотесанных камней под дождливым небом, в глубине залива, усеянного островками.

Поднялись стенания, прерываемые долгими паузами. Так вызывали души мертвых, убеждая их вернуться. Потом опять упрямо поднимались крики через правильные промежутки.

Живые просили прощения у мертвых за то, что не имели возможности почтить их тела согласно установленному обычаю; лишая их почестей, они обрекали их на бесконечное блуждание среди разных случайностей и перерождений. Мертвых призывали, спрашивая, чего они желают; иные же осыпали их бранью за то, что они дали победить себя.

Пламя больших костров придавало еще большую бледность бескровным лицам тех, которые лежали, опрокинувшись на спину, на обломках вооружения; слезы одних заражали плачем других, рыдания усиливались, проща-

ние с распознанными мертвецами становилось все более исступленным. Женщины ложились на трупы, прижимаясь губами к губам, лбом ко лбу; приходилось бить их для того, чтобы они уходили, когда трупы засыпали землей. Все обмазывали себе щеки черным, отрезали волосы, пускали себе кровь и выливали ее во рвы; многие наносили себе порезы наподобие ран, уродовавших мертвецов. Вой и плач раздавались громче оглушительных звуков кимвал. Некоторые срывали с себя свои амулеты и плевали на них. Умирающие катались по грязи, насыщенной кровью, кусая в бешенстве свои изрубленные кулаки; а сорок три самнита, целый священный отряд юношей, побивали друг друга, как гладиаторы. Вскоре не хватило дров для костров, пламя угасло, все места были захвачены; уставшие от криков, шатающиеся и обессиленные, они заснули рядом со своими мертвыми братьями,—одни, желая продолжать свою жизнь, полную тревог, а другие—с желанием более не проснуться.

При бледном свете зари к варварам приблизились воины, которые проходили, подняв свои шлемы на острия копий; кланяясь наемникам, они спрашивали их, не хотят ли они передать что-нибудь домой на их родину.

Вскоре подошли другие, и варвары узнали в них своих бывших товарищей.

Суффет предложил всем пленным служить в своих войсках. Некоторые отважно отказались, и, твердо решив не кормить их напрасно, а также не отдавать их во власть Великого Совета, Гамилькар отпустил их с тем, чтобы они не воевали более против Карфагена. Что же касается тех, которые смирились из боязни пыток, то им роздали оружие врага; они теперь пришли к побежденным не столько для того, чтобы соблазнить их своим примером, сколько из тщеславия, а отчасти из любопытства.

Прежде всего они рассказали про хорошее обращение с ними суффета; варвары слушали их с завистью, хотя и презирали их. Потом, при первых словах упрека со стороны варваров, малодушные перебежчики пришли в бешенство; они стали показывать издали свои копья и панцыри и с руганью звать варваров, чтобы они пришли и отобрали их. Варвары стали бросать в них камнями, и

они обратились в бегство; вскоре на вершине горы видны были только острия копий, выступивших над краем частокола.

Тогда варваров охватила печаль, более тяжелая, чем позор их поражения. Они стали думать о бесполезности их отваги и недвижно сидели, широко раскрыв глаза и скрежеща зубами.

Одна и та же мысль мелькнула у них всех. Они кинулись в беспорядке на карфагенских пленных. Воины суффета случайно не могли их найти, и так как Гамилькар покинул теперь поле битвы, то они все еще находились в своем глубоком рву.

Их поместили всех рядом на ровном месте. Часовые расположились вокруг них и в круг пустили женщин, толпами по тридцати или сорока. Пользуясь недолгим временем, которое им предоставлялось, они бегали от одного к другому в нерешительности, задыхаясь от возбуждения; потом, склонившись к их несчастным телам, они стали колотить их, как прачки колотят белье; выкрикивая имена своих мужей, они раздирали их лица ногтями и выкалывали им глаза иглами, которые носили в волосах. Вслед за ними приходили мужчины и терзали их тело, начиная от ног, которые они отрезали по щиколотки, до лба, на котором они сдирали венками кожу и венчали ими свои головы. Пожиратели нечистой пищи были страшно жестоки в своих выдумках. Они вливали в раны, отравляя их, уксус и сыпали в них пыль и осколки глиняных сосудов; когда одни уходили, другие сменяли их; текла кровь, и они веселились, как собиратели винограда вокруг дымящихся чанов.

Мато сидел на земле, на том же месте, где был, когда кончилась битва, упираясь руками в колени и взявшись руками за голову; он ничего не видел, ни о чем не думал.

Услышав радостный гул толпы, он поднял голову. Перед ним обрывок холста, прикрепленный к шесту и волочащийся по земле, прикрывал кучей набросанные корзины, ковры и львиную шкуру. Он узнал свою палатку, и глаза его пристально смотрели вниз, точно дочь Гамилькара, исчезнув, провалилась под землю.

Разорванный холст колыхался на ветру, и длинные лохмотья касались временами его губ; он заметил на холсте красную пометку, подобную запечатленной руке. То была рука Нар-Гаваса, знак их союза. Тогда Мато поднялся. Он взял дымящуюся головню и презрительно бросил ее на обломки своей палатки. Потом он кончиком котурна толкнул в огонь все, что валялось вокруг, для того, чтобы ничего не уцелело.

Вдруг, неизвестно откуда, появился Спендий.

Старый невольник привязал себе к бедру два обломка копья и хромал с жалостным видом, испуская стоны.

— Сними это,—сказал Мато.—Я знаю, что ты храбрый!

Он был так раздавлен несправедливостью богов, что не имел силы возмущаться против людей.

Спендий сделал ему знак и повел его к пещере в небольшом холме, где спрятались Зарксас и Автарит.

Они спаслись бегством, как и раб, один—несмотря на свою жестокость, а другой—несмотря на свою храбрость. Но кто бы мог ожидать, говорили они, измены Нар-Гаваса, сожжения ливийцев, потери заимфа, неожиданного нападения Гамилькара и, в особенности, его маневра, благодаря которому он принудил их вернуться вглубь гор, прямо под удары карфагенян! Спендий не признавался в своем страхе и продолжал утверждать, что он сломал ногу.

Наконец, трое начальников и шалишим стали обдумывать, на что решиться.

Гамилькар заградил им дорогу в Карфаген; они были замкнуты между его войском и владениями Нар-Гаваса; тирские города перешли к победителям, так что наемники были теперь прижаты к морскому берегу, и соединенные силы неприятеля должны были их скоро раздавить. Это было неминуемо.

Не было никакой возможности избежать войны, и приходилось поэтому вести ее до крайнего изнеможения. Но как убедить в необходимости нескончаемого боя всех этих людей, павших духом и еще покрытых кровью своих ран?

— Я беру это на себя,—сказал Спендий.

Два часа спустя явился человек из Гиппо-Зарита, поднявшись бегом на гору. Он размахивал дощечками, которые держал в руках, и так как он кричал очень громко, то варвары окружили его.

Дощечки были посланы греческими воинами из Сардинии. Они советовали своим африканским соратникам следить за Гисконом и другими пленными. Некий Гипонакс, торговец из Самоса, сообщил им, вернувшись из Карфагена, что составляется заговор, чтобы устроить побег пленных. Варварам советовали быть предусмотрительными, в виду могущества Карфагена.

План, задуманный Спендием, не удавался сначала, вопреки его надеждам. Несомненность новой опасности, вместо того, чтобы поднять дух, только усилила страх; вспоминая угрозы Гамилькара, брошенные им когда-то, они ждали чего-то неведомого и страшного. Ночь протекла в большой тревоге; некоторые даже сняли оружие, чтобы разжалобить суффета, когда он явится к ним.

Но на следующий день, во время третьей дневной стражи, прибежал второй гонец, еще более запыхавшийся и черный от пыли. Грек вырвал у него из рук свиток папируса, покрытый финикийскими письменами. В нем наемников убеждали не падать духом; тунисские храбрецы должны были скоро явиться к ним на помощь с большими подкреплениями.

Спендий прочел сначала сам письмо три раза к ряду; затем, поддерживаемый двумя кападокийцами, которые посадили его к себе на плечи, он велел им нести себя с места на место и читал всем послание. В течение целых семи часов он неустанно ораторствовал.

Он напоминал наемникам обещания Великого Совета, африканцам—жестокость управителей, всем варварам—несправедливость Карфагена. Мягкость суффета была приманкой, на которую их хотели поймать. Тех, которые передадутся Карфагену, продадут в рабство, а побежденных замучат на смерть. Бежать же некуда. Никакой народ не примет их. Если же они будут продолжать войну, они добьются и свободы, и мести, и денег. Им не придется даже долго ждать, ибо Тунис и вся Ливия спе-

шат им на помощь. Он показал им развернутый свиток папируса.

— Посмотрите, прочтите! Вот их обещания. Я не лгу.

Бродили собаки с обагренными кровью черными мордами. Знойное солнце грело обнаженные головы. Страшное зловоние поднималось от плохо зарытых трупов. Несколько трупов даже высовывалось из земли до живота. Спендий призывал их в свидетели своей правоты; потом он стал грозить кулаками в сторону Гамилькара.

Мато следил за ним и, чтобы прикрыть его трусость, стал выказывать гнев, который мало-по-малу начал казаться подлинным ему самому. Предавая себя богам, он накликал проклятия на карфагенян. Пытки, учиненные над пленными, были детской игрой. Зачем щадить их и тащить за собой это ненужное стадо?

— Нет, следует покончить с ними. Известно, что они замышляют. Достаточно одного из них, чтобы погубить нас. Нечего жалеть их. Лучших видно будет по быстроте ног и силе удара.

Тогда они вновь вернулись к пленным. Некоторые еще хрипели; их докончили, всовывая им ноги в рот, или же добивали их острием метательных копий.

Затем они вспомнили о Гисконе. Его нигде не было видно, и их охватила тревога. Они хотели и убедиться в его смерти, и участвовать в его убийстве. Наконец, три самнитских пастуха открыли его в пятнадцати шагах от того места, где прежде стояла палатка Мато. Они узнали его по его длинной бороде и призвали к нему варваров.

Распростертый на спине, прижав руки к бедрам и сжав колени, он имел вид мертвеца, обряженного для погребения. Но его тощие ребра опускались и поднимались, и глаза, широко раскрытые на бледном лице, упорно глядели невыносимым взглядом.

Варвары смотрели на него сначала с большим изумлением. С тех пор, как он жил во рву, о нем почти забыли; смущенные старыми воспоминаниями, они держались поодаль и не решались поднять на него руки.

Но те, которые стояли позади, стали роптать и проталкиваться вперед. Тогда через толпу протолкался гарамант; он размахивал серпом; все поняли его намерения.

Лица их раскраснелись, и, охваченные стыдом, они заревели:

— Да, да!

Человек с изогнутым серпом приблизился к Гискону. Он схватил его голову и, прижав ее к своему колену, стал быстро отпиливать ее; она упала, две широкие струи крови пробуравили дыру в пыли. Зарксас схватил голову и легче леопарда побежал по направлению к карфагенянам.

Потом, поднявшись на две трети горы, он вынул спрятанную на груди голову Гискона и, схватив ее за бороду, быстро завертел рукой; брошенная таким образом голова, описав длинную параболу, исчезла за карфагенским окопом.

Вскоре у края частокола показались два крестообразно укрепленных знамени—условный знак при требовании выдачи трупов.

Тогда четыре глашатая, выбранные за ширину груди, отправились с большими медными трубами и провозгласили, говоря в эти трубы, что отныне между карфагенянами и варварами нет ни согласия, ни жалости, ни богов; что они заранее отказываются от всяких переговоров и что если им пошлют послов они отправят их назад с отрубленными руками.

Тотчас же после этого Спендия отправили в Гиппо-Зарит за съестными припасами; тирский город послал их им в тот же вечер. Они стали жадно есть; потом, насытившись, они быстро собрали остатки поклажи и свое изломанное оружие; женщины столпились посредине, и, не заботясь о раненых, которые плакали, оставшись позади, они быстрыми шагами двинулись вдоль берега реки, как убегающее стадо волков.

Они направились на Гиппо-Зарит с решением взять его, ибо им нужно было иметь в своей власти какой-нибудь город.

Гамилькар, увидав их издали, пришел в отчаяние, несмотря на то, что гордился их бегством. Следовало напасть на них тотчас же, со свежими силами. Еще один такой день, и война была бы кончена. Если медлить, они вернутся с подкреплением, так как тирские города при-

соединятся к ним. Его милосердие к побежденным оказалось тщетным. Он решил отныне быть беспощадным.

В тот же вечер он отправил к Великому Совету дромадера, нагруженного браслетами, снятыми с мертвых, и со страшными угрозами потребовал присылки ему еще одного войска.

Его уже давно считали погибшим, и известие о его победе всех поразило и почти преисполнило ужаса. Неопределенное упоминание о полученном обратно заимфе довершало чудо. Значит, боги и сила Карфагена отныне принадлежали ему.

Никто из его врагов не решался жаловаться или обвинять его. Благодаря преклонению перед ним одних и трусости других, войско в пять тысяч человек было готово еще до назначенного срока.

Войско быстро пришло в Утику с целью укрепить тыл суффета, в то время, как три тысячи лучших воинов сели на корабли, чтобы отплыть в Гиппо-Зарит, где они должны были отбить варваров.

Командование этим войском взял на себя Ганнон; но он поручил войско своему помощнику Магдасану для того, чтобы самому начальствовать над воинами, севшими на корабли; он не мог выносить толчки носилок. Его недуг, изъевший ему губы и ноздри, сделал глубокое отверстие на щеке; в десяти шагах можно было заглянуть ему в горло; он знал, что вид его отвратителен, и потому, как женщина, закрывал лицо покрывалом.

Гиппо-Зарит не обращал внимания на его требования так же, как и на требования варваров; но каждое утро жители спускали им в корзинах съестные припасы и с высоты башен извинялись перед ними, громко сообщая им о требованиях республики и умоляя их уйти. То же самое они говорили знаками карфагенянам, которые стояли на море.

Ганнон довольствовался блокадой порта, не решаясь на приступ. Он только убедил судей Гиппо-Зарита пустить в город триста воинов. Потом он направился к виноградному мысу и сделал большой крюк, чтобы окружить варваров, что было совершенно ненужно и даже опасно. Его ревность к суффету мешала ему придти ему

на помощь, он останавливал соглядатаев Гамилькара, мешал ему в его планах и вредил всему предприятию. Наконец, Гамилькар написал Великому Совету, прося избавить его от Ганнона, и Ганнон вернулся в Карфаген, взбешенный низостью старейшин и безумием Гамилькара. Таким образом, после стольких надежд, положение стало еще более тяжелым; но об этом старались не думать и даже не говорить.

К довершению несчастий узнали, что сардинские наемники распяли своего начальника, овладели крепостями и зарезали всюду людей ханаанского племени. Рим угрожал республике немедленной войной, если она не уплатит тысячу двести талантов и не уступит всей Сардинии. Рим вошел в союз с варварами и послал им суда, нагруженные мукой и сушеным мясом. Карфагеняне погнались за судами и захватили пятьсот человек; но, три дня спустя, флот, шедший из Бизацена с грузом с'естных припасов для Карфагена, потонул во время бури. Боги, видимо, были против Карфагена.

Тогда жители Гиппо-Зарита, под предлогом тревоги, заставили трехсот воинов Ганнона подняться на стену; затем, появившись за их спиной, они схватили их за ноги и сразу сбросили со стен. За теми, которые не убились на месте, отправлена была погоня, и они потонули, бросившись в море.

Утика терпела воинов в своих стенах, ибо Магдасан последовал примеру Ганнона и, по его приказу, окружил город, не внимая просьбам Гамилькара. Но этих воинов напоили вином с мандрагорой и зарезали во время сна. В то же время подступили варвары; Магдасан бросился бежать, ворота раскрылись, и с этого времени тирские города стали выказывать стойкую преданность своим новым друзьям и непонятную вражду своим прежним союзникам.

Эта измена карфагенянам послужила примером для других. Надежды на избавление вновь оживились. До того нерешительные племена перестали колебаться. Все двинулись. Суффет это узнал, не ожидая сам помощи ни откуда. Теперь все было для него окончательно потеряно.

Он тотчас же отпустил Нар-Гаваса для того, чтобы он мог охранять пределы своих владений. Сам же он решил вернуться в Карфаген, запастись там войском и возобновить войну.

Варвары, укрепившиеся в Гиппо-Зарите, увидели, как его войско спускалось с горы.

Куда же направлялись карфагеняне? Их, вероятно, толкал голод, и, обезумевшие от страданий, они, несмотря на слабость, решили дать сражение. Но нет, они повернули направо: они бежали. Можно было настигнуть их, смять их всех сразу. Варвары бросились в погоню.

Карфагенян остановила река. Она была теперь широкая, и западный ветер еще не подул. Одни пустились вплавь, другие переплывали на щитах; затем они вновь двинулись в путь. Спустилась ночь. Их не было более видно.

Варвары не остановились; они прошли дальше в поисках за более узким местом реки. Прибежали люди из Туниса, увлекая за собой жителей Утики. Число их увеличивалось у каждого куста, и карфагеняне, ложась на землю, слышали в темноте их шаги. От времени до времени, чтобы замедлить их ход, Барка давал приказ пускать в них град стрел; несколько варваров было убито. Когда занялся день, варвары очутились в горах Арианы, на повороте дороги.

Тогда Мато, который шел во главе варваров, заметил на горизонте что-то зеленое на верхушке возвышения. Потом гора перешла в равнину, и показались обелиски, купола и дома. То был Карфаген. Он прислонился к дереву, чтобы не упасть, до того сильно билось его сердце.

Он вспомнил обо всем, что произошло в его жизни с того времени, как он в последний раз был на этом месте. Его охватило безумие, и у него кружилась голова. Потом его охватила радость при мысли, что он вновь увидит Саламбо. Он вспомнил обо всем, что должно было заставить его питать к ней ненависть, но он тотчас же отбросил эту мысль. Весь дрожа, напрягая взоры, он глядел на

высокую террасу дворца за Эшмуном, над пальмами; улыбка восторга озарила его лицо: точно великий свет осветил его. Он раскрыл об'ятья, он посылал поцелуи на воздух и шептал:

— Приди! приди!

Глубокий вздох вырвался из его груди, и две длинные слезы, подобные жемчужинам, упали на его бороду.

— Что ты медлишь?—воскликнул Спендий.—Скорей, вперед! Не то суффет ускользнет от нас. Но колени твои дрожат, и ты смотришь на меня, как пьяный.

Он дрожал от нетерпения и торопил Мато; прищуривая глаз, точно при виде давно намеченной цели, он воскликнул:

— Мы настигли их! Мы настигли их! Я их держу в руках!

У него был такой уверенный и торжествующий вид, что Мато, выведенный из своего забытья, заразился его возбуждением. Слова Спендия донеслись до него из глубины его отчания, толкали его отчаяние к мести, давали пищу его гневу. Он вскочил на одного из верблюдов, которые находились в его обозе, и сорвал с него недоуздок; этой длинной веревкой он стал колотить тех, которые медлили, и бегал направо и налево в тыл войска, как собака, собирающая стадо.

При звуках его громового голоса, ряды воинов сплотились, и даже хромые ускорили шаги; посреди перешейка пространство, отделявшее их от карфагенян, уменьшилось. Передовые ряды варваров шли в пыли карфагенян. Два войска сближались и должны были скоро столкнуться. Но ворота Мальки, Тагаста, а также большие ворота Камона широко раскрылись. Карфагенское войско разделилось; три колонны вошли в ворота и стали тесниться под сводами. Вскоре слишком сплоченная масса войска не смогла идти дальше; острия копий сталкивались в воздухе, и стрелы варваров звенели о стены.

У порога камонских ворот показался Гамилькар. Он обернулся и крикнул своим людям, чтобы они расступились. Он сошел со своей лошади и, ткнув ее мечом в круп, пустил ее на варваров

То был оринтский жеребец, которого кормили шариками из муки, и он умел сгибать колени, чтобы хозяину было легче садиться в седло. Почему же Гамилькар угнал его теперь? Не было ли это намеренной жертвой с его стороны?

Большой конь мчался галопом среди копий, опрокидывал людей и, путаясь ногами в своих выпадавших внутренностях, падал, потом бешено взвивался; в то время как люди отстранялись, пытаясь остановить его, или изумленно на него смотрели, карфагеняне сплотились и вошли; огромные ворота с шумом захлопнулись за ними.

Ворота не уступали напору варваров, которые были прижаты к ним; в течение нескольких минут по войску прошло колебание, которое затем стало ослабевать и вскоре прекратилось.

Карфагеняне установили войска на акведуке. Воины стали бросать камни, шары, балки. Спендий убедил варваров не упорствовать. Они укрепились в некотором отдалении с твердым решением осадить Карфаген.

Весть о войне разнеслась за пределы карфагенских владений; от Геркулесовых столбов до Кирены и за нею пастухи мечтали о войне, когда пасли стада и караваны, говорили о ней ночью при свете звезд. Как могли найтись люди, которые осмелились напасть на великий Карфаген, властвовавший над морями, сверкающий, как солнце, и страшный, как бог. Несколько раз утверждали, что Карфаген уже пал; и все этому верили, ибо все этого желали. Подчиненные племена, деревни, которые платили дань, присоединившиеся провинции и независимые полчища, все ненавидели Карфаген за его тиранию или завидовали его власти, или же зарились на его богатства. Самые храбрые поспешили присоединиться к наемникам. Макарское поражение остановило остальных. Но потом они снова воспряли духом, постепенно приблизились, и в настоящее время жители восточных провинций скрывались в клипийских дюнах, по ту сторону залива. Как только они увидели варваров, они выступили вперед.

То не были ливийцы окрестностей Карфагена, которые уже давно составили третье войско, а кочевники плоскогория Барки, разбойники с мыса Фиска и мыса Дериэ, а также разбойники с Фазаны и Мармарики. Они прошли через степи, утоляя жажду из солоноватых колодцев, выложенных верблюжьими костями; зуаки, покрытые страусовыми перьями, приехали на своих квадригах; гараманты, с лицом, покрытым черным покрывалом, ехали, сидя задом наперед на раскрашенных кобылах; другие сидели на ослах, на онаграх, зебрах и буйволах; некоторые тащили за собой, вместе со своими семьями и идолами, крыши своих хижин, имевших форму лодок. Пришли также амонийцы, у которых кожа сморщилась от горячей воды источников; атаранты, проклинающие солнце; троглодиты, которые со смехом хоронят своих мертвых под ветвями деревьев; отвратительные авзейцы, которые едят саранчу; ахирмахиды, которые едят вшей, и гизанты, вымазанные киноварью, которые едят обезьян.

Все выстроились длинной прямой линией на берегу моря. Потом они двинулись вперед, как вихри песка, вздымаемые ветром. По середине перешейка толпа их остановилась, так как наемники, стоявшие перед ними у стен, не двигались дальше.

Потом со стороны Арианы показались жители запада — нумидийцы. Нар-Гавас правил только масилийцами; к тому же обычай позволял им оставить царя после поражений, и поэтому они собрались на берегах Зена и переплыли его при первом движении Гамилькара. Прежде всего примчались все охотники из Малетут-Заала и из Гарафа, одетые в львиные шкуры; они погоняли древками своих копий тощих, маленьких коней с длинными гривами; за ними шли гетулы в панцырях из змеиной кожи; затем фарусийцы в высоких венцах из воска и древесной смолы; за ними следовали кони, макары, тиллабары, из которых каждый носил в руках по два метательных копья и круглый щит из гиппопотамовой кожи. Они остановились у подножья катакомб, у начала лагуны

Но когда ливийцы двинулись вперед, на месте, которое они занимали, показались, наподобие облака, стелящегося по земле, полчища негров. Они пришли из Гаруша белого и Гаруша черного, из пустыни авгилов и даже из большой страны Агазимба, расположенной в четырех месяцах на юг от гарамантов и из еще более отдаленных мест. Несмотря на их украшения из красного дерева, грязь их черной кожи уподобляла их стенам, покрытым долголетней пылью.

На них были панталоны из волокон коры, туники из высушенных трав; на головах они носили головы диких зверей. Завывая, как волки, они размахивали железными брусьми, снабженными кольцами и коровьими хвостами, привязанными к шестам наподобие знамен.

Потом за нумидийцами, мадрузийцами и гетулами шла толпа желтоватых людей, живущих за Тагиром, в кедровых лесах. Колчаны из кошачьих шкур качались у них за плечами, и они вели на привязи огромных собак вышиной с ослов и не лаявших.

Наконец, точно Африка еще не вся излилась сюда и как-будто для довершения ужаса нужно было присутствие самых низких племен, вслед со всеми другими шли люди с звериными чертами лица, смеявшиеся бессмысленным смехом,—несчастные существа, съеденные отвратительными болезнями, уродливые пигмеи, мулаты смешанного пола, альбиносы, мигавшие на солнце красными глазами; произнося непонятные звуки, они прикладывали пальцы ко рту, чтобы показать, что хотят есть.

Смесь оружия не уступала разнообразию племен и одежд. Всевозможные смертоносные орудия были представлены в этих полчищах, начиная с деревянных кинжалов, каменных топоров и трезубцов из слоновой кости, до длинных сабель, зазубренных, как пилы, очень тонких, сделанных из гнувшегося медного клинка. Некоторые держали в руках кортики, разделенные на несколько ветвей наподобие рогов антилопы, а также серпы, привязанные к веревке, железные треугольники, дубины, шила. Эфиопы из Бамбота носили в волосах маленькие отравленные стрелы. Некоторые принесли мешки с кам-

нями. Другие, явившись с пустыми руками, стучали зубами.

Непрерывное движение носилось в этой толпе. Дромадеры, измазанные дегтем, как корабли, опрокидывали женщин, которые носили детей привязанными к бедру. Провизия вываливалась из корзин; проходившие люди топтали куски соли, свертки камеди, гнилые финики, орехи, гуру; иногда на грудях, покрытых паразитами, висел на тонком шнурке какой-нибудь драгоценный камень из тех, за которыми охотились сатрапы, камень почти баснословной цены, за который можно было купить целое государство. Они все большей частью не знали, чего хотят. Их гнало какое-то обаяние, какое-то любопытство; кочевые племена, никогда не видавшие города, пугались тени стен.

Перешеек исчезал теперь под толпами людей; длинное пространство, на котором палатки казались хижинами среди наводнения, тянулось до первых рядов других варваров, сверкавших железным оружием и симметрически расположенных по обе стороны акведука.

Карфагеняне не оправились еще от испуга, вызванного их появлением, когда увидели двигающиеся прямо на них как бы чудовища или целые здания—с мачтами, коромыслами, веревками, коленами, карнизами и щитами; то были осадные машины, посланные тирскими городами: шестьдесят каробалистов, восемьдесят онагров, тридцать скорпионов, пятьдесят толенонов, двенадцать таранов и три огромных катапульта, которые выбрасывали куски камней весом в пятнадцать талантов. Скопища людей толкали их, привесившись снизу; каждый шаг сотрясал их, и так они приблизились и стали против стен.

Но понадобилось еще несколько дней, чтобы закончить приготовления к осаде. Наемники, наученные прежними поражениями, не хотели вступать в бесполезные схватки. Обе стороны не спешили, хорошо зная, что должен начаться страшный бой, который приведет к победе или к полному разгрому.

Карфаген мог долго сопротивляться; его широкие стены представляли целый ряд входящих и выходящих углов, очень удобных для отражения атак.

Но со стороны катакомб часть стены обрушилась, и в темные ночи между развалившимися глыбами виднелся свет в конурах Мальки. Свет этот в некоторых местах был на высоте крепостных валов. Там жили со своими новыми супругами жены наемников, прогнанные Мато. Вновь увидав наемников, они пришли в неописуемое волнение. Они издали размахивали своими шарфами, потом приходили в темноте говорить с воинами сквозь расщелины стены, и Великий Совет был извещен однажды, что все они убежали. Одни пробрались между камнями; другие, более отважные, спустились при помощи веревок.

Наконец, Спендий решил осуществить свой замысел. Ему была помехой война, которая задерживала его вдали; а с тех пор, как он снова стоял перед Карфагеном, ему казалось, что население догадывается о его плане. Но вскоре стражи на акведуке стало меньше. Не хватало людей для защиты стен.

Прежний раб стал упражняться в течение нескольких дней в пускании стрел в краснокрылых птиц на озере. Потом однажды вечером, когда светила луна, он попросил Мато зажечь среди ночи большой костер из соломы; все их войско стало в это время испускать крики; затем, взяв с собой Зарксаса, он пошел вдоль берега залива по направлению к Тунису.

На высоте последних арок они повернули прямо к акведуку; место было открытое, они прошли ползком до подножия столбов.

Стража спокойно ходила взад и вперед по площадке.

Показались высокие языки огня; раздались звуки труб; сторожевые воины, думая, что начинается приступ, бросились в сторону Карфагена.

Один из них, однако, продолжал стоять и вырисовывался черной фигурой на фоне неба. Луна светила за его спиной, и его огромная тень падала вдаль на равнину подобно двигающемуся обелиску.

Они подождали, пока он стал прямо против них. Зарксас схватил свою пращу. Из осторожности или же из жестокости Спендий остановил его.

— Нет, свист ядра произведет шум. Предоставь это мне.

Он натянул свой лук изо всех сил, прижав его нижний конец к большому пальцу левой ноги; затем он прицелился, и стрела полетела.

Человек на стене не упал, а исчез.

— Если бы он был ранен, мы бы услышали,—сказал Спендий и стал быстро подниматься вверх так же, как сделал это в первый раз—при помощи веревки и багра. Потом, когда он очутился наверху, подле трупа, он спустил веревку. Балеар привязал к ней кирку с долбнем и ушел.

Трубы перестали трубить. Все снова затихло. Спендий приподнял одну из плит, вошел в воду и опустил плиту за собой.

Рассчитав пространство по количеству шагов, он дошел ровно до того места, где заметил раньше косое отверстие. И в течение трех часов он без устали работал, едва дыша, вбирая в себя воздух из расщелин верхних плит, преисполненный страха и раз двадцать думая, что умирает. Наконец, раздался треск: огромный камень, отскакивая от нижних арок, слетел вниз, и вдруг целый водопад, целая река низринулась с неба в равнину. Акведук, разрезанный посередине, стал изливать всю воду. Это была смерть для Карфагена и победа для варваров.

В одно мгновение проснувшиеся карфагеняне показались на стенах, на домах, на храмах. Варвары толкали друг друга и кричали. Они плясали, точно охваченные безумием, вокруг огромного водопада и от избытка радости окунали в него голову.

На вершине акведука показался человек в разорванной коричневой тунике. Он наклонился над самым краем, упираясь руками в бока, и глядел вниз, точно пораженный сам тем, что ему удалось сделать.

Потом он вновь выпрямился. Он оглядывал горизонт с гордым видом, точно говоря: «все это теперь мое!» Раздался приветственный гул варваров; карфагеняне, поняв, наконец, свою гибель, выли от отчаяния. А Спендий стал бегать с одного края площадки на другой и, подобно возничье победившей колесницы на олимпийских играх, вздымал руки, обезумевший от гордости.

МОЛОХ.

Варвары не нуждались в окопе со стороны Африки; она им принадлежала. Но чтобы облегчить доступ к стенам, они разрушили укрепление, окаймлявшее ров. Затем Мато разделил войско на два больших полукруга, чтобы лучше окружить таким образом Карфаген. Гоплиты наемников выставлены были впереди, а за ними стояли метатели пращей и конница; в глубине помещались поклажа, повозки, лошади; за этой толпой, в трех стах шагах от башен, щетинились машины.

При бесконечном количестве названий, которые менялись несколько раз в течение веков, машины эти сводились к двум системам: одни построены были наподобие пращей, а другие наподобие луков.

Первые—катапульты—состояли из четырехугольной рамы с двумя вертикальными подпорами и одной горизонтальной перекладины. В передней части цилиндр, снабженный канатами, держал большое дышло с ложкой, содержавшей снаряды; низ цилиндра захвачен был клубком крученых нитей, и когда отпускали канаты, он поднимался и ударялся о перекладину, что, останавливая его и производя сотрясение, усиливало его метательную силу.

Машины второго типа представляли более сложный механизм: на маленькой колонке укреплена была перекладина на самой своей средине, где кончался прямым углом своего рода канал; на концах перекладины поднимались два шлема, содержавшие клубки конских волос; здесь укреплены были две маленькие балки, поддерживавшие концы веревки, которую спускали вниз ка-

нала на бронзовую пластинку. Посредством пружины металлическая пластинка отделялась и, скользя по желобкам, выталкивала стрелы.

Катапульты назывались также онаграми, по их сходству с дикими ослами, которые швыряют камни ногами, а метательные машины назывались скорпионами, потому что имели крючок, который помещался на пластинке и, опускаясь от удара кулаком, приводил в действие пружину.

Сооружение машин требовало ученых выкладок; дерево для них нужно было выбирать самое твердое, зубчатые колеса делались все из меди; их натягивали рычагами, блоками, воротами или барабанами; крепкие стержни определяли направление метательных снарядов, цилиндры служили для передвижения машин, и самые громоздкие из них, привозившиеся по кускам, устанавливались перед лицом неприятеля.

Спендий расположил три больших катапульта в трех главных углах; у каждых ворот он поставил по тарану, перед каждой башней—по метательной машине, а позади с места на место переезжали машины, укрепленные на возах. Но нужно было их обезопасить от огня осажденных и прежде всего закопать ров, отделявший их от стен.

Подвезли решетки из плетеных желтых камышей и дубовых дуг, похожие на огромные щиты, скользящие на двух колесах. Маленькие хижины, покрытые свежими шкурами и выложенные водорослями, укрывали работников; катапульты и стрелометы защищены были занавесями из веревок, вымоченных в уксусе, чтобы сделать их несгораемыми. Женщины и дети собирали камни на берегу, набирали землю в руки и приносили ее солдатам.

Карфагеняне, с своей стороны, тоже готовились.

Гамилькар их скоро успокоил, заявляя, что воды в цистернах хватит на сто двадцать три дня. Это его заявление, а также его присутствие среди них, в особенности же присутствие жаннфа, преисполняло их надежды. Карфаген воспрял духом, и те, которые не принадлежали к ханнанской расе, заразились увлечением других.

Вооружили рабов, опустошили арсеналы; каждый из жителей имел назначенный для него пост и определенную обязанность. Тысяча двести человек из перебежчиков остались в живых, и суффет произвел их всех в начальников; плотники, оружейники, кузнецы и золотых дел мастера были наряжены к машинам. Карфагеняне сохранили несколько машин, вопреки условиям мира с римлянами. Машины починили. Карфагеняне были мастерами этого дела.

Две стороны, северная и восточная, защищенные морем и заливом, оставались неприступными. На стену, обращенную к варварам, притащили стволы деревьев, жернова, сосуды с серой, чаны с растительным маслом и сложили там печи. Кроме того, на верхней площадке башен сложены были кучи камней, и дома, непосредственно соприкасавшиеся с насыпями, были засыпаны песком, чтобы укрепить и увеличить насыпь.

Эти приготовления раздражали варваров. Им хотелось тотчас же начать бой. Но тяжесть, которой они нагрузили катапульты, была такая чрезмерная, что дышла сломались, и приступ пришлось отложить.

Наконец, на третий день месяца шабара, при восходе солнца, раздался сильный стук в камонские ворота.

Семьдесят пять солдат тянули веревки, расположенные у низа гигантского бревна, висевшего на цепях, которые спускались со столбов; бревно заканчивалось медной бараньей головой. Оно было завернуто в бычачьи шкуры; в нескольких местах его обхватывали железные браслеты, оно было в три раза толще человеческого тела, длиной в сто двадцать локтей, и, подталкиваемое бесчисленными голыми руками, оно правильным движением приближалось и отступало.

Другие тараны, расположенные у других ворот, тоже пришли в действие. В выдолбленных колесах барабанов видны были люди, поднимавшиеся со ступеньки на ступеньку. Блоки и шлемы заскрипели, веревочные занавеси спустились, и заряды камней и стрел вылетели сразу. Несколько людей приблизились к окопу, пряча под щитами горшки со смолой, и затем бросили их вперед сильным движением руки. Град камней, стрел и огней пере-

летел через первые ряды и описал дугу, которая оканчивалась за стенами. Но на верху стен вытянулись высокие краны, предназначавшиеся для того, чтобы ставить мачты на кораблях, и оттуда спустились огромные клещи, заканчивавшиеся двумя полукругами, зубчатыми внутри. Эти клещи вцепились в метательные машины. Воины, ухватившись за бревно, тянули его назад. Карфагеняне напрягали свои силы, чтобы поднять его вверх, и столкновение длилось до вечера.

Когда на следующий день наемники снова взялись за дело, оказалось, что верх стен выложен был тюками хлопка, полотном и подушками; амбразуры заткнуты были цыновками, а на окопе, между мачтовыми кранами, виден был целый ряд вил и топоров, прикрепленных к палкам. Тогда снова началась бешеная схватка.

Стволы деревьев, охваченные веревками, падали и, поднимаясь, падали вновь, ударяя тараны; железные крюки, выбрасываемые метательными машинами, вырывали крыши хижин; с площадки башен низвергались целые потоки камней.

Наконец, тараны разбили камонские и тагасские ворота. Но карфагеняне накопили внутри такое количество разного материала, что ворота не растворялись, а продолжали стоять.

Тогда двинули к стенам буравы, которые отвинчивали шарниры ворот. Машины теперь действовали лучше, так как людей, управляющих ими, разделили на сменяющиеся отряды. Они с утра до вечера были в непрерывном движении, работая с точностью ткацкого станка.

Спендий управлял ими, не зная устали. Он натягивал веревки метательных машин. Для того, чтобы напряжение было равное с обеих сторон, веревки сжимали, ударяя по ним поочередно справа и слева до того времени, пока обе стороны не давали одинакового звука. Спендий поднимался на рамы машин и тихонько ударял по ним ногой, прислушиваясь, как музыкант, который настраивает лиру. Потом, когда дышло катапульта поднималось, когда колонна метательной машины содрогалась при сотрясениях пружины, и камни устремлялись

лучами, а стрелы вылетали ручьем, он наклонялся всем телом и вытягивал руки только для того, чтобы уследить за ними.

Воины, изумляясь его ловкости, исполняли его приказания. Весело справляя работу, они шутили над названиями машин. Так, щипцы для захвата таранов назывались волками, закрытые решетки—виноградными навесами; себя они называли ягнятами и говорили, что готовятся к сбору винограда; вооружая машины, они говорили онаграм: «хвати их копытом!», а скорпионам: «ужаль их в самое сердце!». Эти шутки, всегда одни и те же, поддерживали в них бодрость духа.

Машины, однако, не могли разрушить окопа. Последний состоял из двух стен и был весь наполнен землей; машины сбивали лишь верхушки стен. Но осажденные каждый раз вновь их возводили. Мато приказал соорудить деревянные башни, такой же высоты, как и каменные. В ров набросали дерн, камни, колесницы с колесами для того, чтобы скорее заполнить его; еще прежде, чем ров был вполне засыпан, огромная толпа варваров хлынула на образовавшееся ровное место и подступила к подножию стен, как разбушевавшееся море.

Подвели веревчатые лестницы и самбуки, состоявшие из двух мачт, с которых спускалось посредством талей множество бамбуков, заканчивавшихся внизу подвижным мостом. Самбуки образовали ряд прямых линий, прислоненных к стене, и наемники поднимались гуськом, держа в руках оружие. Не было видно ни одного карфагенянина; осаждающие уже миновали две трети окопа. Тогда амбразуры раскрылись, изрыгая, как пасти драконов, огонь и дым; песок разлетался и проникал в закрепы панцырей; нефть прилипала к одежде; расплавленное олово прыгало по шлемам, пробуравливало дыры в теле; дождь искр обжигал лица, и выжженные глазные впадины как бы плакали слезами, крупными, как миндалины. Люди, вымазанные желтым растительным маслом, горели, начиная с волос. Они бросались бежать, перебрасывая огонь на других. Их душили, кидая им в лицо плащи, пропитанные кровью. Некоторые

не получившие ран, стояли, как вкопанные, с раскрытым ртом и распростертыми руками.

В течение нескольких дней приступ возобновлялся; наемники надеялись восторжествовать, благодаря своей неустанной силе и отваге.

Иногда кто-нибудь становился на плечи другого, вынимал стрелу, укреплял ее между камней, пользовался ею, как ступенькой, и продолжал так подниматься по второй и третьей стреле; защищенные краем амбразур, выступавших из стен, они поднимались все выше, но всегда, поднявшись на некоторую высоту, падали вниз. Большой ров был полон выше краев; под шагами живых лежали грудами раненые вместе с умирающими и с трупами. Среди распоротых животов, вытекающих мозгов и луж крови обожженные туловища казались черными пятнами; руки и ноги, выступавшие наполовину из груды тел, стояли прямо, как шпалеры в сожженном винограднике.

Так как одних веревочных лестниц было мало, то пустили в дело толеноны; эти сооружения состояли из высокой балки, поперечно укрепленной на другой, и на противоположном конце снабженной четырехугольною корзиною, где могли поместиться тридцать человек пехоты со своим оружием.

Мато хотел сесть в первую готовую корзину. Спендий остановил его.

Люди наклонились над воротом; большая балка поднялась, приняла горизонтальное положение, потом выпрямилась почти вертикально и, слишком нагруженная снизу, согнулась, как гигантский камыш. Воины, спрятанные в корзине до подбородка, сплотились, и видны были только перья их шлемов. Наконец, когда корзина поднялась на пятьдесят локтей в воздухе, она несколько раз повернулась направо и налево и потом, опустившись подобно руке великана, приподнявшего на ладони целое войско пигмеев, высадила у края стены корзину, полную людей. Они выскочили в толпу и больше уже не вернулись.

Все другие толеноны были тоже быстро снаряжены. Но нужно было в сто раз большее число, чтобы взять

город. Они действовали убийственно: в корзинках размещались эфиопские стрелки; потом, когда веревки были приспособлены, они повисали в воздухе и выпускали отравленные стрелы. Пятьдесят толенонов, поднимаясь над амбразурами, окружали Карфаген, как свирепые коршуны; и негры с хохотом смотрели, как стража на окопах умирала в страшных судорогах.

Гамилькар послал туда своих гоплитов, давая им пить по утрам настойку трав, предохранявших от действия яда.

Однажды, в темный вечер, он отправил лучших своих воинов на грузовых судах и на досках и, обогнув справа порт, высадился с ними в Тении. Потом они подошли к первым рядам варваров и, наступая на них сбоку, устроили страшную резню. Люди спускались на веревках по ночам со стен с факелами в руках, уничтожали все осадные работы наемников и снова поднимались вверх.

Мато был так ожесточен, что всякое препятствие только усиливало его гнев. Он доходил до ужасов и сумасбродства. Он мысленно призвал Саламбо на свидание и ждал ее. Она не пришла, и это показалось ему новым предательством. Он возненавидел ее. Если бы он увидел ее труп, он бы, может быть, ушел. Он усилил аванпосты, укрепил валы у подножья окопа, зарыл железные ловушки в землю и велел ливийцам притащить целый лес, чтобы сжечь Карфаген, как лисью нору.

Спендий упрямо настаивал на продолжение осады. Ему хотелось изобрести страшные машины, каких никто еще не сооружал до сих пор.

Другие варвары, расположившись вдали на перешейке, поражались медленностью осады; они стали роптать, их пустили вперед.

Тогда они бросились к воротам со своими кортиками и метательными копьями. Но их обнаженные тела легко было ранить, и карфагеняне избивали их в огромном числе. Наемники радовались этому, вероятно, злорадствуя при мысли, что им не достанется добыча. Это повело к ссорам, ко взаимному избиению. Потом, так как все вокруг было опустошено, то все вырывали друг у друга

с'естные припасы. Наемники стали падать духом. Многочисленные полчища ушли; но толпа была так велика, что этого не было совершенно заметно.

Лучшие из воинов пытались устроить подкопы; плохо поддерживаемая почва осыпалась. Тогда они начинали рыть в других местах. Гамилькар всегда узнавал о направлениях их работ, прикладывая ухо к бронзовому щиту. Он прорыл контрмины под дорогой, по которой должны были двигаться деревянные башни; когда их хотели двинуть вперед, они стали проваливаться в ямы.

Наконец, все убедились, что города нельзя было взять до тех пор, пока не будет воздвигнута до высоты стен длинная земляная насыпь, которая даст осаждающим возможность сражаться на одном уровне с осажденными; насыпь решили наверху вымостить, чтобы можно было катать по ней машины. Тогда уже Карфагену невозможно будет устоять.

Карфаген начал страдать от жажды. Вода, которая, продавалась в начале осады по две кеситы за меру, теперь стоила уже по серебряному шекелю за то же количество; запасы мяса и хлеба тоже иссякли. Стали опасаться голода. Поговаривали даже о лишних ртах, что привело всех в ужас.

От камонской площади до храма Мелькарта улицы были завалены трупами; и так как был конец лета, то сражающихся терзали огромные черные мухи. Старики переносили раненых, а набожные люди продолжали устраивать мнимые похороны своих родных и друзей, погибших вдали во время войны. Восковые статуи с волосами в одеждах лежали поперек дверей. Они таяли от жара восковых свечей, горевших подле них. Краска стекала им на плечи, а на лицах живых, которые распевали тягучим голосом похоронные песни, струились слезы по щекам. Толпа бежала вдоль улиц, проходили вооруженные отряды; начальники громко отдавали приказания, и все время слышался стук таранов, ударявшихся о насыпь.

Воздух становился таким тяжелым, что тела, распухая, не могли уместиться в гробах. Их сжигали посреди дворов. Но слишком стиснутое пламя охватывало сосед-

ние стены, и длинные языки огня вырывались из домов точно кровь, брызжущая из артерий. Так Молох овладел Карфагеном; он обхватывал стены, катался по улицам, пожирал даже трупы.

Люди, носившие в знак горя плащи из подобранных на улицах лохмотьев, стояли на перекрестках. Они бунтовали против старейшин, против Гамилькара, предсказывали народу полное поражение, убеждая его все разрушать и все себе разрешать. Самыми опасными были те, которые опьянялись беленой; во время приступов безумия они воображали себя дикими зверями, бросались на прохожих, чтобы растерзать их. Вокруг них собиралась толпа, забывавшая о защите Карфагена. Суффет решил действовать подкупом, чтобы обрести защитников своей политики.

Для того, чтобы удержать в городе дух богов, статуи их заковали в цепи. Надели черные покрывала на патеков и обвернули власяницами алтари; старались возбудить гордость и ревность ваалов, напевая им на ухо:

— Неужели ты дашь себя победить? Неужели другие сильнее тебя? Покажись, помоги нам! Пусть другие народы не говорят: куда девались их боги?

Непрерывная тревога охватила коллегии жрецов. Особенно сильный страх овладел жрецами Раббетны, ибо возвращение заимфа ни к чему не послужило. Жрецы заперлись в третьей ограде, неприступной, как крепость. Только один из них решался выходить: то был великий жрец Шагабарим.

Он приходил навещать Саламбо. Но он сидел у нее молча, устремив на нее пристальный взгляд; или же, напротив того, он говорил без умолку и еще более сурово осыпал ее упреками, чем прежде.

По непостижимому противоречию, он не мог простить Саламбо то, что она последовала его увещаниям. Шагабарим все понял, и это усиливало его беспомощную ревность. Он обвинял ее в том, что она — причина войны. Мато, по его словам, осаждает Карфаген для того, чтобы вновь овладеть заимфом; и он изливал проклятия и на-

смешки на варвара, который так жаждет обладать святыней. Но жрец хотел сказать этим совсем другое.

Саламбо не чувствовала теперь никакого страха перед ним. Тревога, владевшая ею прежде, теперь совершенно рассеялась. Странное спокойствие было в ее душе. Ее взгляд, уже не такой блуждающий, сверкал ясным пламенем.

Пифон теперь снова заболел; но так как Саламбо, напротив того, видимо поправлялась, то старуха Таанах радовалась болезни змеи, уверенная, что змея впитывала в себя болезнь ее госпожи.

Однажды утром она нашла змею за ложем из бычачьих шкур свернувшейся, холоднее мрамора, и голова ее исчезала под множеством покрывших ее червей. На ее крики подошла Саламбо. Она стала переворачивать змею кончиком сандалии, и рабыня была поражена равнодушием госпожи.

Дочь Гамилькара уже не предавалась с таким рвением постам, как прежде. Она проводила дни на своей террасе. Опираясь обоими локтями о перила, она глядела вдаль. Верхушки стен в конце города вырисовывались на небе неровными зигзагами, и копья стражи составляли во всю длину как бы кайму из колосьев. Вдали, между башнями, она видела осадные работы варваров, а в те дни, когда осада прерывалась, она могла даже различать, чем они были заняты. Они чинили оружие, мазали жиром свои волосы или же мыли в море окровавленные руки; палатки были закрыты; вьючные животные ели свой корм; серпы на колесницах, стоявших полукругом, казались издали серебряным палашом, лежащим у подножья гор. Она вспоминала речи Шагабарима и ждала своего жениха Нар-Гаваса. Вместе с тем ей хотелось вновь увидать Мато, несмотря на всю ненависть к нему. Из всех карфагенян она одна, быть может, могла бы говорить с ним без страха.

Часто отец приходил к ней в комнату. Он садился, тяжело дыша, на подушки и смотрел на нее с нежностью, точно находил в созерцании ее отдохновение от своих трудов. Он несколько раз расспрашивал ее о ее путешествии в лагерь наемников. Он даже спросил ее, не

внушил ли ей кто-нибудь мысли о том, чтобы отправиться туда. Она знаком головы отвечала, что нет: до того она гордилась тем, что спасла ваимф.

Но суффет все время возвращался в разговоре к Мато, под предлогом нужных ему военных сведений. Он не мог понять, как она провела долгие часы в палатке. Саламбо ничего не сказала ему о Гисконе, ибо слова имели в ее глазах действенную силу, и она боялась, что, передавая кому-нибудь проклятия, ниспосланные на нее, она обратит их против себя же самой; она также молчала о своем желании убить Мато из боязни упреков за то, что она не осуществила своего намерения. Она говорила, что малышам казался взбешенным, что он очень кричал, а потом заснул. Саламбо ничего больше не рассказала, может быть, из стыда, может быть, вследствие своей невинности, не приписывавшей особого значения поцелуям Мато. Все это носилось в ее затуманенной грустью голове, как воспоминание о тяжком сне; и она даже не могла бы выразить словами своих чувств.

Однажды вечером, когда отец и дочь сидели вместе, вбежала Таанах с испуганным лицом. Она сказала, что во дворе стоит старик с ребенком и требует, чтобы его провели к суффету.

Гамилькар побледнел, потом быстро сказал:

— Проведи его сюда!

Идибал вошел и не простерся ниц перед господином. Он держал за руку мальчика, одетого в плащ из козлиной шерсти; и тотчас же, приподняв капюшон, закрывавший лицо мальчика, он сказал:

— Вот он, господин, возьми его!

Суффет и раб ушли в угол комнаты.

Мальчик продолжал стоять посредине комнаты и более внимательным, нежели удивленным взглядом оглядывал потолок, мебель, жемчужные ожерелья, лежавшие на пурпурных тканях, и величественную молодую женщину, склоненную к нему.

Ему было лет десять, и он был не выше римского меча. Вьющиеся волосы осеняли его выпуклый лоб. Зрачки его, казалось, искали широких пространств. Ноздри тон-

кого носа широко раздувались; все его существо точно озарено было неопределимым сиянием тех, которые предназначены для больших дел. Когда он сбросил слишком тяжелый плащ, он остался одетым в рысью шкуру, обвязанную вокруг его стана, и решительно ставил на плиты свои маленькие обнаженные ноги, белые от пыли. Он несомненно чувствовал, что свершается нечто важное, ибо стоял недвижно, заложив одну руку за спину, опустив подбородок и держа палец во рту.

Наконец, Гамилькар подозвал к себе знаком Саламбо и сказал ей, понизив голос:

— Ты оставишь этого мальчика у себя, слышишь! Никто, даже из домашних, не должен знать о его существовании.

Потом, уже выйдя из дверей, он еще раз спросил Идибала, уверен ли он в том, что их никто не видел.

— Никто,—ответил раб,—улицы были пустые.

Так как война распространилась на все провинции, то он боялся за сына своего господина. Не зная, где его укрыть, он проехал на шлюпке вдоль берегов и в течение трех дней лавировал по заливу, оглядывая окопы. Наконец, в этот вечер, видя, что окрестности Камона были пустынны, он быстро миновал фарватер и высадился вблизи арсенала, ибо вход в порт был свободен.

Но вскоре варвары построили против порта огромный плот, чтобы помешать карфагенянам выходить из него. Они воздвигали деревянные башни и в то же время продолжали строить насыпь

Все сообщения были прерваны, и начался невыносимый голод

Убили всех собак, всех мулов, ослов, потом пятнадцать слонов, приведенных суффетом. Львы храма Молоха взбесились, и служители храма стали бояться к ним подходить. Их кормили сначала раненными варварами; потом им стали бросать еще не остывшие трупы; они не стали есть, и все погибли. В сумерки люди бродили вдоль старых стен и срывали между камнями травы и цветы, которые потом кипятили в вине; вино стоило дешевле воды. Другие пробирались к аванпостам врага и крали пищу прямо из палаток; варвары были так поражены, что часто

не препятствовали им уходить обратно. Наконец, наступил день, когда старейшины решили зарезать тайком лошадей Эшмуна. То были священные лошади, которым жрецы переплетали гривы золотыми лентами; своим существованием они обозначали движение солнца, огонь в высшем его воплощении. Их мясо, разрезанное на равные куски, запрятали за алтарем. Потом по вечерам, под предлогом молитв, старейшины поднимались в храм и втихомолку поедали мясо и уносили под одеждой по куску для своих детей. В отдаленных кварталах, вдали от стен, менее нуждающиеся жители, из страха перед другими, запирались наглухо у себя.

Камни катапультов и обломки зданий, снесенных в целях защиты, образовали груды развалин среди улиц. В часы, наиболее спокойные, толпы народа с криками срывались с мест; а с высоты акрополя языки пламени походили на пурпурные лохмотья, раскинутые по террасам и развеваемые ветром.

Три больших катапульта действовали непрерывно среди остальных работ. Причиняемые ими опустошения были ужасны; голова одного человека отскочила на фронтон сисситов; на улице Киниздо рожавшая женщина была раздавлена глыбой мрамора, а ее ребенка с кроватью отнесло до перекрестка Цинасина, где оказалось и одеяло.

Самое раздражающее действие производили снаряды пращеметателей. Они падали на крыши, в сады, на середину дворов, в то время как люди сидели за жалкой трапезой, тяжело вздыхая. Страшные снаряды снабжены были вырезанными на них надписями, которые отпечатлевались на теле раненых. И на трупах можно было прочесть ругательства, в роде: свинья, шакал, гад, или же: вот тебе, или же: поделом мне.

Часть стены, которая тянулась от угла порта до высоты цистерн, была разрушена. Жители Мальки очутились запертыми, таким образом, между старой оградой Бирсы сзади и варварами спереди. Но все были слишком увлечены возведением стены и укреплением ее, чтобы думать о жителях Мальки; их оставили без защиты, и они все погибли. Несмотря на то, что их ненавидели, гибель их вызвала чувство возмущения против Гамилькара

На следующий день он раскрыл рвы, где хранился хлеб, и его управители роздали этот хлеб народу. В течение трех дней ели до отвала.

Но жажда от этого сделалась только более невыносимой; и все время они видели перед собой нескончаемую струю чистой воды, падавшей из акведука. Под лучами солнца тонкие брызги поднимались от подножья акведука, отливая радугой с одной стороны, и маленький ручеек, извивавшийся вдоль равнины, изливался в залив.

Гамилькар не падал духом. Он рассчитывал на какое-нибудь событие, на что-нибудь решительное, необычайное.

Его собственные рабы сорвали серебряные полосы с храма Мелькарта; из порта, при помощи воротов, извлекли четыре длинных судна и привели их к подножью Маппал; стену, которая обращена была к берегу, пробуравили, и они отправились в Галлию, чтобы купить там за какую угодно цену наемников. Гамилькар был в отчаянии, что не мог сноситься с королем нумидийским зная, что он стоит позади варваров, готовый на них броситься. Но Нар-Гавас не был достаточно силен, чтобы отважиться на это одному; и суффет велел поднять окоп на двенадцать пядей, собрать в акрополе весь строительный материал из арсеналов и еще раз исправить машины.

Для завертывания катапультов пользовались сухожилиями бычачьих шей или же поджилками оленей. Но в Карфагене не было ни оленей, ни быков. Гамилькар попросил у старейшин волосы их жен; все жены согласились на жертву, но количество волос оказалось недостаточным. В зданиях сисситов содержались тысяча двести взрослых рабынь, предназначенных в наложницы для Греции и Италии; их волосы, упругие, благодаря постоянному умащиванию, вполне годились для военных машин. Но убытки были бы слишком велики. Поэтому решили искать самых густых волос у жен плебеев. Совершенно равнодушные к благу отечества, они поднимали вопль отчаяния при появлении слуг старейшин с ножницами в руках.

Новый взрыв бешенства поднял дух варваров. Видно было издали, как они смазывали свои машины салом

мертвецов; другие вырывали у мертвецов ногти и сшивали их, сооружая таким образом панцыри. Они придумали еще заряжать катапульты сосудами, полными змей, привезенных иеграми; глиняные сосуды разбивались на плитах, змеи расползались и кишели в таком количестве, точно выходили из стен. Потом варвары, не вполне довольные своим изобретением, стали его совершенствовать; их машины стали выбрасывать всевозможные нечистоты, человеческие испражнения, куски .падали, трупы. Снова распространилась чума. У карфагенян выпадали зубы, и десны их побелели, как у верблюдов после долгого пути.

Машины расставили на насыпи, хотя она еще не достигала вышины окопа. Перед двадцатью тремя башнями укреплений стояли теперь еще двадцать три деревянные башни. Все толеноны были снова воздвигнуты, а посредине, немного позади виднелась страшная стенобитная башня Деметрия Полиоркета, которую Спендию удалось, наконец, заново воздвигнуть.

Пирамидальная, как маяк Александрийский, она была высотой в сто тридцать локтей и шириной в двадцать три, о девяти этажах, суживавшихся к вершине и защищенных медной чешуей; в башне были пробиты многочисленные двери, за которыми находились воины; на верхней площадке стоял катапульт рядом с двумя стрелометами.

Тогда Гамилькар приказал ставить кресты для тех, которые заговорили бы о сдаче; даже женщин привлекли к работе. Все спали на улицах и с тревогой ждали событий.

Затем, однажды утром, незадолго до восхода солнца (то был седьмой день месяца нисана), они услышали страшный крик, поднятый всеми варварами сразу; гремели оловянные трубы, большие пафлагонийские рога ревели, как быки. Все вскочили и бросились к окопу.

Целый лес копий, пик и мечей щетинился у подножья. Лес этот рвался к стенам, зацепляя за них лестницы, и в отверстиях амбразур появились головы варваров.

Бревна, поддерживаемые длинными рядами людей,

ударялись о ворота; в тех местах, куда не доходила насыпь, наемники, чтобы разрушить стену, появлялись тесными рядами; первый ряд сидел на корточках, второй сгибал колени, а остальные поочередно поднимались все выше до последних, стоявших во весь рост. В других местах, чтобы подняться на стену, самые высокие шли впереди, самые низкие в хвосте, и все левой рукой упирали щиты в свои шлемы и так тесно соединяли их краями, что имели вид больших черепах. Снаряды скользили по этим косым рядам.

Карфагеняне бросали жернова, толкачи, чаны, бочки, кровати, все, что могло составить тяжесть и убить. Некоторые подстерегали врагов в амбразурах с рыбачьими сетями, и, когда варвар подходил, он запутывался в петлях и бился, как рыба. Они сами разрушали зубцы башен, и куски стены отпадали, поднимая страшную пыль; катапульты с насыпи выпускали снаряды друг против друга; камни их сталкивались и разлетались в тысячи кусков, падавших тяжелым дождем на воинов.

Вскоре две толпы образовали одну толстую цепь человеческих тел; она выпячивалась в промежутках насыпи и, несколько ослабевая в обоих концах, непрерывно катилась, не подвигаясь, однако, вперед. Люди охватывали друг друга, лежа на животах, как борцы. Началась давка. Женщины, свесившись с амбразур, поднимали вой. Их стаскивали за покрывала, и белизна обнажавшегося тела сверкала под руками негров, которые всаживали в них кинжалы. Трупы, сдавленные толпою, не падали; поддерживаемые плечами соседей, они несколько минут стояли с остановившимся взглядом. Некоторые, у которых виски были пробиты насквозь дротиками, качали головой, как медведи. Рты, раскрывшись для крика, оставались открытыми; отрубленные руки отлетали на воздух. Было много страшных ударов, о которых долго говорили потом уцелевшие воины.

Стрелы тем временем летели градом с вершины деревянных и каменных башен. Толеноны быстро шевелили своими длинными ремнями, и когда варварам удалось разрушить под катакомбами старое кладбище предков, они стали бросать в карфагенян плиты могил. Под

тяжестью слишком нагруженных корзин канаты иногда лопались, и груды людей, воздевая руки, падали с высоты.

До половины дня ветераны гоплитов упорно осаждали Тению, чтобы проникнуть в порт и разрушить флот. Гамилькар велел разложить на крыше Камона огонь из мокрой соломы; дым ослеплял варваров, и они свернули налево, подкрепляя своими полчищами огромную толпу, пробивавшуюся в Мальгу. Синтагмы, составленные из нарочно выбранных сильных людей, пробили трое ворот. Высокие заграждения из досок, утыканных гвоздями, остановили их; четвертые ворота легко уступили напору; они бегом кинулись через них и скатились в ров, где устроены были западни. В юго-западном углу Автарит со своим отрядом разрушил стену, расщелины которой были заткнуты кирпичами. За стеною был бугор, на который они легко поднялись. Но наверху оказалась вторая стена, сложенная из камней и длинных поперечных балок, чередовавшихся, как поля шахматной доски. То была галльская манера кладки, перенятая суффетом, как очень удобная в данном случае; галлам показалось, что они очутились перед городом своей страны. Они нехотя вели атаку и были вскоре отброшены.

От улицы Камона до Зеленого рынка вся дорога кругом была теперь в руках варваров, и самниты приканчивали умирающих кольями, или же, поставив ногу на стену, глядели вниз на дымящиеся внизу развалины и на возобновлявшуюся вдали битву.

Пращеметатели, расположенные сзади, продолжали метать снаряды. Но от долгого употребления пружины акарнанийских пращей ослабели, и несколько человек стали, как пастухи, метать камни рукой; другие бросали вдаль свинцовые шары рукоятью кнута. Заррсас с длинными черными волосами, покрывавшими плечи, скакал во все стороны и увлекал за собой балеаров. Две сумки висели у него по бокам; он неустанно опускал в них левую руку, а правая кружилась подобно колесу колесницы

Мато сначала не вступал сам в бой, для того, чтобы лучше управлять всеми варварами вместе. Его видели то вдоль залива с наемниками, то у лагуны с нумидийцами; то на берегах озера, среди негров, то в глубине равнины, откуда он гнал толпы воинов, непрестанно притекавших к линиям укреплений. Мало-помалу он приблизился к стенам; запах крови, вид резни и гром труб воспламенили его сердце. Тогда он вернулся в свою палатку и, сбросив панцырь, надел львиную шкуру, более удобную для битвы. Львиная голова надевалась на голову, окружая лицо кольцом из когтей; две передние лапы скрещивались на груди, а задние спускались когтями ниже колен.

Он оставил на себе свой широкий пояс, на котором сверкал обоюдоострый топор, и, держа свой большой меч двумя руками, порывисто бросился вперед, через пролом в стене. Подобно работнику, который, обрубая ветви ивы, старается сбить их как можно больше, чтобы заработать больше денег,—он шел вперед, рубя вокруг себя карфагенян. Тех, которые пытались схватить его сбоку, он опрокидывал ударами рукояти; когда они нападали на него спереди, он прокалывал их; если они бросались в бегство, он рассекал их надвое. Два человека сразу прыгнули ему на спину; он одним прыжком отскочил к воротам и раздавил их. Меч его то опускался, то поднимался и, наконец, рассекся об угол стены. Тогда он схватил свой тяжелый топор и стал спереди и сзади резать карфагенян, как стадо овец. Они отступали от него во все стороны, и он подошел совершенно один ко второй ограде у подошвы акрополя. Предметы, которые воины бросали с вершины, загромождали ступени и поднимались выше стен. Мато, очутившись среди развалин, обернулся, чтобы призвать своих соратников.

Он увидел перья их шлемов в разных местах над толпой; перья опускались, и Мато понял, что воины в опасности; он бросился к ним; тогда широкий венец красных перьев сплотился, они вскоре добрались до него и окружили его. Но из боковых улиц извивалась огромная толпа. Она охватила его с боков, подняла его и увлекла с собой, за стену, туда, где насыпь была высока.

Мато громким голосом отдал приказ: все щиты опустились на шлемы; он вскочил на них, чтобы уцепиться за что-нибудь и вернуться в Карфаген; продолжая размахивать страшным топором, он бегал по щитам, подобным медным волнам, как морской бог, несущийся по водам, потрясая своим трезубцем.

Тем временем человек в белой одежде ходил вдоль стены, невозмутимый и равнодушный к окружавшей его смерти. Иногда он приставлял к глазам правую руку, точно отыскивая кого-то. Мато прошел у его ног. Тогда глаза его вдруг разгорелись, и бледное лицо его исказилось; вздымая свои тощие руки, он стал громко осыпать Мато ругательствами.

Мато не слышал его слов, но ему проник в самое сердце такой жестокий и бешеный взгляд, что он не мог удержать крика. Он бросил в кричавшего свой длинный топор; люди его накинулись на Шагабарима, и Мато, не видя его более, упал навзничь, обессиленный.

Раздался вблизи страшный треск, соединявшийся с ритмичным глухим звуком голосов.

То был треск огромной стенобитной машины, окруженной толпой воинов. Они тянули ее обеими руками, натягивали канаты и толкали плечом, ибо откос, поднимавшийся с долины, хотя и очень отлогий, был все же крайне неудобен для установки машин такого страшного веса. Машина стояла, однако, на восьми колесах, обитых железом и подвигалась вперед с самого утра, медленно, подобно горе, становящейся на другую гору. Из ее подножья выступал таран; с трех сторон, обращенных на город, двери опустились, и в глубине появились, подобно железным колоннам, воины в панцырях. Видно было, как они карабкались и спускались вниз по двум лестницам, проходящим через все этажи. Некоторые поджидали, пока железные крючья дверей коснутся стены, чтобы тогда броситься вперед; посредине верхней площадки кружились мотки метательных машин, и опускалось дышло катапульта.

Гамилькар в это время стоял на крыше Мелькарта. Он решил, что таран направится прямо на него против

той наиболее неуязвимой части стены, которая не охранялась стражей. Давно уже его рабы принесли козьи меха на дорогу, где они воздвигли из глины две поперечные перегородки, составлявшие своего рода бассейн. Вода незаметно протекала на террасу, но Гамилькар страшным образом не беспокоился.

Но когда таран был уже шагах в тридцати от него, он приказал положить доски поверх улиц, между домами, от цистерн до стены; и люди шли гуськом, передавая из руки в руку шлемы и амфоры, которые они неустанно опорожняли, выливая воду. Карфагеняне возмущались такой тратой воды. Таран стал разрушать стену; но вдруг из раздвинутых камней стал бить фонтан. Тогда высокая медная громада в девять этажей, заключавшая в себе более трех тысяч воинов, стала медленно накреняться, как корабль. Оказалось, что вода, проникая в насыпь, размыла путь; колеса тарана стали увязать; в первом этаже показалось из-за кожаной занавеси лицо Спендия, который дул изо всех сил в трубу из слоновой кости. Огромная машина, судорожно вздымаясь, подвинулась еще шагов на десять; но почва все более и более размягчалась, грязь пробиралась в оси колес, и таран остановился, страшно накренившись на бок. Катапульт скатился на край площадки и под тяжестью своего дышла упал, разбивая под собой нижние этажи. Воины, стоявшие у дверей, слетали в пропасть или же цеплялись за концы длинных палок и увеличивали своей тяжестью наклон машины, которая распадалась на куски, треща во всех сочленениях.

Другие варвары бросились им на помощь. Они столпились плотной массой. Карфагеняне спустились со стены и, нападая на них сзади, беспрепятственно убивали их. Но в это время примчались колесницы, нагруженные серпами. Они неслись, оцепляя толпу кругом; карфагеняне снова поднялись на стену; спустилась ночь и варвары постепенно отошли.

На равнине виднелись теперь только шевелившиеся массы, точно черные муравьиные кучи, от голубоватого залива до белой лагуны; и озеро, в которое стекала

кровь, расстилалось вдали, точно огромный пурпурный пруд.

Насыпь была так завалена трупами, что казалась сложенной из человеческих тел. Посредине возвышалась стенобитная машина, покрытая военными доспехами, и от времени до времени огромные обломки ее отпадали, точно камни обрушивающейся пирамиды. На стенах видны были широкие желоба, образовавшиеся от потоков свинца. Местами горели поваленные на земь деревянные башни, и дома вырисовывались смутно, как ступеньки разрушенного амфитеатра. Тяжелый дым поднимался, унося искры, угасавшие в черном небе.

Карфагеняне тем временем, томимые жаждой, бросились к цистернам. Они выломали двери. В глубине оказалась только грязная лужа.

Что предпринять? Варваров оставались несметные полчища, и наверное, отдохнув, они возобновят осаду.

Народ всю ночь совещался отрядами на углах улиц. Одни говорили, что нужно услать женщин, больных и стариков; другие предлагали покинуть город и основаться где-нибудь в колонии вдали. Но не было кораблей, и они ничего не решили до самого восхода солнца.

На следующий день не было боя, до того все были разбиты усталостью. Спавшие походили на трупы.

Тогда карфагеняне, обдумывая причины своих несчастий, вспомнили, что не послали в Финикию ежегодные дары Мелькарту Тирийскому. Их охватил ужас. Боги, возмущенные, как и республика, наверное будут длить свою месть.

На богов смотрели, как на жестоких властителей, которых можно умиротворить только мольбами или же подкупить подарками. Все были беспомощны перед Молохом Всепожирателем. Жизнь и тело людей принадлежали ему; поэтому для спасения жизни карфагеняне жертвовали частицей тела для укрощения его гнева. Детям выжигали прядями шерсти на лбу и на затылке частицу кожи; этот способ удовлетворения Ваала приносил жрецам много денег, и они всегда убеждали прибегать к нему, как к наиболее легкому и не жестокому.

Но на этот раз дело шло о самой республике. Всякая выгода должна была искупаться какой-нибудь потерей, и все расчеты совершались сообразно нуждам более слабого и требовательности более сильного; не могло быть поэтому слишком большой боли, которой нельзя было бы претерпеть для Молоха. Он любил самые страшные мучения, и от него они теперь зависели Следовало поэтому вполне его удовлетворить. Примеры показывали, что этим способом можно было отвратить бич. К тому же они верили в то, что жертвоприношение огнем очистит Карфаген. Жестокость толпы была заранее распалена. К тому же выбор мог пасть на детей знатных семей.

Члены Совета собрались на совещание, длившееся долго. Ганнон тоже явился. Так как сидеть он уже не мог, то лежал в носилках у двери, полузакрытый бахромой занавесок; и когда жрец Молоха спросил всех, согласны ли они отдать в жертву своих детей, голос Ганнона раздался в тени занавесок, как рычанье злого духа в глубине пещеры. Он выразил сожаление, что у него самого нет детей, чтобы отдать их на заклание, и пристально посмотрел при этих словах на Гамилькара, сидевшего против него в другом конце зала. Суффет был так смущен его взглядом, что опустил глаза. Все согласились с Ганноном, каждый кивая по очереди головой в знак одобрения; согласно ритуалу, суффет должен был ответить великому жрецу:

— Да будет так.

Тогда старейшины постановили жертвоприношение, облекая свое решение в обычную иносказательную форму; есть вещи, которые легче исполнить, нежели выразить словами.

Решение Совета стало почти немедленно известным в Карфагене. Раздались стенания. Всюду слышались крики женщин; мужья утешали их или осыпали попреками.

Но три часа спустя распространилась еще более поразительная весть: суффет открыл источники у подножия утеса. Все побежали туда. В ямах, прорытых в

песке, виднелась вода. Несколько человек, лежа на животах, уже пили.

Гамилькар сам не знал, действовал ли он по совету богов или по смутному воспоминанию тайны, сообщенной ему когда-то отцом; но, выйдя из Совета, он спустился на берег и вместе со своими рабами стал рыть песок.

Он стал раздавать одежду, обувь и вино, отдал все оставшиеся у него запасы хлеба и даже впустил толпу в свой дворец, открыл ей кухни, кладовые, все комнаты—за исключением комнаты Саламбо. Он возвестил о скором прибытии шести тысяч галльских наемников и о том, что македонский царь присылает войска. Но уже на второй день источники стали высыхать, а к вечеру третьего дня совершенно иссякли. Тогда вновь вспомнили о решении старейшин, и жрецы Молоха принялись за дело.

В дома стали являться люди в черных одеждах. Многие заранее уходили под предлогом какого-нибудь дела или обещая детям принести лакомства; слуги Молоха являлись и забирали детей. Другие бессмысленно сами их приносили. Детей уводили в храм Таниты, где жрицы должны были кормить и забавлять их до наступления торжественного дня.

Эти люди явились к Гамилькару внезапно и застали его в его садах:

— Барка, ты знаешь, за кем мы пришли. За твоим сыном.

Они прибавили, что мальчика видели в лунную ночь минувшего месяца в Маппалах в сопровождении старца.

Гамилькар сначала стал задыхаться от ужаса. Потом, быстро поняв, что всякое отрицание было бы напрасным, он выразил согласие и ввел их в свои склады. Прибежавшие рабы стали по знаку своего господина стеречь выходы.

Гамилькар прибежал обезумевший в комнату Саламбо. Он схватил одной рукой Ганнибала, другой оторвал шнурок с какой-то лежавшей тут же одежды, связал ему ноги и руки, а конец шнурка сунул ему в рот, чтобы он

не мог говорить; затем он спрятал мальчика под ложем из бычачьих шкур, опустив падавшее до земли покрывало.

После того он стал ходить взад и вперед, поднимал руки, кружился, закусывал губы и уставил недвижно глаза в пространство, задыхаясь точно перед смертью.

Потом вдруг он ударил три раза в ладоши. Явился Гиденем.

— Послушай,—сказал он,—найди среди рабов мальчика восьми-девяти лет, с черными волосами и выпуклым лбом. Приведи его сюда скорее!

Вскоре Гиденем вернулся и привел с собой мальчика. Он был жалкий, худой и в то же время одутловатый; кожа казалась серой, как и грязные лохмотья, которыми он был опоясан. Он втягивал голову в плечи и тер себе ладонью глаза, залепленные мухами.

Разве можно было принять его за Ганнибала? А времени, чтобы найти другого, не было. Гамилькар смотрел на Гиденема; ему хотелось задушить его.

— Уходи!—крикнул он, и начальник над рабами убежал.

Значит то, чего он давно боялся, действительно, наступило; напрягая все силы, он стал придумывать какое-нибудь средство, чтобы избежать опасности.

За дверью раздался голос Абдалонима. Суффета звали. Служители Молоха выражали нетерпение.

Гамилькар едва удержал крик, точно его коснулось раскаленное железо; он стал вновь бегать по комнате, как безумный. Потом он опустился у края перил и, опираясь локтями на колени, сжимал кулаками лоб.

В порфировом бассейне оставалось еще немного чистой воды для омовений Саламбо. Несмотря на отвращение и на всю свою гордость, суффет окунул в воду мальчика и, как работорговец, принялся мыть его и натирать скребницами и глиной. Затем он взял из ящиков у стены два четырехугольных куска пурпура, надел ему один на грудь, другой на спину и соединил их у ключиц двумя алмазными пряжками. Он надел ему златовоний на голову, надел на шею янтарное ожерелье и обул его в сандалии с жемчужными каблуками, в сандалии его

дочери! Но он весь дрожал от стыда и раздражения; Саламбо, которая торопливо помогала ему, была тоже бледна, как и он. Мальчик улыбался, ослепленный великолепием новых одежд, и даже, охмелев, стал хлопать в ладоши, и скакать; Гамилькар повел его за собой.

Он крепко держал его за руку, точно боясь потерять его; мальчику было больно, и он заплакал, продолжая бежать рядом с Гамилькаром.

На высоте эргастула, под пальмой, раздался жалобный молящий голос. Голос этот шептал:

— О, господин, господин!

Гамилькар обернулся и увидел рядом с собой человека отвратительной наружности, одного из тех несчастных, которые жили без всякого дела в доме.

— Что тебе?—спросил суффет

Раб проговорил, весь дрожа:

— Я его отец.

Гамилькар продолжал идти; раб следовал за ним, сгибая колени и опустив голову. Лицо его было искажено несказанной мукой. Его душили рыдания, которые он сдерживал; до того ему хотелось одновременно и расспросить Гамилькара и крикнуть ему: «пощади!».

Наконец, он отважился слегка коснуться его локтя пальцем.

— Неужели ты его?..—У него не было силы закончить фразу, и Гамилькар остановился, пораженный его скорбью.

Он никогда не думал—до того широка была пропасть, разделявшая их,—что между ними могло быть что-нибудь общее. Это ему показалось даже каким-то оскорблением и покушением на его исключительные права. Он ответил взглядом, более тяжелым и холодным, чем топор палача. Раб, лишаясь чувств, упал на песок к его ногам. Гамилькар перешагнул через него

Трое людей в черных одеждах ждали его в большой зале, прислонившись к каменному диску. Он тотчас же стал рвать на себе одежды и кататься по полу, испуская пронзительные крики:

— О, мой Ганнибал! О, мой сын, мое утешение, моя надежда, моя жизнь! Убейте и меня! Уведите меня! Горе! горе!

Он разрывал себе лицо ногтями, вырывал волосы и выл, как плакальщицы на погребениях.

— Уведите же меня, я слишком страдаю! Уйдите, убейте и меня, как его.

Служители Молоха удивлялись тому, что у великого Гамилькара столь слабое сердце. Они даже были почти растроганы.

Раздался топот босых ног и прерывистый хрип, подобный дыханию добегающего до места дикого зверя; на пороге третьей галлереи, между ручками из слоновой кости, показался бледный человек, с отчаянием простиравший руки; он воскликнул:

— Мое дитя!

Гамилькар одним прыжком бросился на раба и, закрывая ему руками рот, стал кричать еще громче:

— Это старик, который воспитал его. Он называет его своим ребенком. Он с ума сойдет. Довольно! довольно!

И, выталкивая плечами трех жрецов и их жертву, он вышел вместе с ними и сильным ударом ноги захлопнул за собою дверь.

Гамилькар прислушивался в течение еще нескольких минут, все еще боясь, что они могут вернуться. Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании; но опасность еще не вполне рассеялась, и эта смерть, если она раздражит богов, могла обернуться против его же сына. Тогда, меняя свое намерение, он послал ему через Таанах лучшее, что было в кухне: четверть козла, бобы и консервы из гранатовых яблок. Раб, который давно уже ничего не ел, бросился на пищу, и слезы его капали на блюда.

Гамилькар, вернувшись, наконец, к Саламбо, развязал веревки Ганнибала и высвободил его. Мальчик в бешенстве укусил его за руку до крови. Он ласково оттолкнул его.

Для того, чтобы смирить его, Саламбо стала пугать его Ламией, киренской людоедицей.

— А где же она?—спросил он.

Тогда ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он ответил:

— Пускай придут, я их убью!

Тогда Гамилькар открыл ему страшную правду. Но он возмутился против отца, утверждая, что он мог бы уничтожить весь народ, будучи властителем Карфагена.

Наконец, истощенный напряжением и гневом, он заснул мятежным сном. Он бредил во сне, прислонившись спиной к пурпурной подушке. Голова его слегка откинулась назад, а маленькая рука его, отделившись от тела, держалась прямо, в повелительной позе.

Когда наступила ночь, Гамилькар осторожно поднял его и спустился в темноте по лестнице галер. Пройдя мимо складов, он взял связку винограда и кувшин чистой воды; мальчик проснулся перед статуей Алета в пещере, где хранились драгоценные камни; он тоже улыбался на руках у отца, как статуя, при виде окружающего его сияния камней.

Гамилькар был уверен, что теперь уже никто не отнимет у него сына. В эту пещеру никто не мог проникнуть, так как она соединялась с берегом подземным ходом, известным ему одному; озираясь вокруг себя, он глубоко вздохнул, впитывая широкую струю воздуха. Потом он посадил мальчика на табурет около золотых щитов.

Его теперь никто не видел, и не было надобности сдерживать себя; он дал волю поэтому своим чувствам. Подобно матери, которой вернули ее первенца, он бросился на сына, прижимал его к груди, смеялся и плакал в одно и то же время, называл его ласковыми именами, покрывал его поцелуями. Маленький Ганнибал, испуганный этой порывистой нежностью, затих.

Гамилькар вернулся неслышными шагами, нащупывая стены вокруг себя. Он пришел в большой зал, куда лунный свет проникал через расщелины купола; среди комнаты спал раб, насыщенный обильной пищей, вытянувшись на мраморных плитах. Гамилькар посмотрел на него, и в нем зашевелилась жалость. Кончиком котурна он пододвинул ему ковер под голову. Затем он поднял

глаза и взглянул на Таниту, узкий серп которой сверкал на небе; он почувствовал себя теперь сильнее ваалов и преисполнился презрением к ним.

Уже начаты были приготовления к жертвоприношению.

В храме Молоха отбили кусок стены для того, чтобы извлечь медный идол, не касаясь пепла алтаря. Затем, как только взошло солнце, служители храма выдвинули идол на камонскую площадь.

Идол двигался, пятясь назад, скользя на цилиндрах; плечи его превышали высоту стен; едва завидя его издали, карфагеняне быстро убегали, ибо нельзя было безнаказанно созерцать Ваала иначе, чем во время его свершающегося гнева.

По улицам распространился запах благоуханий. Двери всех храмов раскрылись сразу; из них выступали дарохранительницы на колесницах или на носилках, носимых жрецами. Большие султаны перьев развевались по их углам, лучи исходили из остроконечных верхушек, заканчивавшихся хрустальными, серебряными или медными шарами.

То были ханаанские ваалы, двойники верховного Ваала; они возвращались к первосвятыне, чтобы преклониться перед ее силой и уничижиться в ее блеске.

Палатка Мелькарта, из тонкого пурпура, хранила внутри керосинное пламя; на шатре Камона гиацинтового цвета высился фаллус из слоновой кости, окаймленный венцом из драгоценных камней; за занавесками Эшмуна, эфирно-голубого цвета, спавший пифон свернулся в круг; боги-патэки, которых жрецы носили на руках, казались большими спеленутыми детьми, пятки которых касались земли.

Затем следовали все низшие формы божества: Ваал-Самин, бог небесных пространств; Ваал-Пеор, бог священных высот; Ваал-Зебуб, бог разврата, и все боги соседних стран и родственных племен: Ярбал ливийский, Адрамелек халдейский, Кион сирийский; Дергето с лицом девственницы полз на плавниках, а труп Тамуза втащили на катафалке среди факелов и пучков срезанных волос. Для того, чтобы подчинить властителей не-

бесного свода солнцу и для того, чтобы они каждый своим влиянием не мешали влиянию солнца, жрецы носили на высоких шестах металлические звезды, окрашенные в разные цвета. Тут были представлены все светила, начиная с черного Неба, духа Меркурия, до отвратительного Рагаба, изображавшего созвездие крокодила. Аббадиры, камни, падающие с луны, кружились в пращах из серебряных нитей; маленькие хлеба, воспроизводящие женский пол, наполняли корзины, которые несли жрецы Цереры; другие жрецы несли свои фетиши, свои амулеты; появились забытые идолы; взяты были даже мистические эмблемы кораблей. Казалось, что Карфаген хотел весь сосредоточиться на мыслях о смерти и разрушении.

Перед каждым из шатров стоял человек, державший в равновесии на голове широкий сосуд, в котором дымились курения. Носились облака дыма, и среди тяжелых клубов можно было различить ткани, привески и вышивки священных шатров. Они двигались медленно, вследствие своей огромной тяжести. Оси колесниц иногда зацеплялись за что-нибудь на улицах; благочестивые люди тогда пользовались случаем коснуться ваалов своими одеждами, которые они потом сохраняли, как святыню.

Медный идол продолжал шествовать к Камонской площади. Богатые, неся скипетры с изумрудными набалдашниками, двинулись из глубины Мегары; старейшины, с венками на головах, собрались в Кениздо, а управители финансов, губернаторы провинций, торговцы, воины, матросы и многочисленная толпа дохоронных служителей, все со знаками своих должностей или эмблемами своих ремесел, направлялись к священным шатрам, которые спускались с акрополя, окруженные коллегиями жрецов.

В честь Молоха они надели самые пышные свои драгоценности. Цветные камни сверкали на их черных одеждах; но слишком широкие кольца падали с их похудевших рук, и нельзя было представить себе ничего более зловещего, чем эта безмолвная толпа, у которой серьги ударялись о бледные щеки, а золотые тиары сжимали лбы, нахмурившиеся от глубокого отчаяния.

Наконец, Ваал прибыл на средину площади. Его жрецы сделали ограду из решеток, чтобы отстранить толпу, и расположились вокруг него.

Жрецы Камона в одеждах из рыжеватой шерсти выстроились перед своим храмом, под колоннами портика; жрецы Эшмуна в льняных одеждах, с ожерельями из голов кукуфы и в остроконечных тиарах, расположились на ступенях акрополя; жрецы Мелькарта в фиолетовых туниках, заняли западную сторону; жрецы аббадиров, затянутые в полосы фригийских тканей, расположились на востоке; а с южной стороны поместили, вместе с кудесниками, покрытыми татуировкой, ревунов в заплатанных одеждах, служителей патэков и иидонов, которые предсказывали будущее, взяв в рот кость мертвеца. Жрецы Цереры в голубых одеждах остановились из предосторожности на улице Сатэб и тихим голосом напевали фесмофорий на мегарийском наречии.

От времени до времени шли ряды совершенно голых людей, широко расставивших руки и державших за плечи друг друга. Они извлекали из глубины груди глухие, хриплые звуки; их глаза, устремленные на колосса, сверкали в пыли, и они раскачивались равномерно все вместе, точно подчиняясь все сразу общему толчку. Они были в таком неистовстве, что для восстановления порядка служители храмов заставили их палками лечь наземь, на животы, лицом против медных решеток.

В это время из глубины площади выступал вперед человек в белой одежде. Он медленно прошел через толпу, и в нем узнали жреца Таниты—верховного жреца Шагабарима. Поднялся крик, ибо в этот день все были под властью мужского божества и богиню настолько забыли, что даже не заметили отсутствия ее жрецов. Но все были еще более поражены, когда увидели, что Шагабарим открыл решетчатую дверь, одну из тех, в которые входили для приношения жертв. Жрецам Молоха это показалось оскорблением, нанесенным их богу; они попытались сильными движениями оттолкнуть его. Упитанные мясом жертв, облеченные в пурпур, как владыки, и нося трехэтажные венцы, они презирали бледного евнуха, истощенного умерщвлением плоти, и гневный смех

сотрясал на их груди черные бороды, распускавшиеся на солнце.

Шагабарим, не отвечая им, продолжал свой путь; пройдя медленными шагами через всю ограду, он очутился между ногами колосса, потом коснулся его с двух сторон, простирая руки, что составляло торжественный ритуал богопочитания. Слишком долго мучила его Раббетна; из отчаяния или, быть может, не находя божества, вполне соответствовавшего его пониманию, он решился избрать своим богом Молоха.

В толпе, охваченной ужасом при виде такого вероотступничества, прошел ропот. Порвалась последняя нить, связывавшая души с милосердным божеством.

Но Шагабарим не мог, как евнух, участвовать в культе Ваала. Жрецы в красных мантиях изгнали его из ограды; когда он очутился за нею, он поочередно обошел все коллегии; затем жрец, оставшийся отныне без бога, исчез в толпе. Она расступилась перед ним.

Тем временем между ногами колосса зажгли костер из алоэ, кедра и лавров. Длинные крылья колосса касались своими концами пламени; мази, которыми его натерли, текли, точно капли пота, по его медному телу. Вокруг круглой плиты, на которую он упирался ногами, стоял недвижный круг детей, закутанных в черные покрывала; несоразмерно длинные руки его спускались ладонями к ним, точно собираясь схватить этот венец и унести его на небо.

Богатые, старейшины, женщины, вся толпа сплотилась за жрецами и на террасах домов. Большие раскрашенные звезды перестали кружиться; шатры стояли на земле; дым кадильниц поднимался прямо в небо, точно гигантские деревья, расстилающие среди синевы свои голубоватые ветви.

Несколько человек лишились чувств; другие точно окаменели в экстазе. Беспредельная тревога тяжело ложилась на грудь. Последние возгласы затихли один за другим, и Карфаген тяжело дышал, охваченный жаждой ужаса.

Наконец, верховный жрец Молоха провел левой рукой по лицам детей под покрывалами, вырывая пряди

волос на лбу и бросая их в огонь. Жрецы в красных плащах стали петь священный гимн:

— Слава тебе, Солнце! Царь двух поясов земли, творец, сам себя породивший, Отец и Мать, Отец и Сын; Бог и Богиня, Богиня и Бог!

Голос их потерялся среди гула множества инструментов, зазвучавших сразу, чтобы заглушить крики жертв. Восьмиструнные шемениты, киноры о десяти, небалы о двенадцати струнах скрипели, шипели, гремели. Огромные меха, утыканные трубами, производили острое щелканье; непрерывно ударяемые тамбурины издавали быстрые глухие удары; и среди грома труб, салсалимы трещали, как крылья саранчи.

Служители храмов открыли длинным крючком семь отделений, расположенных одно над другим по всему телу Ваала. В самое верхнее положили муку; во второе—двух голубей; в третье—обезьяну; в четвертое—барана; в пятое—овцу. А так как для шестого не оказалось быка, то туда положили дубленую шкуру, взятую на алтаре. Седьмое отделение оставалось открытым.

Прежде, чем что-нибудь предпринять, нужно было испробовать, как действуют руки идола. Тонкие цепочки, начинавшиеся у пальцев, шли к плечам и спускались сзади; когда их тянули книзу, две раскрытые руки Молоха поднимались до высоты локтей и, сближаясь, прижимались к животу; их несколько раз привели в движение короткими прерывистыми толчками. Наконец, гул инструментов смолк. Пламя бушевало.

Жрецы Молоха прогуливались по широкой плите, рассматривая толпу.

Нужна была жертва отдельного человека, совершенно добровольная, так как считалось, что она увлечет за собой других. Но никто пока не являлся. Семь проходов, которые вели от барьеров к колоссу, были совершенно безлюдны. Тогда, чтобы заразить толпу примером, жрецы вынули из-за поясов острые шила и стали наносить себе раны на лице. В ограду впустили обреченных, которые лежали распростершись на земле за оградой. Им бросили связку страшных железных ору-

дий, и каждый из них избрал себе сам какую-нибудь пытку. Они вонзали себе вертела в грудь, рассекали себе щеки, надевали на головы терновые венцы; потом они схватились за руки и, окружая детей, образовали второй большой круг, который то сжимался, то расширялся. Они подступали к перилам, затем отступали назад и проделывали это вновь и вновь, маня к себе толпу головокружительными движениями среди крови и криков.

Мало-по-малу люди стали приближаться к проходам; они бросали в огонь жемчуга, золотые сосуды, чаши, факелы, все свои богатства; дары становились все более щедрыми и многочисленными. Наконец, шатающийся человек, с бледным, безобразно искаженным от ужаса лицом, толкнул вперед ребенка; в руках колосса очутилась маленькая черная ноша; она исчезла в темном отверстии. Жрецы наклонились над краем большой плиты, и вновь раздалось пение, славящее радость смерти и воскресение в вечности.

Жертвы медленно поднимались одна за другой, и так как дым восходил высокими клубами, то казалось, будто они исчезали в облаке. Ни один не шевелился; все дети были связаны по рукам и по ногам, и темные покрывала мешали им видеть и быть узнанными.

Гамилькар, в красном плаще, как все жрецы Молоха, стоял около Ваала, у большого пальца его правой ноги. Когда привели четырнадцатого ребенка, все увидели, что Гамилькар сделал движение, полное ужаса. Но вскоре, приняв прежнюю позу, он скрестил руки и опустил глаза. С другой стороны статуи верховный жрец стоял так же неподвижно, как он. Опустив голову, отягченную ассирийской митрой, он смотрел на сверкавшую у него на груди золотую бляху; она была покрыта священными камнями, и на ней горели радугой отблески пламени. Он бледнел от ужаса. Гамилькар опустил голову, и они оба были так близки от костра, что края их плащей, приподнимаясь, почти касались пламени.

Медные руки двигались все быстрее и быстрее безостановочным движением. Каждый раз, когда на них клали ребенка, жрецы Молоха простирали на жертву

руки, чтобы отяготить ее преступлениями народа, и громко кричали:

— Это не люди, это быки!

Толпа кругом ревела:

— Быки! Быки!

Особенно преданные божеству кричали:

— Ешь, властитель!—А жрецы Прозерпины, подчиняясь от ужаса требованиям Карфагена, бормотали элевзинскую формулу:

— Пролей дождь! роди!

Жертвы, едва коснувшись края отверстия, исчезали, как капля воды на раскаленном металле, и белый дым поднимался среди багрового пламени.

Но голод божества все не утолялся; он требовал еще и еще. Чтобы дать ему больше, ему нагружали руки, придерживая жертвы толстой цепью, обхватывавшей их. Верные служители Ваала хотели вначале считать число жертв, чтобы узнать, соответствует ли оно числу дней солнечного года; но так как жертв все прибавлялось, то их уже нельзя было сосчитать среди головокружительного движения страшных рук. Так это длилось долго, до самого вечера. Потом внутренние стенки отверстий сделались более темными в своем блеске. Можно было видеть горевшие тела. Некоторые как будто узнавали волосы, члены, даже все тело жертв.

Спускался вечер; облака сгустились над головой Ваала. Костер, переставший пылать, представлял теперь пирамиду углей, доходивших до колен идола; весь красный, как великан, залитый кровью, с откинутой назад головой, он точно шатался под тяжестью своего опьянения.

По мере того, как торопились жрецы, неистовство толпы возрастало; число жертв уменьшалось: одни кричали, чтобы их пощадили, другие требовали еще. Стены, покрытые людьми, точно рушились от криков ужаса и мистического сладострастия. Потом верующие стали сами приближаться к идолу, таща цеплявшихся за них детей; они их били, чтобы отстранить их и передать красным людям. Музыканты останавливались по временам от изнеможения, и тогда слышны были крики матерей и ши-

пение жира, падавшего на угли. Те, которые напились белены, ползали на четвереньках, кружились вокруг колосса и рычали, как тигры; иидониты пророчествовали, обреченные пели своими рассеченными губами; ограду снесли, ибо все хотели принять участие в жертвоприношении; отцы, дети которых давно умерли, бросали в огонь их изображения, их игрушки, их сохранившиеся останки. Некоторые бросались с ножами на соседей, и началась резня. При помощи бронзовых веялок, служители храма собрали с края плиты упавший на нее пепел и развеяли этот пепел в воздухе для того, чтобы жертвоприношение разнеслось над всем городом, достигая звезд.

Шум и яркий свет привлек варваров к подножью стен; хватаясь, чтобы лучше видеть, за обломки стенобитной башни, они глядели, цепенея от ужаса.

УЩЕЛЬЕ ТОПОРА.

Карфагеняне еще не успели разойтись по домам, как уже сгустились тучи; те, которые поднимали голову, глядя на колосса, ощутили на лбу крупные капли. Пошел дождь.

Дождь лил всю ночь обильными потоками. Гремел гром; то был голос Молоха. Он победил Таниту, и теперь, оплодотворенная, она раскрывала с высоты небес свое широкое лоно. Иногда карфагеняне видели ее в проблеске света распростертую на подушках облаков; потом мрак смыкался, точно богиня, еще не отдохнувшая, хотела снова заснуть. Карфагеняне, считая, что всякая влага рождается луной—кричали, чтобы помочь ей в родах.

Дождь падал на террасы, заливая их, образуя озера во дворах, каскады на лестницах, водовороты на углах улиц. Вода лилась тяжелыми, теплыми массами, обильными потоками; на углах всех зданий пенились высокие струи; к стенам набегали как бы еле прикрепленные белые пелены воды, а омытые дождем крыши храмов сверкали черным блеском при свете молний. Потоки сбегали с акрополя тысячами дорог; рушились дома, балки, штукатурка; мебель смывали ручьи, которые бурно текли по плитам.

Чтобы собрать дождевую воду, выставляли амфоры, кувшины, расстилали полотна. Дождь гасил факелы; тогда стали брать головни из костра Ваала, и, чтобы лучше напиться, карфагеняне запрокидывали голову и широко раскрывали рот. Другие, наклонившись над краем грязных луж, опускали в них руки до плеч и пили столько, что их рвало водой, как буйволов. Постепенно распространилась свежесть; люди вдыхали влажный воздух, разминая члены, и среди радости этого опьянения про-

никались беспредельными надеждами. Все бедствия были забыты. Родина воскресла.

Они как бы испытывали потребность обратить на других излишек бешенства, который не могли направить против самих себя. Подобное жертвоприношение не могло остаться бесплодным; и хотя они не испытывали никакого раскаяния, все же их охватило безумие, порождаемое соучастием в непоправимых преступлениях.

У варваров гроза обрушилась на плохо закрывавшиеся палатки; дрожащие и не успев обсушиться еще и на следующий день, они вязли в грязи, отыскивая провиант и оружие, попорченное, потерянное.

Гамилькар отправился сам к Ганнону и, в силу своих полномочий, передал ему начальство. Старый суффет колебался несколько минут между своей злобой к Гамилькару и жаждой власти и, наконец, все же принял начальство.

Затем Гамилькар снарядил галеру, вооруженную катапультом с каждого конца. Он поместил ее в заливе против плота; затем он посадил на кораблях, которыми располагал, лучшую часть войск. Он, очевидно, пустился в бегство и, быстро повернув на север, исчез в тумане.

Но три дня спустя (когда стали готовиться к новому приступу), прибежали в беспорядке люди с ливийского берега. Барка высадился у них, стал собирать отовсюду припасы и завладевал страной.

Варвары были возмущены, точно это было предательством с его стороны. Те, которые более всего тяготились осадой, в особенности галлы, без всякого колебания покинули стены, чтобы попытаться примкнуть к нему. Спендию хотелось отстроить заново стенобитную башню; Мато составил план пути, ведущего от его палатки до Мегары, и поклялся пройти этот путь; никто из людей не двинулся с места. Но другие, бывшие под начальством Автарита, ушли, покинув западную часть окопа. Общее бездействие было так велико, что даже не подумали о замене ушедших другими.

Нар-Гавас следил за ними издалека в горах. Однажды ночью он перевел все свое войско на внешнюю сторону лагуны берегом моря и вступил в Карфаген.

Он явился туда спасителем, с шестью тысячами людей, которые все принесли муки под плащами, и с сорока слонами, нагруженными фуражем и сушеным мясом. Слонов быстро окружили, стали давать им разные имена. Карфагенян радовало не столько прибытие такой помощи, как самый вид этих сильных животных, посвященных Ваалу; они были залогом его благоволения, знаком, что он, наконец, вступит в войну и защитит их.

Нар-Гавас выслушал выражение признательности со стороны старейшин, затем поднялся к дворцу Саламбо.

Он ни разу еще не видел ее с тех пор, как в палатке Гамилькара, среди пяти войск, почувствовал прикосновение ее маленькой, холодной и нежной руки, соединенной с его рукой; после обручения она уехала в Карфаген. Любовь, от которой его отвлекали заботы честолюбия, вновь овладела им; теперь он надеялся осуществить свои права, жениться на Саламбо, овладеть ею.

Саламбо не понимала, каким образом этот юноша мог когда-нибудь стать ее господином. Хотя она молила ежедневно Таниту о смерти Мато, ее ужас перед ливийцем, однако, уменьшался. Она смутно чувствовала, что ненависть, которою он преследовал ее, была почти священна,—ей хотелось бы увидеть в Нар-Гавасе хоть отблеск того неистовства, которое до сих пор ослепляло ее в мыслях о Мато. Ей хотелось теперь узнать ближе Нар-Гаваса, но присутствие его стесняло бы ее. Она послала сказать в ответ, что не может его принять.

К тому же Гамилькар запретил своим людям допускать нумидийского короля к Саламбо; отдаляя до конца войны эту награду, он надеялся усилить этим преданность Нар-Гаваса. Из страха перед суффетом, Нар-Гавас удалился, не повидав Саламбо.

Но по отношению к Совету Ста он выказал большое высокомерие. Он отменил их распоряжения, потребовал особых преимуществ для своих людей и разместил их по наиболее значительным постам; варвары были сильно поражены, увидав нумидийцев на башнях.

Но еще сильнее было удивление карфагенян, когда прибыли на старой пунической триреме четыреста карфагенян, захваченных в плен во время сицилийской вой-

ны. Гамилькар, действительно, отослал тайком квиритам экипажи латинских кораблей, взятых до сдачи тирских городов; Рим ответил на это возвращением карфагенских пленных. Рим отверг предложения наемников Сардинии и даже отказался признать своими подданными жителей Утики.

Гиэрон, который правил в Сиракузах, был увлечен этим примером. Чтобы сохранить свои владения, он должен был соблюдать равновесие между двумя народами; он был поэтому заинтересован в спасении ханапеян и об'явил себя их другом, послав им тысячу двести быков и пятьдесят три тысячи небелей чистой пшеницы.

Еще более глубокие соображения заставляли всех помогать Карфагену. Было очевидно, что если восторжествуют наемники, то все, от воинов до слуг, моющих посуду, взбунтуются, и никакая государственная власть и ни один дом не смогут устоять.

Гамилькар тем временем наступал на восточные области. Он отбросил назад галлов, и все варвары оказались как бы осажденными.

Тогда он стал их дразнить. То приближаясь, то удаляясь и неустанно продолжая этот маневр, он постепенно отдалил их от их лагерей. Спендию пришлось следовать за ними. Мато тоже, в конце концов, должен был уступить.

Он не уходил, однако, дальше Туниса и заперся в его стенах. Это упорство было очень мудро, ибо вскоре показался Нар-Гавас, вышедший из ворот Камона со своими слонами и воинами; Гамилькар призывал его к себе. Но уже другие варвары бродили по провинциям, преследуя суффета.

Он принял в Клипее три тысячи перешедших к нему галлов, затем велел привести лошадей из Киренаики, добыл оружие из Бруция и возобновил войну.

Никогда еще гений его не был таким изобретательным и отважным. В течение пяти лунных месяцев он увлекал варваров за собой, определенно зная, куда хотел их привести.

Варвары пытались сначала окружить его маленькими отрядами, но он все время ускользал от них. Они теперь

почти не расставались. Их войско было приблизительно в сорок тысяч человек, и несколько раз, к своей радости, они добивались того, что карфагеняне отступали.

Больше всего их беспокоила конница Нар-Гаваса. Часто в самые тяжелые часы, когда они шли по равнине и слегка дремали под тяжестью вооружения, на горизонте вдруг показывалась широкая полоса пыли; то мчались галопом всадники, и из облака, в котором сверкали пламенные взоры, сыпался град стрел. Нумидийцы в белых плащах, испускали громкие крики и поднимали руки, сжимая между колен своих жеребцов, вздымавшихся на дыбы, затем быстро поворачивались и исчезали. У них всегда были на некотором расстоянии навьюченные на дромадеров запасы дротиков, и они вновь возвращались еще более грозные, ревели, как волки, потом точно улетали, как ястребы. Варвары, стоявшие впереди рядов, падали один за другим—и так продолжалось до вечера, когда войска стали пытаться войти в горы.

Хотя горы и были опасны для слонов, Гамилькар вступил в них. Он следовал вдоль длинной цепи, которая тянется от Гермейского мыса до вершины Загуана. Они думали, что этим он хотел скрыть недостаточность своего войска. Но постоянная неуверенность, в которой он их держал, измучила их больше всякого поражения. Они, однако, не падали духом и шли за ним.

Наконец, однажды вечером между Серебряной Горой и Свинцовой Горой, среди больших утесов, при входе в ущелье, варвары настигли отряд велитов; все войско находилось, очевидно, впереди, ибо слышен был топот шагов и звук труб; карфагеняне быстро побежали через ущелье. Оно выходило на равнину, имевшую форму топора и окруженную высокими утесами. Чтобы настигнуть велитов, варвары бросились туда; в глубине, вместе с мчавшимися быками, бежали беспорядочной толпой карфагеняне. Среди них виден был человек в красном плаще; то был, очевидно, суффет, и они кричали об этом друг другу; их охватило неистовство и радость. Некоторые из лени или из осторожности остались у порога ущелья. Но конница, вылетевшая из леса, отогнала их к

остальному войску пиками и саблями; вскоре все варвары очутились внизу в равнине.

Затем вся эта громада людей, несколько времени двигавшаяся во все стороны, остановилась; они не видели перед собой выхода.

Те, которые были ближе к ущелью, вернулись назад; но выход совершенно исчез. Стали окликать шедших впереди, чтобы они продолжили путь; они прижаты были к горе и издали осыпали бранью товарищей за то, что те не могли найти обратной дороги.

Действительно, едва только варвары спустились, как люди, притаившиеся за глыбами скал, стали поднимать их балками и опрокидывать; и так как спуск был очень крутой, то огромные глыбы, быстро скатываясь вниз, совершенно закрыли узкое отверстие.

С другого конца равнины тянулся длинный проход, местами пересеченный трещинами; он вел к лощине, поднимавшейся к плоскогорию, на котором расположилось карфагенское войско. В этом проходе расположили заранее вдоль стены утесов лестницы; защищенные извилинами трещин, велиты смогли схватить их и подняться вверх, прежде чем их настигли. Некоторые даже спустились на самое дно рытвин; их оттуда вытащили канатами, ибо почва в этом месте состояла из движущегося песка, и наклон был так велик, что невозможно было подняться даже ползая на коленях.

Варвары тотчас же настигли их, но перед ними вдруг очутилась похожая на борону падающая решетка высотой в сорок локтей, точно соответствовавшая ширине прохода; казалось, точно с неба опустилась насыпь.

План суффета, таким образом, удался. Никто из наемников не знал гор, и, шествуя во главе колонн, они увлекали за собой остальных. Скалы, суженные в основании, легко обрушились, и в то же время, как все бежали, войско Гамилькара на горизонте кричало, точно охваченное отчаянием. Гамилькар, правда, мог потерять своих велитов, и, действительно, только половина их уцелела. Но он пожертвовал бы и в двадцать раз большим количеством людей для удачи подобного предприятия.

До самого утра варвары метались сплоченными рядами с конца в конец равнины. Они ощупывали гору руками, ища выхода.

Наконец, занялся день; они увидели вокруг себя большую, белую, крутую стену. Нигде не было спасения, было даже надежды на спасение. Оба выхода из ущелья были замкнуты, один—решеткой, другой—грудой скал.

Они безмолвно смотрели друг на друга и опустились, чувствуя ледяной холод в спине и страшную тяжесть век.

Затем они вскочили и бросились к скалам. Но даже самые низкие, сдавленные тяжестью навалившихся на них других, были неприступны. Они пытались зацепиться за стены, чтобы подняться на вершину: выпуклая форма глыб разрушала всякое усилие. Они пытались разбить глыбы с двух сторон ущелья; их инструменты сломались. Они разложили большой огонь, сжигая шесты палаток; огонь не мог сжечь гору.

Они опять кинулись к решетке; она была утыкана длинными гвоздями, толстыми, как колья, острыми, как щетина дикообразов и густо насаженными, как волосы, щетки. Но их охватило такое бешенство, что они все же попытались проникнуть вперед. Первые нарезались на острия, вонзившиеся в их тело до спины; следующие бросились на них; потом все упали назад, оставляя на этих страшных ветвях куски тела и окровавленные волосы.

Когда отчаяние их улеглось, они стали соображать, сколько у них осталось съестных припасов. У наемников, поклажа которых пропала, припасов было не более, чем на два дня; у других совсем ничего не было, ибо они ждали обоза, обещанного деревнями с юга.

Они увидели бродивших быков, которых карфагеняне выпустили в ущелье, чтобы привлечь варваров. Быков закололи копьями, съели, и, когда желудки наполнились, мысли сделались менее мрачными.

На следующий день они зарезали всех мулов, около сорока, соскребли их кожи, вскипятили внутренности, расколкли кости и все еще не приходили в отчаяние, надеясь на прибытие туниссской армии, наверное, извещенной о том, что случилось с ними.

Но на вечер пятого дня голод усилился; они стали грызть перевязи мечей и маленькие губки, окаймлявшие их шлемы извнутри.

Эти сорок тысяч человек теснились как бы в гипподроме, составленном вокруг них горой. Одни оставались у решетки или у подножья скал; другие раскинулись по равнине; более сильные избегали встречи друг с другом, а путливые обращались за поддержкой к храбрым, хотя те и не могли их спасти.

Во избежание заразы, трупы велитов тотчас же похоронили, и теперь сгладились все следы вырытых ям.

Варвары лежали обессиленные на земле. Между их рядами проходил иногда кто-нибудь из ветеранов; они тогда с ревом посылали проклятия карфагенянам, Гамилькару и даже Мато; хотя последний был совершенно неповинен в их несчастии, им все же казалось, что горе их было бы не так велико, если бы кто-нибудь делил его с ними. Потом они подняли стенания, а некоторые тихо плакали, как малые дети.

Они отправлялись к своим начальникам и молили их облегчить чем-нибудь их страдания. Те ничего не отвечали или же с бешенством хватали камни и бросали им в лицо.

Некоторые из них тщательно хранили в отверстии в земле запас пищи, несколько пригоршней фиников, немного муки и ели это ночью, прикрывая лицо плащем. Те, у которых были копья, держали их обнаженными в руках. Наиболее недоверчивые все время стояли, прислонившись к горе.

Они обвиняли своих начальников и угрожали им. Автарит все же бесстрашно держался у них на виду. С несокрушимым упрямством варвара он по двадцати раз в день направлялся в глубину к скалам, каждый раз надеясь, что может быть тем временем глыбы распались. Раскачивая свои тяжелые плечи, покрытые мехами, он напоминал своим спутникам медведя, который выходит весной из берлоги, чтобы посмотреть, растаяли ли снега.

Спендий, окруженный греками, прятался в одной из

расщелин; охваченный страхом, он распустил слух о своей смерти.

Все они теперь страшно отощали, и кожа на них покрылась синеватыми пятнами. Вечером девятого дня умерло трое иберийцев.

Их испуганные спутники убежали. С них сняли все одежды, и обнаженные белые тела остались лежать на песке под лучами солнца.

Тогда стали медленно бродить вокруг них гараманты. То были люди, привыкшие к жизни пустынь и не почитавшие никакого бога. Наконец, старший из них сделал знак; наклонясь к трупам, они стали вырезывать ножами полосы мяса и, прикурнув, стали есть его. Другие глядели на них издали, испуская крики ужаса; но многие, однако, в глубине души завидовали их мужеству.

Среди ночи несколько человек приблизились к гарамантам и, затаив свое желание, попросили только дать им попробовать маленький кусочек. Более смелые последовали за ними, число их увеличивалось, и вскоре собралась целая толпа. Но почти все, почувствовав на губах вкус этого холодного мяса, опустили руки; некоторые же, напротив того, ели с наслаждением.

Для того, чтобы увлечь себя примером других, они все стали уговаривать друг друга. Те, которые отказывались вначале, теперь шли к гарамантам и не возвращались оттуда. Они жарили куски мяса на кончике копья на углях, солили их пылью и дрались из-за лучших кусков. Когда три трупа были с'едены, все взоры устремились в даль равнины, ища глазами новую добычу.

Но тут они вспомнили о карфагенянах, двадцати пленниках, взятых при последнем столкновении и которых до сих пор никто не видел. Они исчезли; это было к тому же местью. Потом, так как нужно было жить, и вкус к этой пище уже привился, и так как иначе они умерли бы с голоду, то стали закалывать носильщиков воды, конюхов, всех слуг наемников. Каждый день убивали людей. Некоторые ели очень много, окрепли и повеселели.

Но вскоре некого было употреблять в пищу. Тогда желания обратились на раненых и больных. Так как все

равно их нельзя было вылечить, то не лучше ли было избавить их от мучений. Поэтому, как только человек шатался, все кричали, что он погиб и должен служить спасением для других. Прибегали к разным хитростям, чтобы ускорить их смерть; у них крали последние остатки страшной порции, доставшейся им; на них точно нечаянно ступали ногой. Умирающие, притворяясь сильными, пытались протягивать руки, подниматься, смеяться. Лишившиеся чувств просыпались от прикосновения зазубренного лезвия, которым отпиливали у них члены тела. Стали убивать просто из жестокости, без надобности, для удовлетворения ярости.

Тяжелый теплый туман, обычный в тех местах в конце зимы, опустился на войско на четырнадцатый день. Перемена температуры вызвала многочисленные смерти, и разложение совершалось с ужасающей быстротой в знойной влажности, задерживаемой стенами горы. Моросивший на трупы дождь, размягчая их, превратил вскоре всю равнину в большую гнойную яму. Белые испарения поднимались над ними, попадали в ноздри, проникали в поры, застилали глаза; варварам казалось, что они видят исходившие из их спутников души в испускаемом ими дыхании. Их охватило отвращение. Им не хотелось прежней пищи, хотелось лучше умереть.

Два дня спустя погода прояснилась, и их снова охватил голод. Порою им казалось, что у них клещами вырывают внутренности. Тогда они катались в судорогах, запихивали себе в рот землю, кусали себе руки и разражались неистовым хохотом.

Жажда мучила их еще больше, ибо у них не оставалось ни капли воды; меха совершенно высохли уже с девятого дня. Чтобы обмануть жажду, они прикладывали язык к металлическим чешуям поясов, к набалдашникам из слоновой кости, к железным лезвиям мечей. Прежние проводники караванов по пустыням стягивали себе животы веревкой. Другие сосали камень или пили мочу, охлажденную в медных шлемах.

А войско из Туниса все не приходило! По их соображениям, это тем более доказывало, что оно скоро придет. К тому же Мато, на доблесть которого можно

было положиться, не оставит их. «Завтра придут!»— говорили они, и так проходил завтрашний день.

Вначале они молились, давали обеты, делали всякого рода заклинания; теперь же они чувствовали к своим богам только ненависть и из мести старались не верить.

Люди буйного нрава погибали первыми; африканцы выдерживали голод лучше, чем галлы. Заркс лежал среди балеаров, весь вытянувшись, недвижный, перекинув волосы через руку. Спендий нашел растение с широкими листьями, наполненное обильным соком; он заявил, что растение ядовитое, для того, чтобы отстранить от него других, а сам питался его соком.

Они настолько обессилили, что не могли попадать камнями в летающих воронов. Временами, когда ягнятник, сев на труп, в течение долгого времени потрошил его, кто-нибудь из варваров ползком подкрадывался к нему, держа в зубах дротик. Упершись одной рукой и точно прицелившись, он бросал дротик. Птица с белыми перьями, обеспокоенная шумом, прерывала свое дело, потом спокойно оглядывалась, как морской ворон, стоящий на камне среди волн, и вновь погружала в труп свой отвратительный желтый клюв; придя в отчаяние, человек падал ниц в пыль. Некоторым удавалось находить хамелеонов, змей. Но действительным источником их жизни была любовь к жизни. Они всецело сосредоточивались на этом чувстве и жили, привязанные к существованию напряжением воли, длившим это существование.

Наиболее выносливые держались вместе, сидели, расположившись кругом среди равнины, между мертвыми; закутанные в свои плащи, они безмолвно отдавались своей печали.

Те, которые родились в городах, вспоминали шумные улицы, таверны, театры, бани и цирюльни, в которых можно услышать столько интересного. Другие вспоминали деревню при заходе солнца, когда волнуются желтые хлеба и большие волы поднимаются по холмам с навешенными на шеи сошниками. Путешественники мечтали о цистернах, охотники—о своих лесах, ветераны—о битвах; в охватывавшей их дремоте мысли

их сталкивались с порывистостью и отчетливостью сновидений. У них вдруг рождались галлюцинации; они искали в горе дверь, через которую можно было спастись, и собирались выйти в нее; другим казалось, что они плавают по морю в бурю и командуют судном; или же они отшатывались в ужасе, так как им представлялись в облаках карфагенские войска. Иным казалось, что они на пиру, и они пели.

Многие, охваченные странным бредом, повторяли одно и то же слово или одно и то же движение. Потом, когда они поднимали голову и глядели друг на друга, они рыдали при виде следов страшного разрушения на их лицах. Некоторые уже перестали страдать и для препровождения времени рассказывали друг другу про опасности, которые им удалось избежать.

Смерть была теперь неизбежна и должна была скоро наступить. Сколько раз уже они тщетно пытались пробить себе выход! А как было вступить в переговоры с победителем, когда они даже не знали, где теперь находился Гамилькар.

Ветер дул со стороны лощины и гнал песок каскадом через решетку; плащи и волосы варваров покрывались пылью, точно земля, поднимаясь на них, хоронила их под собой. Ничто не двигалось. Вечная гора казалась им каждое утро все более высокой.

Иногда в голубизне неба пролетали, взмахивая крыльями, стаи птиц по свободной стихии воздуха. Они закрывали глаза, чтобы не видеть их.

Сначала слышался звон в ушах, ногти у заболевших чернели, холод подступал к груди; они ложились на бок и умирали без единого крика.

На девятнадцатый день умерло две тысячи азиатов, полторы тысячи людей из Архипелага, восемь тысяч из Ливии, самые молодые из наемников, а также целые племена—в общем двадцать тысяч солдат, половина войска.

Автарит, у которого осталось только пятьдесят галлов, хотел дать себя убить, чтобы положить всему конец, когда на вершине горы, прямо против него, показался человек.

Стоя так высоко, человек казался карликом. Автарит

однако, увидел на его левой руке щит в форме треугольника. Он воскликнул:

— Карфагенянин!

И в долине, перед решеткой и под скалами все тотчас же поднялись. Карфагенский воин прошелся вдоль края пропасти, и варвары глядели на него снизу.

Спендий поднял с земли бычачью голову, потом, сделав себе венец из двух поясов, он надел его на рога и насадил голову на шест в знак мирных намерений. Карфагенянин исчез. Они стали ждать.

Наконец, вечером от скалы оторвался камень и вместе с ним упала сверху перевязь из красной кожи, покрытая шитьем и тремя алмазными звездами; посредине ее был знак Великого Совета: лошадь под пальмовым деревом. То был ответ Гамилькара, пропуск, который он послал для начала переговоров о мире.

Теперь нечего было бояться; всякая перемена должна была принести конец их страданиям. Ими овладела беспредельная радость; они стали обнимать друг друга и рыдать. Спендий, Автарит и Зарксас, а также четыре италиота, негр и два спартанца предложили свои услуги в качестве парламентеров. Их услуги были приняты. Но они не знали, каким образом пройти к карфагенянам.

В это время со стороны утесов раздался треск: самая верхняя глыба перевернулась и соскочила книзу. Действительно, скалы были несокрушимы только со стороны варваров, так как их нужно было поднять в косом направлении, чтобы пробить выход; кроме того, глыбы были сплочены, благодаря узости ущелья. С другой же стороны стоило их только толкнуть сильнее, чтобы они скатились. Карфагеняне их столкнули, и при восходе солнца глыбы скал стали спускаться в долину, как ступеньки огромной разрушенной лестницы.

Варвары, однако, не могли подняться по ним. Им спустили лестницы, и все бросились вперед. Их откинул град снарядов, выброшенных катапультом; только десять человек были взяты наверх.

Они шли, окруженные клинабарами и опираясь рукой на крупы лошадей, чтобы не упасть.

Теперь, когда прошла первая минута радости, они

стали ощущать тревогу, уверенные, что Гамилькар пред'явит им очень жестокие требования. Но Спендий успокаивал их:

— Я беру на себя вести переговоры!—говорил он, похваляясь, что знает, как нужно говорить для спасения войска.

За всеми кустами они встречали часовых в засаде, которые простирались ниц перед перевязью, надетой Спендием на плечо.

Когда они прибыли в карфагенский лагерь, толпа окружила их, и им послышались перешептывания и смех. Открылась дверь одной из палаток.

Гамилькар сидел в глубине, на табуретке, у низкого стола, на котором сверкал обнаженный меч. Военачальники окружали его, стоя.

Увидав вошедших, он откинулся назад, потом наклонился, чтобы рассмотреть их.

У них были расширенные зрачки и черные круги вокруг глаз, продолжавшиеся до низа ушей; посиневшие носы торчали между впавшими щеками, прорезанными глубокими морщинами; кожа, слишком широкая для мускулов, исчезала под слоем пыли аспидного цвета; губы их прилипали к желтым зубам; от них исходило ужасное зловоние, точно из полуоткрытых могил, точно от оживших мертвецов. Посредине палатки, на циновке, на которую собирались сесть начальники, дымилось блюдо с вареной тыквой. Варвары впились в него глазами, дрожа всеми членами, и на глазах их показались слезы. Но они все-таки старались сдержать себя.

Гамилькар отвернулся и заговорил с кем-то. Тогда они все бросились есть, лежа на животах. Лица их мокли в жиру, и шумное чавканье примешивалось к их радостным рыданиям. Им дали докончить еду, вероятно, скорее от изумления, чем из жалости. Затем, когда они поднялись, Гамилькар знаком приказал говорить человеку, носившему перевязь. Спендий так испугался, что только шептал несвязные слова.

Гамилькар, слушая его, крутил вокруг пальца большой золотой перстень, тот, которым он запечатлел на перевязи печать Карфагена. Он уронил перстень наземь;

Спендий тотчас же поднял его; в присутствии своего господина он снова почувствовал себя рабом. Другие задрожали, возмущенные его низкопоклонством.

Но грек тем временем, возвысив голос, рассказывал о преступлениях Ганнона, зная, что он враг Гамилькара, и стараясь разжалобить последнего подробностями об их несчастиях и напоминаниями об их преданности. Он говорил долго, быстро, очень коварно и резко; в конце он совершенно забылся, увлеченный своим пылом.

Гамилькар ответил, что принимает их извинения и что теперь будет заключен окончательный мир. Но он требовал, чтобы ему выдали десять наемников по его выбору, без оружия и без туник.

Они не ждали таких милостивых требований, и Спендий воскликнул:

— Мы дадим тебе двадцать, если хочешь, господин!

— Нет, мне довольно десяти,—коротко ответил Гамилькар.

Их вывели из палатки для того, чтобы они могли обсудить на свободе пред'явленное им требование. Как только они очутились наедине, Автарит стал заступаться за товарищей, которыми нужно было пожертвовать, а Зарксас сказал Спендию:

— Почему ты не убил его? Ведь, его меч был подле тебя?

— Его убить!—сказал Спендий и несколько раз повторил: «его! его»! точно это было нечто невозможное и точно Гамилькар был бессмертен.

Они были так измучены, что растянулись на земле, легли на спину и лежали, не зная на что решиться.

Спендий убеждал их уступить требованию Гамилькара. Они, наконец, согласились и вернулись в палатку.

Тогда суффет поочередно вложил свою руку в руки десяти варваров, сжимая их большие пальцы; после того он стал тереть свою руку об одежду, ибо их липкая кожа производила впечатление чего-то жесткого, в то же время мягкого и отвратительно жирного. Наконец, он сказал им:

— Так, значит, вы все начальники варваров и дали клятву за всех?

— Да!—ответили они.

— Вы клялись добровольно, из глубины души, с намерением исполнить ваше обещание?

Они подтвердили ему, что вернутся к своим для того, чтобы выполнить данное обещание.

— Хорошо,—сказал суффет—в силу соглашения, состоявшегося между мною, Баркой, и вами, посланными наемников, я избираю вас и оставляю вас у себя!

Спендий упал без чувств на циновку. Варвары, как бы отказавшись от него, теснее прижались друг к другу; после этого не было произнесено ни одного слова, не раздалось ни одной жалобы.

Их товарищи, ожидавшие их и так и не дождавшиеся их возвращения, думали, что они их предали, и перешли на сторону суффета.

Они прождали еще два дня, но на утро третьего дня приняли, наконец, решение. При помощи веревок, копий и стрел, расположенных в виде ступенек между обрывками полотняных палаток, они взобрались на скалы; оставив за собой самых слабых,—их было около трех тысяч,—они двинулись в путь, чтобы присоединиться к туниссскому войску.

На верху ущелья расстилался луг, поросший кустами; варвары с'ели на них все почки. Дальше они попали на поле, засеянное бобами, и все исчезло, точно над полем пронеслась стая саранчи. Три часа спустя, они пришли на вторую горную площадку, окруженную поясом зеленых холмов.

Промеж волнистых линий этих холмов сверкали снопы серебристого цвета на некотором расстоянии один от другого; варвары, ослепленные солнцем, смутно увидели под ними черные громады, поддерживавшие их. Они поднимались, точно распускаясь, как цветок. То были копья в башнях на грозно вооруженных слонах.

Кроме рогатины на своих надгрудных ремнях, кроме заостренных клыков и медных блях, покрывавших их бока, а также кинжалов, всунутых в их наколенники, слоны носили еще на конце хоботов кожаные круги, в которые продета была рукоять широкого ножа. Высту-

пив все вместе из глубины долины, они шли с двух сторон параллельными рядами.

Несказанный ужас охватил варваров. Они даже не попытались бежать, чувствуя, что они уже окружены.

Слоны вступили в эту толпу, острия на их груди рассекали ее, копья их клыков переворачивали ее, как плуг; они резали, рубили, косили своими хоботами; башни полные зажигательных стрел, казались шествующими вулканами; ничего нельзя было различить, кроме огромной кучи, в которой человеческие тела казались белыми пятнами, куски меди—серыми бляхами, кровь—красными фонтанами; страшные животныя, проходя среди этого ужаса, проводили глубокие черные борозды. Самого бешеного слона вел нумидиец в венце из перьев. Он бросал дротики со страшной быстротой, издавая в промежутках острый свистящий звук. Огромные животныя, послушные, как собаки, косились в его сторону во время всей резни.

Круг, занимаемый слонами, постепенно суживался. Ослабевшие варвары перестали сопротивляться; и вскоре слоны заняли центр долины. Им не хватало места, они теснились, приподнимая задние ноги, и клыки их сталкивались. Вдруг Нар-Гавас остановил их и, повернув назад, они рысью побежали к холмам.

Тем временем две синтагмы, убежавшие направо, туда, где почва образовала углубление, побросали оружие; став все вместе на колени перед карфагенскими палатками, они подымали руки, умоляя о пощаде.

Им связали руки и ноги, положили их рядом на земле и вернули слонов.

Груди трещали, как взламываемые сундуки; каждый шаг слонов давил двух людей; их тяжелые ноги вдавливались в тела, при чем их бедра сгибались, и казалось, что они хромают. Так они продолжали идти вперед и дошли до конца.

Снова все стало недвижным на равнине. Спустилась ночь. Гамилькар наслаждался зрелищем свершенной мести. Но вдруг он вздрогнул.

Он увидел, как и другие вместе с ним, в шести стах шагах налево, на вершине небольшого холма, новые пол-

чища варваров. Действительно, четыреста самых отважных наемников, этрусцы, ливийцы и спартанцы, достигли этих высот с самого начала и до этого времени стояли в нерешительности. После избиения своих товарищей они решили пробить строй карфагенян и уже спускались тесными рядами, представляя собой великолепное и грозное зрелище.

К ним тотчас же направили вестника. Он передал им, что суффет нуждается в войске и готов принять их без всяких условий: до того он восхищается их храбростью. Посланный Карфагена предложил им приблизиться и направиться к месту, которое он им укажет и где они найдут съестные припасы.

Варвары побежали туда и провели всю ночь в еде. Тогда карфагеняне стали роптать против суффета за его несправедливые милости к наемникам.

Действовал ли он под влиянием ненасытной злобы, или же это было каким-то особо утонченным коварством, но, во всяком случае, он явился на следующий день к наемникам сам, без меча, с обнаженной головой, со свитой клинабаров и заявил им, что ему теперь приходится кормить слишком много людей, и он не намерен поэтому сохранить их всех. Но так как ему нужны воины, и он не знает как избрать лучших, то он приказывает им биться друг с другом до изнеможения; затем он примет победителей в свою особую гвардию. Такая смерть, по его словам, была не хуже всякой другой. Отстранив своих солдат, за карфагенскими знаменами которых скрыт был от наемников горизонт, он показал им сто девяносто двух слонов Нар-Гаваса, выстроенных в прямую линию; хоботы их вооружены были широкими лезвиями и походили на руки гигантов, которые держали бы топоры над головами.

Варвары в молчании глядели друг на друга. Их страшила не смерть, но то, что они были принуждены подчиниться.

Постоянное общение, в котором они жили, породило у них тесные дружеские связи. Лагерь заменял для большинства из них отечество; живя вне семей, они переносили на товарищей потребность в нежности, и по ночам

друзья спали рядом, при свете звезд, накрываясь одним плащом. Кроме того, во время постоянного скитания по всевозможным странам, среди резни и приключений, у них образовались странные любовные союзы—противоестественные, но не менее проникнутые любовью, чем браки; в этих союзах более сильный защищал младшего друга в битвах, помогал ему переступать через пропасти, утирал на его лбу пот, вызванный лихорадкой, крал для него пищу, а младший товарищ, большей частью какой-нибудь ребенок, подобранный на дороге и сделавшийся потом наемником, платил за эту преданность нежной заботливостью и женской покорностью.

Они обменялись кольцами и серьгами, которые когда-то подарили друг другу в часы опьянения или после большой опасности. Все хотели умереть, и никто не хотел ударить другого. Юноша говорил другу с седой бородой:

— Нет, нет, ты более сильный. Ты отомстишь за нас, убей меня!

И старший отвечал:

— Мне осталось меньше жить. Убей меня ударом в сердце, и дело с концом!

Братья смотрели друг на друга, сжимая руки, а любовники, стоя, прощались навеки, плача друг у друга на плече.

Они сняли панцыри для того, чтобы острия мечей скорее вонзались в тело. И тогда обнажились на телах следы ударов, полученных ими, когда они защищали Карфаген. Рубцы эти были подобны надписям на колоннах.

Они выстроились в четыре ровных ряда, как гладиаторы, и робко вступили в бой. Некоторые даже завязали глаза, и мечи ударяли по воздуху тихонько, как палки слепых. Карфагеняне стали громко смеяться над ними и кричать им, что они трусы. Варвары оживились, и вскоре битва сделалась общей, быстрой и страшной.

Иногда два человека останавливались, покрытые кровью, падали в об'ятия друг друга и умирали, целуя. Ни один не отступал. Они бросались на протянутые мечи. Они пришли в такое неистовство, что карфагенянам сделалось страшно издали.

Наконец, они остановились. У них вырывались из груди глухие стоны, и видно было, как горели их глаза из-за длинных прядей волос, нависших, точно они только-что выкупались в крови. Некоторые стали быстро кружиться, как пантеры, раненые в лоб. Другие стояли недвижно, глядя на труп у своих ног; потом они начинали раздирать лицо ногтями и, взяв меч в обе руки, ударяли себя им в живот.

Осталось в живых еще шестьдесят человек. Они попросили пить. Им крикнули, чтобы они побросали мечи, и, когда они их бросили, им принесли воды.

В то время, как они пили, погружая лица в сосуды с влагой, шестьдесят карфагенян, кинувшись на них, убили их ножами в спину.

Гамилькар сделал это, чтобы польстить жестоким инстинктам своего войска и чтобы привязать его к себе этим предательством.

Война была таким образом кончена; по крайней мере, Гамилькар считал ее конченной; он уверен был, что Мато не сможет устоять, и, охваченный нетерпением, суффет тотчас же велел готовиться в путь.

Его разведчики пришли сказать, что издали показался обоз, направлявшийся к Свинцовой Горе. Гамилькар не обратил на это внимания. Наемники были уничтожены, и кочевники ничего не могли сделать без них. Самое главное было теперь овладеть Тунисом. И он быстро направился туда.

Он послал Нар-Гаваса в Карфаген с вестями о победе; и король нумидийцев, гордясь своим успехом, явился к Саламбо.

Она приняла его в садах, под широкой смоковницей, окруженная подушками из желтой кожи; рядом с ней стояла Таанах. Лицо Саламбо было закрыто белым шарфом, который был обтянут вокруг рта и лба, так что видны были одни глаза; но губы ее сверкали из-под прозрачной ткани так же, как драгоценные камни на ее пальцах: Саламбо держала обе руки завернутыми и за все время разговора не сделала ни одного движения.

Нар-Гавас сообщил ей о поражении варваров. Она отблагодарила его тем, что благословила услуги, оказан-

ные им ее отцу. Тогда он стал рассказывать все подробности похода.

Голуби тихо ворковали на пальмовых деревьях вокруг них, а среди трав летало много других птиц: галеолы с ожерельем на груди, перепела из Тертесса и карфагенские цесарки. Сад, запущенный в течение долгого времени, сильно разросся: зелень горьких тыкв вилась вокруг стволов коричного лавра, ласточники росли среди полей роз, всевозможные дикие растения свивались, образуя навесы, и косые лучи солнца бросали, как в лесу, тень отдельных листьев на землю. Одичавшие домашние животные убегали при малейшем шуме. Иногда появлялась газель, к копытцам которой пристали разрозненные павлиньи перья. Далекий гул города терялся в рокоте вод. Небо было совершенно голубое: на море не виднелось ни одного паруса.

Нар-Гавас замолчал, и Саламбо глядела на него, не отвечая. На нем была льняная одежда, расписанная цветами и обшитая внизу золотой бахромой; две серебряные стрелы стягивали его волосы, скрепленные у края ушей; правой рукой он опирался на древко копья, украшенное янтарными обручами и пучками шерсти.

Глядя на него, она чувствовала, как ее охватывала вереница смутных мыслей. Этот юноша с нежным голосом и женским станом чаровал ее взор своей грацией и представлялся ей как бы старшей сестрой, которую ваалы послали ей в защиту. Ее охватило воспоминание о Мато, и она не могла удержаться от желания расспросить о том, что с ним сталось.

Нар-Гавас ответил, что карфагеняне направились в Тунис, чтобы взять его. По мере того, как он излагал ей шансы на успех и говорил о слабости Мато, она чувствовала, как необычайная надежда охватывает радостью ее душу. Губы ее дрожали, грудь тяжело вздымалась. Когда, наконец, он обещал сам убить его, она воскликнула:

— О, да! непременно убей!

Нумидиец ответил, что он пламенно желает смерти Мато, так как по окончании войны он сделается ее супругом.

Саламбо вздрогнула и опустила голову.

Продолжая свои речи, Нар-Гавас сравнил свои желания с цветами, томящимися в ожидании дождя, с заблудившимися путниками, ожидающими восхода солнца. Он еще сказал ей, что она прекраснее луны, свежительнее утреннего ветра, отраднее лица гостеприимного хозяина. Он сказал ей, что вывезет для нее из страны чернокожих такие предметы, каких в Карфагене не знают, и покои их жилища будут усыпаны золотым песком.

Наступил вечер; в воздухе носились благоухания. Они долго безмолвно глядели друг на друга, и глаза Саламбо, среди ее длинных покрывал, казались двумя звездами, выступавшими из-за разорвавшегося облака. Нар-Гавас ушел еще до захода солнца.

Старейшины вздохнули свободнее, когда он уехал из Карфагена. Народ встретил его еще более восторженно, чем в первый раз. Если бы Гамилькар и вождь нумидийский справились одни с наемниками, им невозможно было бы противостоять. Старейшины решили поэтому для ослабления Барки привлечь к спасению республики того, кого они любили,—старого Ганнона.

Он немедленно направился в западные провинции, чтобы свершить месть в тех самых местах, где прежде потерпел позор. Но жители этих провинций и варвары или умерли, или спрятались, или бежали. Тогда его гнев разразился над самою местностью. Он сжег развалины развалин, он не оставил ни одного дерева, ни одной травки; детей и калек, встречавшихся по пути, предавали пыткам; женщин он отдавал воинам, которые насиловали их прежде, чем их убивали; самых красивых бросали в его носилки, ибо его страшный недуг разжигал его пламенными желаниями, и он удовлетворял свою страсть с бешенством отчаяния.

Часто на хребте холмов черные палатки вдруг исчезали, точно снесенные ветром, и широкие круги с сверкающими краями, в которых можно было распознать колеса повозок, приходили в движение с жалобным скрипом и направлялись в глубину долин. Племена, отказавшиеся от осады Карфагена, блуждали, таким образом, по провинциям, выжидая случая и какой-нибудь победы

наемников, чтобы вернуться. Но под влиянием страха и голода они все потом отправлялись на свою родину и больше не возвращались.

Гамилькар не завидовал успехам Ганнона. Но ему хотелось поскорее кончить войну, и он приказал Ганнону вернуться в Тунис. Ганнон, любивший свою родину, пришел к стенам города в назначенный день.

Город защищало все туземное население, затем двенадцать тысяч наемников и все пожиратели нечистой пищи, ибо они, как и Мато, не спускали взоров с видневшегося на горизонте Карфагена, и простой народ, так же, как и шалишим, созерцали издали высокие стены Карфагена, думая о скрывающихся за ними бесконечных наслаждениях. Об'единенные общей злобой, осажденные быстро организовали сопротивление. Они изготовили шлемы из мехов, из пальм в садах нарезали копья, вырыли цистерны, а для пищи ловили в озере толстых белых рыб, питавшихся падалью и нечистотами. Их стены, всегда остававшиеся в полуразрушенном виде вследствие ревности Карфагена, были такие слабые, что их легко можно было опрокинуть ударом плеча. Мато заткнул бреши камнями зданий. Начался последний бой; он ни на что не надеялся, но все же думал о том, что счастье переменчиво.

Карфагеняне, приблизившись, увидели на окопе человека, поднимавшегося выше амбразур, которые доходили ему до пояса. Стрелы, летавшие вокруг него, повидимому, пугали его не более, чем стая ласточек, и, странным образом, ни одна стрела не задела его.

Гамилькар утвердил свой лагерь с южной стороны; Нар-Гавас, расположившись справа, занял долину Радеса, а Ганнон—берег озера; три военачальника решили сохранить каждый свое положение, чтобы потом всем вместе напасть на стены.

Но Гамилькар хотел сначала показать наемникам, что он намерен наказать их, как рабов. Он приказал распять десять посланных, в ряд на маленьком возвышении против города

Это зрелище заставило осажденных покинуть свои окопы.

Мато решил, что если бы ему удалось пройти между стенами и палатками Нар-Гаваса прежде, чем выйдут нумидийцы, то он мог бы напасть на тыл карфагенской пехоты; она оказалась бы тогда замкнутой между его отрядом и войсками, находящимися в городе. Он быстро кинулся вперед со своими ветеранами.

Нар-Гавас это увидел. Он прошел берегом озера к Ганнону, чтобы убедить его послать войско на помощь Гамилькару. Считал ли он, действительно, что Гамилькар слишком слаб, чтобы противостоять наемникам? Действовал ли он из коварства или из глупости? Это так и осталось навсегда не выясненным.

Ганнон, из желания унизить своего соперника, не колебался ни одной минуты. Он приказал трубить в рога, и все его войско кинулось на варваров. Они повернули назад и устремились на карфагенян, стали их опрокидывать, топтать ногами; отбросив их таким образом, они дошли до палатки Ганнона, который находился в это время в обществе тридцати карфагенян, самых знатных из старейшин.

Он, казалось, поразился их смелостью и призвал своих военачальников. Варвары подступили к нему, осыпая его ругательствами и поднося кулаки к его горлу. Началась давка, и те, которые подняли на него руку, с трудом удерживали его, чтобы он не ушел. Он же в это время шептал каждому из них на ухо:

— Я тебе дам все, чего ты захочешь. Я богат, спаси меня!

Они потащили его; при всей его тяжести ноги его уже не касались земли. Увлекли и старейшин. Его страх усилился.

— Вы победили меня, я ваш пленник! Я выкуплю себя. Выслушайте меня, друзья мои.

Вынесенный на плечах людьми, которые сдавливали его с боков, он повторял:

— Что вы намерены делать? Что вам нужно? Я ведь не упорствую, вы сами видите. Я был всегда добрый.

У дверей стоял огромный крест. Варвары ревели:

— Сюда, сюда!

Но он еще более возвысил голос и именем богов заклинал повести его к шалишимам, которым он сообщит нечто, от чего зависит их спасение.

Они остановились, и некоторые решили, что было бы благоразумно призвать Мато. Отправились разыскивать его.

Ганнон упал на траву; он увидел вокруг себя еще другие кресты, точно пытка, от которой он должен был погибнуть, заранее умножилась; он делал усилия, чтобы убедить себя, что он ошибается, что воздвигнут один только крест, и даже хотел убедить себя, что никакого креста не было. Наконец, его подняли.

— Говори!—сказал Мато.

Он предложил выдать Гамилькара, после чего они войдут в Карфаген и будут царствовать там вдвоем.

Мато удалился, давая знак скорее покончить с Ганноном. Он был убежден, что предложение Ганнона было хитростью и желанием выиграть время.

Варвар ошибался; Ганнон был в той крайности, когда всякие соображения исчезают, и к тому же он так ненавидел Гамилькара, что принес бы его в жертву со всем его войском при малейшей надежде на спасение.

У подножия тридцати крестов старейшины, изнемогая, лежали на земле; им уже надели веревки под мышки. Тогда старый суффет понял, что наступила смерть, и заплакал.

С него сорвали всю оставшуюся на нем одежду, обнажив безмерное уродство его тела. Нарывы покрывали всю бесформенную массу; жир, свисавший с его ног, закрывал ногти и сползал с пальцев зеленоватыми лохмотьями; слезы, которые стекали по опухолям на его щеках, придавали его лицу ужасающе печальный вид; казалось, что слезы занимали на нем больше места, чем на всяком другом человеческом лице. Его повязка, наполовину спавшая, валялась в пыли вместе с его белыми волосами.

Варвары думали, что никакие веревки не выдержат тяжести его тела, и поэтому, следуя карфагенскому обычаю, они прибили его к кресту прежде, чем поднять последний. Страдания пробудили в нем гордость. Он стал осыпать своих мучителей ругательствами. Он извивался

в бешенстве, как морское чудовище, которое закалывают на берегу, и предсказывал варварам, что они умрут еще в больших муках, чем он, и что за смерть его им отомстят.

И, действительно, он был отомщен. С другой стороны города, откуда теперь поднимались языки пламени вместе со столбами дыма, посланные наемников корчились в предсмертных муках.

Некоторые из них, вначале только лишившиеся чувств, пришли в себя от свежего дуновения ветра; но подбородок свисал у них на грудь, и тело их слегка опускалось, несмотря на то, что руки были прибиты гвоздями выше головы; из пяток и из рук кровь вытекала большими каплями, медленно, как падают с ветвей спелые плоды; Карфаген, залив, горы и равнины, все точно кружилось вокруг них, как большое колесо; иногда их обволакивали столбы пыли, поднимавшиеся с земли; их сжигала страшная жажда, язык переворачивался во рту, и они чувствовали струившийся по членам ледяной пот, в то время как душа их покидала тело.

Они видели где-то, на бесконечной глубине, улицы, воинов в движении, раскачиваемые мечи; гул битвы доходил до них смутно, как доходит шум моря до потерпевших кораблекрушение, когда они умирают на снастях корабля. Италиоты, более сильные, чем другие, еще продолжали кричать; лакедемоняне молчали, закрыв глаза; Заркас, когда-то столь сильный, склонился, как надломленный камыш; эфиоп рядом с ним откинул назад голову через перекладину креста; Автарит недвижно вращал глазами; длинные его волосы, захваченные в расщелину дерева, поднимались на лбу, и хрип, который он издавал, казался ревом злобы. Что касается Спендия, то в нем вдруг проснулась изумительная храбрость; он стал презирать жизнь, уверенный в близком освобождении навеки, и ждал смерти совершенно спокойно.

Ослабевшие, они иногда вздрагивали от прикосновения крыл, задевавших их уста. Большие крылья окружали их тенями, и воздух наполнился карканьем; так как крест Спендия был самый высокий, то на него и опустился первый коршун. Тогда он повернул лицо к

Автариту и медленно сказал ему с неописуемой улыбкой:

— Ты помнишь львов по дороге в Сикку?

— То были наши братья, — ответил галл, испуская дух.

Суффет тем временем пробился через стену и дошел до крепости. Под порывом ветра дым вдруг рассеялся, открывая горизонт до стен Карфагена; ему даже казалось, что он видит людей, глядевших вдаль, на площадку Эшмуна; потом, повернув взгляд, он увидел слева у озера тридцать огромных крестов.

Чтобы придать им еще более страшный вид, варвары воздвигнули кресты из мачт своих палаток, скрепленных концами; тридцать трупов старейшин вырисовывались таким образом высоко на небе. На груди их виднелись точно белые бабочки; то были перья стрел, пущенных в них снизу.

На вершине самого большого креста сверкала золотая повязь; она свисала с плеча, ибо руки с этой стороны не было. Гамилькар с трудом узнал Ганнона. Его разрыхленные кости не выдерживали железных наконечников стрел, и части его тела отпадали. На кресте сохранились какие-то бесформенные остатки, точно куски звериных тел, висящие на дверях охотников.

Суффет не мог ничего узнать; город, расстилавшийся перед ним, скрывал все, что было сзади него, а военачальники, которых он посылал поочередно к двум начальникам отрядов, не возвращались. Вскоре явились беглецы с рассказами о поражении, и карфагенское войско остановилось. Это несчастие среди победы смутило их, и они не слушались приказов Гамилькара.

Мато воспользовался этим, чтобы продолжать разгром лагеря нумидийцев.

Разрушив лагерь Ганнона, он снова двинулся на них. Они выпустили слонов. Но наемники с головнями, вырванными из стен, помчались по равнине, размахивая пламенем; испуганные слоны ринулись в залив, убивая друг друга, и стали тонуть под тяжестью своих вооружений. Нар-Гавас пустил свою конницу; наемники кинулись наземь; потом, увидав лошадей в трех шагах от

себя, они одним прыжком очутились под животами лошадей и раскроили их кинжалами; половина нумидийцев погибла, когда явился Гамилькар.

Обессиленные наемники не могли устоять против его войска. Они отступили в порядке до горы Горячих Источников. Суффет из благоразумия не стал гнаться за ними. Он направился к устью Макара.

Тунис ему принадлежал. Но он превратился в груду дымящихся развалин, которые спускались вниз через отверстия стены до середины равнины; в глубине, между берегами залива, трупы слонов, гонимые ветром, сталкивались точно архипелаг черных скал, плавающих на водах.

Чтобы вести эту войну, Нар-Гавас опустошил свои леса, взял старых и молодых слонов, самцов и самок, но это не увеличило военную силу его царства. Народ, видевший издали гибель слонов, был в отчаянии; люди плакали на улицах, называя слонов по именам, точно умерших друзей: «О, Непобедимый! О, Слава! Грозный! Ласточка!»

В первый день говорили только об убитых гражданах. Но на следующий день увидели палатки наемников на горе Горячих Источников. Тогда отчаяние сделалось столь глубоким, что многие, в особенности женщины, бросились головой вниз с высоты акрополя.

Никто не знал о намерениях Гамилькара. Он жил один в своей палатке, имея около себя лишь одного мальчика, и никто, даже Нар-Гавас, не разделял с ним трапезы. Все же со времени гибели Ганнона Гамилькар относился к Нар-Гавасу с величайшим вниманием; но нумидийский король так сильно желал стать его зятем, что всему не доверял, даже этому вниманию.

Бездействие Гамилькара прикрывало ловкую тактику. Он всевозможными хитростями соблазнял начальников деревень, и наемников отовсюду гнали; их оттесняли и преследовали, как диких зверей. Как только они вступали в лес, вокруг них воспламенялись деревья; когда они пили воду из какого-нибудь источника, она оказывалась отравленной; пещеры, куда они прятались на ночь, замуровывались. Жители деревень, которые прежде

помогали им, теперь их преследовали, и наемники видели на них карфагенские вооружения.

У многих варваров лица были изъедены красными нарывами; они думали, что заболели, прикасаясь к Ганнону. Другие же полагали, что сыпь эта была следствием того, что они съели рыб Саламбо. Но они не только не раскаивались, но, напротив того, мечтали о еще более страшных святотатствах, для того, чтобы еще более унизить карфагенских богов. Они хотели бы совершенно их уничтожить. Так они скитались еще три месяца вдоль восточного берега, потом зашли за гору Сэлум и дошли до первых песков пустыни. Они искали какого-нибудь убежища, все равно какого. Только Утика и Гиппо-Зарит не изменили им; но эти города обложил Гамилькар. Потом они наугад поднялись к северу, даже не зная дорог. У них мутилось в головах от всего, что они вытерпели.

Их преисполняло одно только все возрастающее чувство отчаяния; и однажды они очутились в ущелье Кобуса, опять перед Карфагеном.

Стычки умножались. Счастье разделилось поровну между войсками; но оба войска были так изможденны, что им хотелось вместо маленьких стычек вступить в решительный бой с тем, чтобы бой этот был последним.

Мато хотелось первому сделать это предложение суффету. Один из его линийцев принес себя в жертву и пошел. Когда он удалился, все были убеждены, что он более не вернется.

Но он вернулся в тот же вечер.

Гамилькар принял их вызов. Решено было сойтись на следующий день при восходе солнца в равнине Радеса.

Наемники хотели знать, что он еще сказал, и линиец прибавил:

— Когда я продолжал стоять перед ним, он спросил, чего я жду; я ответил: «я жду, чтобы меня убили». Тогда он возразил: «нет, уходи; я убью тебя завтра вместе с другими».

Это великодушие изумило варваров и преисполнило некоторых из них ужасом. Мато пожалел, что его посланного не убили.

У него осталось еще три тысячи африканцев, тысяча двести греков, тысяча пятьсот жителей Кампании; двести иберов, четыреста этрусков, пятьсот самнитов, сорок галлов и отряд нафуров, кочующих разбойников, встреченных в стране фиников; всего было семь тысяч двести девятнадцать воинов, но ни одной целой синтагмы. Они заткнули дыры своих панцырей лопатками четвероногих и заменили медные котурны порванными сандалиями. Медные и железные бляхи увеличивали тяжесть их одежды; их кольчуги висели в лохмотьях на их теле, и рубцы выступали, как красные нити, под волосами на их руках и лицах.

Гнев их погибших товарищей поддерживал в них мужество и усиливал его; они смутно чувствовали себя служителями бога, обитающего в сердцах несчастных, и как бы священнослужителями вселенской мести. К тому же их доводила до бешенства страшная несправедливость, и в особенности их раздражал вид Карфагена на горизонте. Они дали клятву сражаться до смерти.

Они зарезали вьючных животных и стали поедать их мясо в большом количестве, чтобы поднять силы. Затем они легли спать. Некоторые стали молиться, обращаясь к разным созвездиям.

Карфагеняне прибыли в долину первыми. Они натерли края щитов растительным маслом для того, чтобы стрелы легче скользили по ним; пехотинцы, носившие длинные волосы, из осторожности срезали их на лбу; в пятом часу утра Гамилькар велел опорожнить все кружки с едой, зная как неосторожно вступать в бой с полным желудком. Его войско состояло из четырнадцати тысяч человек и было приблизительно вдвое больше войска варваров. Но еще никогда он не испытывал подобного беспокойства; если бы он потерпел поражение, то это привело бы к гибели республики, и он сам погиб бы на кресте. Если же, наоборот, он одержал бы победу, то переправился бы через обе Галлии и через Альпы в Италию, и могущество рода Барки укрепилось бы на-

веки. Двадцать раз в течение ночи он поднимался, чтобы самому за всем присмотреть до малейших подробностей. Что же касалось карфагенян, то они были возбуждены долгим страхом.

Нар-Гавас сомневался в преданности своих нумидийцев. К тому же, варвары могли победить их. Им овладела странная слабость, и он непрерывно пил большие чаши воды.

Но кто-то, кого он не знал, раскрыл его палатку и положил на пол венец из каменной соли, украшенный священными рисунками, выведенными серой и полосками перламутра. Иногда случалось, что жениху посылали брачный венец; это было знаком любви, своего рода призывом.

Однако, дочь Гамилькара не чувствовала никакой нежности к Нар-Гавасу.

Ее нестерпимо терзало воспоминание о Мато; ей казалось, что его смерть избавила бы ее от мысли о нем, подобно тому, как для исцеления раны, нанесенной укусом змеи, нужно последнюю раздавить на ране. Царь нумидийцев был покорен ей: он нетерпеливо ждал свадьбы, и так как свадьба должна была последовать за победой, то Саламбо послала ему этот подарок, чтобы поднять в нем мужество. Его тревога исчезла, когда он получил подарок; он уже ни о чем не думал, кроме счастья, которое ему даст обладание такой прекрасной женой.

Мато тоже мучил образ Саламбо; но он тотчас же отстранил его, и любовь, которую он подавил в себе, распространилась на его товарищей по оружию. Он любил их, как частицу самого себя и своего гнева, и это воспламеняло его, укрепляло мощь его рук. Он ясно сознавал, что нужно было делать. И если иногда у него вырывались стоны, то они вызваны были мыслью о Спендии.

Он выстроил варваров в шесть ровных рядов. Посредине он поставил этрусков, скованных бронзовой цепью: стрелки стояли за ними, а на двух флангах он разместил

нафуров верхом на короткошерстых верблюдах, покрытых страусовыми перьями.

Суффет расположил карфагенян в том же порядке. За пехотой, рядом с велитами, он поместил клинабаров, за ними нумидийцев. Когда взошло солнце, враги стояли, выстроенные друг против друга, и издали оглядывали друг друга грозными взорами больших глаз. Сначала произошло легкое колебание. Наконец, оба войска пришли в движение.

Варвары двигались медленно, чтобы не выбиться из сил от быстрой ходьбы; центр карфагенского войска образовал вогнутую кривую. Потом раздался страшный шум, подобный треску двух столкнувшихся флотов. Первый ряд варваров быстро раскрылся, и стрелки, спрятавшиеся за ними, стали метать свои ядра, стрелы, дротики. Тем временем кривая линия карфагенян понемногу выравнивалась, сделалась совершенно прямой, потом изогнулась в другую сторону; тогда две половины растерзанной линии велитов параллельно обливились, как сходящиеся половинки циркуля. Варвары, устремляясь на фалангу, вступили в расщелину между велитами и этим погубили себя. Мато остановил их, и в то время, как два карфагенских фланга продолжали двигаться вперед, он выдвинул наружу три внутренних ряда своего строя; вскоре они выступили за фланги, и войско его выстроилось в тройную длину.

Но варвары, стоявшие в двух концах, оказались самыми слабыми, особенно находившиеся слева и истощившие запас стрел; отряд велитов, подступивший к ним, сильно опустошил их ряды.

Мато отвел их назад. На его правом фланге стояли воины из Кампании, вооруженные топорами; он двинул их на левый карфагенский фланг; центр нападал на врага, а воины другого конца, бывшие вне опасности, держали в отдалении велитов.

Тогда Гамилькар разделил свою конницу на эскадроны, разместил между ними гоплитов и двинул их на наемников.

Эта громада имела конусообразную форму; во фронте расположились всадники, а широкие бока щетинились,

огражденные пиками. Противиться им варвары не могли; только у греческой пехоты было медное вооружение; у всех же других были лишь кортики на шестах, серпы, похищенные на фермах, мечи, сделанные из колесных ободьев; слишком мягкие лезвия сгибались при ударах, и в то время, как они выпрямляли их под башмаками, карфагенские спокойно рубили их справа и слева.

Но этруски, скованные цепью, не двигались с места. Убитые, не имея возможности упасть, заграждали путь своими трупами; эта широкая бронзовая линия то раздавалась, то сжималась, гибкая, как змея, неприступная, как стена. Варвары сплачивались за нею, останавливались на минуту, чтобы перевести дух, потом вновь пускались вперед с обломками оружия в руке.

У многих не было даже никаких обломков, и они наскакивали на карфагенян, кусая им лица, как собаки. Галлы из гордости сняли одежду и показывали издали свои крупные белые тела; чтобы устрашить врага, они сами расширяли свои раны. Среди карфагенских синтагм не слышалось более голоса глашатая, выкрикивавшего приказания; знамена служили сигналами, поднимаясь над пылью, и все двигались, уносимые окружающей их колеблющейся массой.

Гамилькар приказал нумидийцам двинуться вперед. Но навстречу им помчались нафуры.

Облеченные в широкие черные одежды, с пучком волос на макушке и со щитом из кожи носорога, они сражались железным орудием без ручки, придерживаемым веревкой; их верблюды, покрытые перьями, издавали протяжные, глухие звуки. Их лезвия падали в точно обозначенные места, потом отскакивали сухим ударом, унося отрезанный кусок тела. Бешеные верблюды скакали через синтагмы. Те, у которых переломлены были ноги, продолжали идти, подпрыгивая, как раненые страусы.

Карфагенская пехота вся бросилась на варваров и разорвала их ряды. Отряды кружились, оторванные один от другого. Сверкающее оружие карфагенян оцепляло их, точно золотыми венцами. Люди топтались на месте.

и солнце, падая на оружие, окружало острия мечей летающими белыми бликами. Однако, ряды клинабаров оставались распростертыми среди равнины; наемники срывали с них доспехи, надевали на себя и возвращались в бой. Карфагеняне, обманутые их видом, несколько раз попадали в их ряды. Их приковывал к месту ужас, или же они отступали назад, и торжествующие крики, поднимавшиеся издали, точно толкали их, как обломки кораблей в бурю. Гамилькар приходил в отчаяние. Все гибло, благодаря гению Мато и непобедимой храбрости наемников.

Но вдруг на горизонте раздался гул тамбуринов. То шла толпа, состоявшая из стариков, из больных, из пятнадцатилетних детей и даже из женщин; не будучи в состоянии победить своей тревоги, они ушли из Карфагена, и, чтобы поручить себя защите какой-нибудь грозной силы, они взяли у Гамилькара единственного слона, который оставался у республики, слона, у которого отрезали хобот.

Тогда карфагенянам показалось, что родина, покидая свои стены, пришла, чтобы приказать им умереть за нее. Их охватил удвоенный приступ ярости, и нумидийцы увлекли за собой всех других.

Варвары, стоя среди долины, прислонились к маленькому возвышению. У них не сохранилось никакой надежды победить или даже остаться в живых; но те были самые бесстрашные и сильные среди войска.

Пришедшие из Карфагена стали бросать в них через нумидийцев вертела, шпиковальные иглы, молоты; те, которые наводили ужас на консулов, умирали теперь от ударов палок, брошенных женщинами; карфагенская чернь избивала наемников.

Они убежали на вершину холма. Круг их после каждого нового пролома сплачивался; два раза они спускались в долину, и каждый раз их отбрасывали назад; карфагеняне, сбившись в кучу, простирали руки; они просовывали копья между ног своих товарищей и наугад наносили удары. Они скользили в лужах крови; вследствие крутизны трупы скатывались вниз. Слон, который пытался подняться на возвышение, ходил по живот по

мертвым телам. Казалось, что он с наслаждением ходит по ним; его укороченный хобот с широким концом поднимался временами, как огромная пиявка.

Потом все остановились. Карфагеняне, скрежеща зубами, смотрели на вершину холма, где стояли варвары.

Наконец, они порывисто кинулись вперед, и схватка возобновилась. Наемники временами подпускали их, крича им, что сдаются, потом со страшным хохотом вдруг убивали сами себя; в то время, как мертвые падали наземь, живые становились на них, чтобы защищаться. Образовалась как бы пирамида, которая постепенно все более и более возвышалась.

Вскоре их осталось только пятьдесят, потом—только двадцать, потом—только три человека и, наконец,—только два: один самнит, вооруженный топором, и Мато, сохранивший свой меч.

Самнит, опустившись на корточки, поочередно ударял топором вправо и влево и предупреждал Мато об ударах, направляемых на него.

— В эту сторону, господин, наклонись

Мато потерял свои наплечники, свой шлем, свой панцырь; он был совершенно голый и бледнее мертвеца; волосы его стояли дыбом; в углах рта выступила пена. Меч его вращался так быстро, что составлял как бы ореол вокруг него. Камень разбил его меч у самой чашечки; самнит был убит. Поток карфагенян сплачивался и приближался к Мато. Тогда он поднял к небу свои безоружные руки, закрыл глаза и с распростертыми руками, как человек, который кидается с утеса в море, бросился на копья.

Копья отстранились. Он несколько раз кидался на карфагенян, но они каждый раз отступали, отклоняя свое оружие.

Нога его коснулась меча. Он хотел его схватить, но почувствовал себя связанным по рукам и по ногам и упал.

Нар-Гавас, следовал за ним уже несколько времени шаг за шагом с широкими сетями, какими ловят диких зверей. Воспользовавшись минутой, когда он нагнулся, Нар-Гавас набросил на него сеть.

Мато привязали к спине слона, связав крест на-крест руки и ноги; и все, которые не были ранены, сопровождая его, с криками пустились бежать в Карфаген.

Известие о победе распространилось в Карфагене непонятным образом уже в третьем часу ночи; водяные часы Камона указывали пятый час, когда победители прибыли в Мальку; тогда Мато открыл глаза. Дома были так ярко освещены, что город казался об'ятым пламенем.

Оглушительный гул смутно доходил до него, и, лежа на спине, он смотрел на звезды.

Потом закрылась дверь, и его окружил мрак.

На следующий день, в тот же самый час, испустил дух последний из людей, оставшихся в Ущелье Топора.

В тот день, когда ушли их товарищи, возвращавшиеся зуаэки скатили вниз утесы и кормили несколько времени запертых в ущелье.

Варвары все ждали появления Мато и не хотели покидать горы из малодушия, из чувства усталости, а также из упрямства больных, которые не хотят менять место; наконец, когда припасы истощились, зуаэки ушли. Было хорошо известно, что в ущелье осталось не более тысячи трехсот человек, и, чтобы покончить с ними, не было надобности направлять на них войско.

В течение трех лет войны число диких зверей, в особенности львов, сильно умножилось. Нар-Гавас сделал на них облаву, потом, помчавшись за ними и привязав несколько коз на некотором расстоянии одну от другой, он погнал их в Ущелье Топора. Там они и были все, когда человек, посланный старейшинами, прибыл посмотреть, что осталось от варваров.

На всем протяжении долины лежали трупы, и мертвые смешались в одну кучу с одеждой и вооружением. Почти у всех недоставало или лица, или руки; некоторые казались еще нетронутыми, другие совершенно высохли, и шлемы покрывали пыльные черепа; обгрызанные ноги выступали из кнемид, на скелетах уцелели плащи; кости, высушенные солнцем, лежали на песке яркими пятнами.

Львы отдыхали, выставляя грудь на солнце и вытянув лапы, щурясь от света, усиленного отражением бе-

лых скал. Другие, сидя на задних лапах, пристально глядели в пространство, или же, завернувшись в широкие гривы, спали, сытые, уставшие, скучающие. Они были недвижны, как горы и как мертвецы. Спускалась ночь; широкие красные полосы покрывали небо на западе.

Из одной из куч, поднимавшихся неправильными рядами по долине, вдруг поднялось нечто, похожее на призрак. Тогда один из львов двинулся вперед, образуя своими чудовищными очертаниями черную тень на пурпурном небе. Подойдя к человеку, лев его опрокинул одним ударом лапы. Затем он лег на него животом и стал медленно раздирать ему когтями внутренности.

Потом он широко раскрыл пасть и в течение нескольких минут протяжно выл. Эхо горы повторяло его вой, пока, наконец, он не затих в пустыне.

Вдруг сверху посыпались маленькие камни. Раздался шум торопливых шагов; со стороны решетки из ущелья показались заостренные морды и прямые уши; сверкнули дикие глаза. То были шакалы, явившиеся, чтобы пожрать остатки.

Карфагенянин, который смотрел вниз, нагнувшись над краем пропасти, пошел назад.

МАТО.

Карфаген об'ят был радостью—глубокой, всеоб'емлющей, безмерной, безумной; заполнили дыры в развалинах, наново выкрасили статуи богов, посыпали улицы миртовыми ветками; на перекрестках дымился ладан, и толпа на террасах казалась в своих пестрых одеждах точно пучками распускающихся в воздухе цветов.

Непрерывный гул голосов заглушался выкриками носильщиков воды, поливавших плиты: рабы Гамилькара предлагали от его имени поджаренный овес и куски сырого мяса. Все подходили на улицах друг к другу, целовались и плакали; тирские города были завоеваны, кочевников прогнали, всех варваров уничтожили. Акрополь исчезал под цветными покрывалами; носы триер, выстроившихся рядом за молом, сверкали, точно плотина из драгоценных камней; всюду чувствовался восстановленный порядок, начало новой жизни, разливающееся в воздухе счастье. В этот день праздновалось бракосочетание Саламбо и царя нумидийского.

На террасе камонского храма гигантские драгоценные украшения покрывали три длинных стола, приготовленных для жрецов, для старейшин, для богатых; четвертый, более высокий стол, предназначен был для Гамилькара, для Нар-Гаваса и для Саламбо. Так как Саламбо спасла отечество тем, что вернула ему покрывало, то свадьба ее превратилась в национальное торжество, и, стоя внизу, толпа ждала ее появления.

Но еще другое желание, более острое, вызывало нетерпение толпы, ей обещали смерть Мато в этот торжественный день.

Предложено было сначала содрать с него кожу с живого, залить ему внутренности расплавленным свинцом

и замучить его голодом; хотели также привязать его к дереву с тем, чтобы стоящая за его спиной обезьяна бросала ему камни в голову; он оскорбил Таниту, и ему должны были отомстить, кинокефалы Таниты. Другие предлагали возить его на дромадере, воткнув предварительно в его тело льняные фитили, пропитанные растительными маслами; им приятно было представлять себе, как дромадер будет ходить по улицам, нося на себе человека, который будет извиваться в пламени, как светильник, колеблемый ветром.

Но кому из граждан поручить пытать его и почему лишить этого наслаждения всех других? Нужно было придумать способ умерщвления, в котором участвовал бы весь город так, чтобы все руки, все карфагенское оружие, все предметы в Карфагене, до плит улиц и до вод залива, соучаствовали бы в его истязании, в его избиении, в его уничтожении. Старейшины поэтому решили, что он отправится из своей тюрьмы на Камонскую площадь, никем не сопровождаемый, с связанными за спиной руками; запрещено было наносить ему удары в сердце, так как желательно было, чтобы он оставался в живых как можно дольше; запрещено было выкалывать ему глаза для того, чтобы он до конца видел свою пытку, запрещено было также бросать в него что-либо и ударять его больше, чем тремя пальцами сразу.

Хотя он должен был появиться только к концу дня, все же толпе несколько раз казалось, что она его видит; все бросались к акрополю, покидая улицы, потом снова возвращались с протяжным ропотом. Многие стояли, не двигаясь с места, целые сутки и издали перекликались, показывая друг другу свои ногти, которые они отрастили, чтобы глубже запустить их в его тело. Другие ходили взад и вперед в глубоком волнении; некоторые были так бледны, точно ждали собственной казни.

Вдруг, за Маппалами, над головами показались высокие опахала из перьев. То была Саламбо, выходившая из дворца; у всех вырвался вздох облегчения.

Но процессия двигалась шагом, и прошло много времени, прежде чем она подошла к толпе.

Впереди шли жрецы богов-патэков, потом жрецы

Эшмуна и Мелькарта и затем одна за другой все коллегии жрецов с теми же значками и в том же порядке, в каком они шли в день жертвоприношения. Жрецы Молоха прошли, понурив головы, и толпа, точно чувствуя раскаяние, отступалась от них. Жрецы Раббетны, напротив того, выступали гордо, с лирами в руках; за ними следовали жрицы в прозрачных одеждах, желтых или черных, испуская крики, подобные крикам птиц, извиваясь, как змеи, или же кружась под звуки флейт, подражая пляске звезд; от легких их одежд струились по улицам волны нежных ароматов. Толпа встречала рукоплесканиями шедших среди женщин кедешимов с раскрашенными веками, олицетворявших двуполость божества, надушенные и наряженные, как женщины, они были подобны им, несмотря на свои плоские груди и узкие бедра. Женское начало в этот день царило всюду; мистическое сладострастие наполняло тяжелый воздух; уже загорались факелы в глубине священных рощ; ночью там должна была состояться великая оргия; три корабля привезли из Сицилии куртизанок, и много их прибыло также из пустыни.

Коллегии, по мере того, как они приходили на место, выстраивались во дворах храма, на наружных галлереях и вдоль двойных лестниц, которые поднимались к стенам, сближаясь кверху. Ряды белых одежд появлялись между колоннадами, и все здание наполнялось человеческими статуями—недвижными, как каменные изваяния.

Затем шли управители финансов, начальники провинций и вся партия богатых. Внизу раздался гул. Толпа хлынула из соседних улиц; служители храма гнали ее назад палками. Наконец, среди старейшин с золотыми тиарами на головах, на носилках под пурпурным балдахином, появилась Саламбо.

Раздались бурные крики; кимвалы и кроталы заиграли громче, загремели тамбурины, и пурпурный балдахин удалился вглубь между двух колонн.

Он вновь показался в первом этаже. Саламбо медленно шла под ним; потом она прошла по террасе, направляясь вглубь, где села на кресло, в виде трона, сделанное из черепашьего щита. Под ноги ей поставили табу-

рет из слоновой кости с тремя ступеньками; на нижней из них стояли на коленах два негритенка, и она иногда опиралась об их головы обеими руками, отягощенными слишком тяжелыми кольцами.

От щиколоток до бедер ее обхватывала сетка из густых петель, в виде рыбьей чешуи, сверкавшей, как перламутр; синий пояс стягивал ее стан, обнаруживая обе груди в двух прорезах в виде полумесяца; привески из карбункулов скрывали кончики грудей. Прическа ее сооружена была с украшениями из павлиньих перьев, со звездами из драгоценных камней; широкий белоснежный плащ спадал с ее плеч; прижав локти к телу, сдвинув колени, с алмазными обручами на руках у плеч, она сидела в священной позе, вся выпрямившись.

На двух сидениях внизу поместились ее отец и ее супруг, Нар-Гавас, в светлой одежде, в венце из каменной соли, из под которого спускались две пряди волос, закрученных, как рога Аммона; рядом с ним сидел Гамилькар в фиолетовой тунике, расшитой золотыми виноградными ветвями, оставив у бедра свой боевой меч.

В пространстве, замкнутом стволами, пифон из храма Эшмуна, лежа на земле между лужами розового масла, описывал, кусая себе хвост, большой черный круг. Посредине круга стояла медная колонна, поддерживавшая хрустальное яйцо; и так как на него падал свет солнца, то лучи расходились во все стороны.

Позади Саламбо выстроились жрецы Таниты в льняных одеждах. Справа от нее длинной золотой полосой сидели старейшины в своих тиарах; слева длинным зеленым рядом расположились богатые, покрытые изумрудными украшениями; в глубине разместились жрецы Молоха, и плащи их казались пурпурной стеной. Другие коллегии заняли нижние террасы. Толпа запрудила улицы. Она поднималась на дома и теснилась длинными рядами до вершины акрополя. Таким образом, имея у своих ног народ, над головой—свод небес, а вокруг себя—беспредельность моря, залив, горы и далекие провинции, Саламбо в своих сверкающих одеждах сливалась с Танитой, казалась гением Карфагена, воплощением его души.

Пир должен был длиться всю ночь, и светильники о

многих ветвях стояли, как деревья, на шерстяных крашеных скатертях, покрывавших низкие столы. Большие янтарные кувшины, амфоры из синего стекла, черепаховые ложки и маленькие, круглые хлебы теснились среди двойного ряда тарелок с жемчужными краями; виноградные кисти с листьями обвивались, как тирсы, вокруг лоз из слоновой кости; глыбы снега таяли на подносах из черного дерева, лимоны, гранатовые яблоки, тыквы и арбузы лежали горками на высоких серебряных вазах; кабаны с раскрытой пастью валялись в пыли пряностей; зайцы, покрытые шерстью, точно прыгали между цветов; искусно приготовленное мясо наполняло раковины; печенья имели символические формы; когда поднимали крышки с блюд, оттуда вылетали голуби.

Рабы, подоткнув туники, ходили вокруг столов на кончиках пальцев; от времени до времени лиры оглашались гимном, или же раздавался хор голосов. Гул толпы, немолчный, как рокот моря, смутно носился вокруг пиршества и точно баюкал его широкими мелодиями; некоторые вспоминали пир наемников; все отдавались мечтам о счастьи; солнце стало спускаться, и серп луны уже поднимался на другой стороне неба.

Вдруг Саламбо, точно ее кто-то окликнул, повернула голову; народ, глядевший на нее, следовал по направлению ее взора.

На вершине акрополя открылась дверь темницы, высеченной в скале у подножия храма; в черной дыре стоял на пороге человек.

Он вышел, сильно согнувшись, с растерянным видом дикого зверя, вдруг выпущенного на свободу.

Свет ослепил его, и он стоял неподвижно несколько мгновений. Все его узнали и затаили дыхание.

Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным, окруженным почти священным блеском. Все наклонились, чтобы взглянуть на него,—в особенности женщины. Они горели желанием созерцать того, кто был причиной смерти их детей и мужей; из глубины их души поднималось против воли низкое любопытство, желание разглядеть его как можно яснее, желание, смешанное с

угрызениями совести и переходившее в беспредельную ненависть.

Наконец, он ступил вперед, и первое изумление рассеялось. Множество рук поднялось на воздух, и его не стало видно.

Лестница акрополя имела шестьдесят ступеней. Он летел с них, точно уносимый горным потоком с высоты горы; трижды видно было, как он взлетал на воздух; потом он очутился внизу и стал на ноги.

Плечи его были в крови; грудь дышала тяжелыми толчками; он делал такие усилия, чтобы разорвать путы, что руки его, крестообразно связанные на обнаженной спине, надувались, как звенья змеи.

С того места, где он очутился, перед ним расходилось несколько улиц. В каждой из них протянуты были из конца в конец параллельно три ряда бронзовых цепей, прикрепленных к пулу богов-патэков; толпа теснилась у домов, и посредине расхаживали слуги старейшин, размахивая бичами.

Один из них стегнул его изо всех сил. Мато двинулся в путь.

Все вытягивали руки поверх цепей, крича, что Мато оставили слишком широкий путь. Так он шел, ощупываемый, пронзаемый, раздираемый всеми этими пальцами; когда он доходил до конца одной улицы, перед ним раскрывалась другая. Несколько раз он бросался в сторону, чтобы укусить своих преследователей; тогда они быстро отступали, цепи заграждали ему путь, и толпа разражалась хохотом.

Кто-то из детей разорвал ему ухо; молодая девушка, прятавшая под рукавом острие верстена, разрезала ему щеку; у него вырывали клочья волос, куски тела; другие палками или губками, пропитанными нечистотами, мазали ему лицо. С правой стороны горла хлынула кровь; толпа пришла в неистовство. Этот последний варвар был для карфагенян олицетворением всех варваров, всего войска; они мстили ему за все свои бедствия, за свои ужасы, за свой позор. Бешенство толпы разгоралось по мере того, как она удовлетворяла свою жажду мести; слишком натянутые цепи гнулись и чуть не разрывались;

толпа не чувствовала ударов рабов, отгонявших ее; некоторые цеплялись за выступы домов; во всех отверстиях в стенах виднелись человеческие головы и все то зло, которое народ не мог более нанести Мато, выражалось в вое толпы.

Мато осыпали жестокою, грубою бранью, проклятиями, насмешливыми подзадориваниями и, точно мало было тех мук, которые он терпел, они возвещали ему еще более страшные пытки в вечности.

Слитный вой, несмолкаемый, бессмысленный, наполнял собою весь Карфаген. Иногда один какой-нибудь звук, глухой, неистовый, глубокий, повторялся в течение нескольких минут всем народом. Стены дрожали от него сверху до низу, и Мато казалось, что дома, с обеих сторон улицы, наступали на него, поднимали его на воздух и, как две могучие руки, душили его.

Он вспоминал, что когда-то испытал нечто подобное. Он вспоминал ту же толпу на террасах, те же взгляды, ту же ярость. Но тогда он шел свободный, все отстранялись от него; его защищал бог. Это воспоминание, становясь все более отчетливым, наполняло его подавляющей печалью. Тени проходили перед его глазами; город кружился перед его взорами, кровь струилась из раны в боку; он чувствовал, что умирает: колени его сгибались, и он тихо опустился на плиты.

Кто-то пошел под колоннаду храма Мелькарта и, взяв с треножника раскаленную на горящих угольях железную полосу, просунул ее под первую цепь и прижал к ране Мато. Тело его задымилось; вой толпы заглушил его голос; он снова стал на ноги.

Пройдя еще шесть шагов, он упал в третий, потом в четвертый раз; каждый раз его поднимала новая пытка. На него направляли трубы, из которых капало расплавленное масло; ему бросали под ноги осколки стекла; он продолжал идти. На углу улицы Сатэб он прислонился под навесом лавки к стене и более не двигался.

Рабы старейшин хлестали его бичами из гиппопотамовой кожи так долго и так яростно, что бахрома их туник сделалась мокрой от пота. Мато казался бесчувственным; потом вдруг он сорвался с места и бросился бежать,

причем губы его дрожали, точно от страшного холода. Он миновал улицу Будэса, улицу Сэно, промчался через рынок овощей и добежал до площади Камона.

Теперь он принадлежал жрецам; рабы оттеснили толпу; пространство сделалось более широким. Мато оглянулся вокруг себя, и глаза его встретились с глазами Саламбо.

Еще вначале, когда он сделал первый шаг, она поднялась с места; потом невольно, по мере того, как он приближался, она постепенно подвигалась к краю террасы, и скоро все вокруг нее исчезло, и она ничего не видела, кроме Мато. В душе ее наступила тишина—в ней точно открылась пропасть, в которой весь мир исчез, под давлением одной единственной мысли, одного воспоминания, одного взгляда. Этот человек, который шел к ней, притягивал ее.

Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого; он представлял собою длинную, красную массу; разорвавшиеся путы свисали с боков, но их нельзя было отличить от сухожилий его рук, с которых сошла кожа; рот его был широко раскрыт; из глаз исходили два пламени, точно поднимаясь к волосам; и несчастный продолжал идти.

Он дошел до подножия террасы. Саламбо наклонилась над перилами; его испуганные глаза созерцали ее, и она вдруг поняла все, что он выстрадал за нее. Теперь, когда он умирал, она видела его вновь в палатке, на коленях перед нею, обнимающим ее стан, шепчущим ей нежные слова. Она бесконечно жаждала вновь их услышать; она не хотела, чтобы он умер. В это мгновение страшная дрожь пробежала по телу Мато; Саламбо хотела крикнуть. Он упал навзничь и больше не шевелился.

Саламбо подняли почти без чувств и снова усадили на трон жрецы, окружавшие ее. Они поздравили ее, ибо все, что свершилось, было ее заслугой. Все хлопали в ладоши, топали ногами, выли, называя ее имя.

Какой-то человек бросился к трупу. Хотя он был без бороды, но на плечах его висел плащ жрецов Молоха, а у пояса—нож, служащий жрецам для разрезания священного мяса жертв; нож заканчивался на конце рукояти

золотой лопаткой. Шагабарим одним ударом рассек грудь Мато, вырвал сердце, положил его на ложку и, поднимая руки, принес его в дар солнцу.

Солнце садилось за водами залива; лучи его длинными стрелами падали на красное сердце, и по мере того, как прекращалось его биение, светило углублялось в море; при последнем его биении оно исчезло.

Тогда все пространство от залива до лагуны, от перешейка до маяка, все улицы, все дома и все храмы огласились единым криком; несколько раз крик прекращался, потом снова возникал; все здания дрожали от него; Карфаген извивался в судороге титанической радости и беспредельной надежды.

Нар-Гавас, опьяненный гордостью, обнял левой рукой стан Саламбо в знак обладания ею; правой рукой он взял золотую чашу и выпил за гений Карфагена.

Саламбо, подобно ее супругу, поднялась с чашей в руке, чтобы тоже выпить. Но она упала, закинув голову над спинкой трона, бледная, оцепеневшая, с раскрытыми устами. Ее распустившиеся волосы свесились до земли.

Так умерла дочь Гамилькара в наказание за то, что коснулась плаща Таниты.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стран.
Предисловие Андрея Левинсона	7 – 24
Пир	25 – 42
В Сикке	43 – 64
Саламбо	65 – 72
У стен Карфагена	73 – 90
Танита	91 – 106
Ганнон	107 – 126
Гамилькар Барка	127 – 163
Макарская битва	164 – 182
Поход	183 – 197
Змея	198 – 210
В палатке	211 – 229
Акведук	230 – 248
Молох	249 – 283
Ущелье Топора	284 – 320
Мато	321 – 329

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА".

Состоящее при Народном Комиссариате по Просвещению издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА" ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней

С этой целью Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА" выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека заключает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки будут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки — около 1500 томов. Средний размер тома—около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по об'ему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное—с теми сокровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей—залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки — около 2500 томов. Размер отдельного тома—около 4 печ. листов (64 стр.).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА".

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Заведующие Издательством: М. ГОРЬКИЙ, З. И. ГРЖЕБИН, И. П. ЛАДЫЖНИКОВ, А. Н. ТИХОНОВ.

Редакционная Коллегия экспертов: Ф. Д. БАТЮШКОВ, А. А. БЛОК, Ф. А. БРАУН, А. Л. ВОЛЫНСКИЙ, М. ГОРЬКИЙ, Н. ГУМИЛЕВ, Е. И. ЗАМЯТИН, А. Я. ЛЕВИНСОН, Г. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ.

В редакционной работе принимают участие: Е. А. АДАМОВ, В. А. АЗОВ, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД, А. В. АМФИТЕАТРОВ, А. М. АНИЧКОВА, Ю. К. БАЛТРУШАЙТИС, К. Д. БАЛЬМОНТ, А. Н. БЕНУА, Е. М. БРАУДО, В. А. БРИМ, А. А. БРОК, В. Я. БРЮСОВ, З. А. ВЕНГЕРОВА, А. В. ГАНЗЕН, М. О. ГЕРШЕНЗОН, А. А. ГИЗЕТТИ, З. Н. ГИППИУС, П. П. ГНЕДИЧ, И. М. ГРЕВС, Р. Г. ГРИГОРЬЕВ, Б. А. ГРИФЦОВ, П. К. ГУБЕР, А. Ф. ДАМАНСКАЯ, Ю. Н. ДАНЗАС, О. А. ДОБИАШ, М. А. ЖИРМУНСКИЙ, Б. Я. ЖУХОВЕЦКИЙ, С. М. ЗАРУДНЫЙ, Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, ВЯЧ. ИВАНОВ, Б. П. ИЗМАЛКОВА, ВЛ. КАРЕНИН, Л. П. КАРСАВИН, П. С. КОГАН, А. Ф. КОНИ, М. А. КУЗМИН, А. И. КУПРИН, М. Е. ЛЕВБЕРГ, Н. О. ЛЕРНЕР, Е. П. ЛЕТКОВА, М. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ, Е. Г. ЛУНДБЕРГ, Т. И. МАНУХИНА, П. П. МУРАТОВ, С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, П. П. ПЕРЦОВ, С. А. ПОЛЯКОВ, Н. И. ПОТАПЕНКО, С. Э. РАДЛОВ, Э. Л. РАДЛОВ, А. М. РЕМИЗОВ, А. Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, А. Н. СЕРЕБРОВ, Б. П. СИЛЬВЕРСВАН, Ф. К. СОЛОГУБ, В. В. СТРУВЕ, П. ТУГЕНДХОЛЬД, Г. П. ФЕДОТОВ, В. Ф. ХОДАСЕВИЧ, М. ЦВЕТАЕВА, А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, В. А. ЧУДОВСКИЙ, Н. Л. ШАПИР, С. В. ШТЕЙН, С. И. ШТЕЙН, С. Я. ШТРАЙХ, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и др.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА".

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

А. ЛЕСАЖ	— Хромой бес. Тюркаре.
Г. ДЕ-МОПАССАН	— Милый друг.
	— Сильна как смерть.
А. ФРАНС	— Остров Пингвинов.
ЛИЛИ БРАУН	— Письма маркизы.
Г. ФЛОБЕР	— Саламбо.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№		
1.	О. МИРБО	— Деревенские рассказы.
2.	МУЛЬТАТУЛИ	— Рассказы.
3.	МАРК ТВЭН	— Приключения Тома.
4.	Г. Д'АННУНЦИО	— Пескарские рассказы.
5.	А. ШАМИССО	— Петер Шлемиль.
6.	А. ФРАНС	— Дело уличного торговца.
7.	Г. АВ-ГЕЙЕРСТАМ	— Любовь и др. рассказы.
8.	РОБИН ГУД	— Баллады.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

ГОНКУР	— Братья Земганно.
Б. ИБАНЬЕС	— Власть мертвых.
	— Проклятый хутор.
А. ФРАНС	— Восстание ангелов.
Г. ФЛОБЕР	— Воспитание чувства.
Ч. ДИККЕНС	— Повесть о двух городах.
„ „	— Наш общий друг.
„ „	— Большие ожидания.
„ „	— Жизнь и приключения Николая Никкльби.
„ „	— Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита.
	— Домби и Сын.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Уэверли.
	— Роб-Рой.
А. ЛЕСАЖ	— Жиль Блаз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА".

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

Г. УЭЛЛС	— Спящий пробуждается.
» »	— Машина времени.
» »	— Невидимка.
» »	— Борьба миров.
Г. ДЕЛЕДДА	— Сардинские рассказы.
ВОЛЬТЕР	— Задиг.
» »	— Кандид.
» »	— Повести.
» »	— Принцесса Вавилонская.
» »	— Белый бык.
С. Т. КОЛЬРИДЖ	— Поэма о старом моряке.
Б. ИБАНЬЕС	— Валенсианские рассказы.
Г. Р. ХАГГАРД	— Копи царя Соломона.
О. УАЙЛЬД	— Сказки.
» »	— Гранатовый дом.
	— Рассказы.
МАРК ТВЭН	— Принц и нищий.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Черный карлик.
ШИЛЛЕР	— Разбойники.
А. ФРАНС	— Чудо св. Николая.
	— Сказка о сорочке.
М. СЬЕРРА	— Благословенная весна.
Л. НОРДСТРЕМ	— Обыватели.
ДЖ. М. БАРИ	— Белая птичка.
Ю. ЮРГЕНСОН	— Африканские рассказы.
О. ГОЛЬДСМИТ	— Векфильдский священник.
Г. ФЕДЕРЕР	— Прометей и др. рассказы.
Д. ЛОНДОН	— Сын волка.
Г. БАНГ	— Четыре дьявола.
И. ИЕНСЕН	— Гиммерландские рассказы.

Типография „Копейка", Петроград, Сайкин, 6.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ.
Моховая №36.

ЦЕНА 50 РУБ.